Теодор Драйзер

Американская трагедия

(Часть 2)



Книга 3

Глава 1

Округ Катараки простирается от окраины селения, известного под названием Бухты Третьей мили, на пятьдесят миль к северу до канадской границы и от Сенашета и Индейских озер на востоке на тридцать миль в ширину до рек Скалистой и Скарф. Большую часть этого пространства составляют необитаемые леса и озера, но там и сям разбросаны деревушки и поселки вроде Кунц, Грасс-Лейк, Северного Уоллеса, Браун-Лейк; в главном городе Бриджбурге насчитывается не менее двух тысяч жителей из пятнадцати тысяч населения всего округа. На центральной площади города – здание суда, старое, но не безобразное, украшенное башней с большими часами, а над ними всегда несколько голубей; на эту площадь выходят четыре главные улицы городка.

Пятница, девятое июля; в здании суда в своем кабинете сидит следователь, некий Фред Хейт, – рослый, широкоплечий, с седеющей бородой, какою смело мог бы гордиться старейшина мормонов. У него широкое лицо, огромные руки и ноги и соответствующих размеров туловище.

В то время, когда начинается наш рассказ, – около половины третьего пополудни, – Хейт лениво перелистывал выписанный им по просьбе жены каталог магазина, высылающего покупки почтой. Присматриваясь к ценам на башмаки, куртки, шапки и шапочки для своих всеядных пятерых детишек, он заметил зимнее пальто для себя – пальто солидных размеров, с большим воротником, широким поясом и крупными, внушительными пуговицами – и печально задумался: при своем бюджете – три

тысячи долларов в год – он никак не может позволить себе в эту зиму подобную роскошь, тем более что его жена, Элла, уже не меньше трех лет мечтает о меховой шубке.

Но каковы бы ни были его размышления на этот счет, их прервал трезвон телефона.

– Да, Хейт слушает… Это Уоллес Айхэм с Большой Выпи? Да, слушаю вас, Уоллес… утонула молодая пара? Хорошо, обождите минутку…

И он обернулся к бойкому молодому человеку, который недавно приступил к государственной деятельности в должности секретаря следователя.

– Записывайте данные, Эрл, – и затем в телефон: – Хорошо, Уоллес, теперь сообщите мне факты – подробности, да. Тело женщины найдено, а тело ее мужа нет… так… Опрокинутая лодка у южного берега… так. Соломенная шляпа без подкладки… так. Следы ушибов у нее около рта и глаза… Ее пальто и шляпа в гостинице… так… В одном из карманов пальто письмо… кому адресовано? Миссис Олден, Бильц, округ Маймико? Так… А тело мужа еще ищут? Так… Пока никаких следов? Понимаю… Ну, хорошо… Вот что я вам скажу, Уоллес: пальто и шляпа пускай остаются на месте. Дайте сообразить… сейчас половина третьего, – я приеду четырехчасовым поездом. Кажется, к нему высылают автобус из гостиницы? Ладно, я им и приеду, это точно… Да, Уоллес, запишите имена всех, кто присутствовал, когда нашли тело. Что еще? Восемнадцать футов глубины, не меньше? Так… За уключину зацепилась вуаль… Так… Коричневая вуаль… Это все? Так. Ладно, прикажите оставить все в том же виде, как вы нашли. Я сейчас же еду. Да. Благодарю вас, Уоллес… до свиданья.

Мистер Хейт медленно повесил трубку, так же неторопливо поднялся со своего широкого, отделанного под орех кресла, погладил густую бороду и посмотрел на Эрла Ньюкома, секретаря (он же секретарь-машинистка, и клерк, и все что угодно).

– Вы все записали, Эрл?

– Да, сэр.

– Тогда берите пальто и шляпу и едем. Нам нужно попасть на поезд три десять. Вы сможете в поезде заполнить несколько повесток для вызова свидетелей. Возьмите с собой на всякий случай бланков пятнадцать – двадцать: надо будет записать имена свидетелей, которых мы найдем на месте. Да позвоните, пожалуйста, миссис Хейт и скажите, что я вряд ли поспею сегодня к обеду и даже к последнему поезду. Возможно, что мы пробудем там и до завтра. В таких случаях никогда нельзя знать, как обернется дело, – следует приготовиться ко всему.

Хейт подошел к платяному шкафу в углу старой сырой комнаты и достал оттуда соломенную панаму. Ее широкие, опущенные книзу поля придавали некоторое благородство его лицу со свирепыми, но, в сущности, добродушными глазами навыкате и густейшей бородой. Снарядившись таким образом, он сказал секретарю:

– Я на минутку зайду к шерифу, Эрл. А вам надо бы позвонить в «Республиканец» и в «Демократ» и рассказать им об этой истории: пусть газеты не думают, что мы от них что-либо скрываем. Встретимся на вокзале.

И он тяжелой походкой вышел из комнаты.

А Эрл Ньюком, высокий, худощавый молодой человек лет девятнадцати, с взъерошенными волосами, очень серьезный, хотя порою и рассеянный, тотчас схватил пачку бланков для вызова в суд и, запихивая их в карман, стал звонить по телефону миссис Хейт. Затем позвонил в редакции газет, сообщил о несчастном случае на озере Большой Выпи и, схватив свою соломенную шляпу с синей лентой (шляпа была номера на два больше, чем требовалось), сбежал вниз; у распахнутой двери в кабинет знаменитого в этих краях и весьма энергичного прокурора Орвила Мейсона он столкнулся с Зиллой Саундерс, старой девой и единственной стенографисткой прокурора. Она собиралась идти в канцелярию аудитора, но, пораженная стремительностью и озабоченным видом Ньюкома, обычно гораздо более медлительного, окликнула его:

– Что случилось, Эрл? Куда вы так спешите?

– Несчастный случай. На озере Большой Выпи утонули двое. А может быть, здесь и что-нибудь похуже. Мистер Хейт едет туда, и я с ним. Нам надо попасть на поезд три десять.

– Откуда вы узнали? Это кто-нибудь из здешних?

– Еще не знаю, но думаю, что нет. В кармане у женщины было письмо, адресованное в Бильц, округ Маймико, некоей миссис Олден. Я все расскажу, когда мы вернемся, или позвоню вам.

– Ах, господи, если это преступление, то мистер Мейсон, наверно, заинтересуется.

– Ну конечно. Я ему позвоню по телефону, или сам мистер Хейт позвонит. Если увидите Бада Паркера или Кэрел Бэднел, скажите им, что я уехал за город. И потом, Зилла, позвоните, пожалуйста, моей матери и предупредите ее тоже. Я боюсь, что сам не успею.

– Не беспокойтесь, позвоню.

– Спасибо!

И, очень заинтересованный этим событием, ворвавшимся в однообразное существование его начальника, Ньюком, перескакивая через две ступеньки, весело и бойко сбежал по лестнице окружного суда. А мисс Саундерс, зная, что ее начальник уехал по каким-то делам, связанным с предстоящей окружной конференцией республиканской партии, и что в его кабинете не с кем поделиться новостью, направилась в канцелярию аудитора: уж там-то можно будет всем и каждому пересказать все, что она успела узнать о трагедии на озере.

Глава 2

Сведения, собранные следователем Хейтом и его помощником, были странные и настораживали. На другое утро после исчезновения лодки с такой, по-видимому, счастливой и симпатичной четой туристов, по настоянию хозяина гостиницы, начались поиски – и в Лунной бухте, за островом, были найдены перевернутая лодка, шляпа и вуаль. И немедленно все служащие гостиницы, проводники и постояльцы, которых удалось для этого завербовать, стали нырять в озеро и обшаривать дно длинными баграми с крюками на конце, пытаясь отыскать и извлечь из воды тела утонувших. Проводник Сим Шуп, хозяин гостиницы и арендатор лодочной станции рассказали, что погибшая женщина была молода и хороша собой, а ее спутник – по-видимому, довольно состоятельный молодой человек, и поэтому происшествие вызвало у немногочисленных местных жителей – лесорубов и служащих гостиницы – не только интерес, но и сочувствие. К тому же все недоумевали, каким образом в прекрасный безветренный день мог произойти такой странный несчастный случай.

Но еще большее волнение поднялось, когда в полдень, после непродолжительных поисков, один из работавших багром – Джон Поль, лесоруб,

– вытащил из воды Роберту, зацепив крюком ее платье; на лице ее – у рта, у носа, над правым глазом и под ним – явственно виднелись следы ушибов, и всем присутствующим это обстоятельство сразу показалось подозрительным. Джон Пол, который вместе с Джо Райнером, сидевшим на веслах, вытащил ее из воды, взглянув на нее, воскликнул:

– Ах ты бедняжка! Легкая, как перышко! Не пойму даже, как она могла утонуть.

Он перегнулся через борт и, подхватив Роберту своими сильными руками, втащил ее, мокрую и бездыханную, в лодку; тем временем его товарищи подали знак другим лодкам, и те быстро приплыли на зов.

Отведя в сторону длинные густые каштановые волосы девушки, спутанные водою и скрывавшие ее лицо, Джон прибавил:

– Вот так штука! Смотри, Джо! Сдается мне, малютку чем-то стукнули! Погляди-ка!

Скоро все лесорубы и постояльцы гостиницы, подплыв на лодках, стали рассматривать кровоподтеки на лице Роберты. И как только тело ее повезли на север, к лодочной станции, а на озере возобновились поиски тела ее спутника, были высказаны догадки: «Что-то здесь неладно… Синяки… и вообще… И как это лодка могла опрокинуться в такой тихий день?» «Сейчас увидим, есть ли там кто-нибудь на дне…» А когда многочасовые бесплодные поиски ни к чему не привели, все окончательно решили, что трупа мужчины на дне скорее всего нет и не было, – страшная, тревожная мысль…

Вслед за тем в разговоре между проводником, который привез Клайда и Роберту со станции, и хозяевами гостиниц на озере Большой Выпи и на Луговом было установлено следующее: 1) что утонувшая девушка оставила свой чемодан на станции Ружейной, тогда как Клифорд Голден взял чемодан с собою; 2) что было подозрительное противоречие между записями в гостинице на Луговом озере и на Большой Выпи: в одной – Карл Грэхем, в другой – Клифорд Голден, хотя, судя по внешности (в чем убедились оба хозяина гостиниц после тщательного обсуждения), это был, несомненно, один и тот же человек; и 3) что названный Клифорд Голден или Карл Грэхем справлялся у проводника, который вез его на озеро Большой Выпи, много ли там

в этот день народу. После этого смутные подозрения перешли в полную уверенность, что дело здесь нечисто. Едва ли на этот счет оставались какие-либо сомнения.

Прибывшему следователю Хейту немедленно дали понять, что жители северных лесов глубоко взволнованы всем происшедшим и уверены в справедливости своих подозрений. Они полагают, что тела Клифорда Голдена или Карла Грэхема никогда и не было на дне озера. И Хейт, осмотрев тело неизвестной девушки, которое бережно положили на койку в домике при лодочной станции, и увидев, что утопленница молода и красива, был тоже странно взволнован – не только ее внешностью, но и всей окружающей атмосферой, насыщенной подозрениями. Более того, вернувшись в контору гостиницы и прочитав письмо, найденное в кармане пальто Роберты, он окончательно склонился в сторону самых мрачных подозрений, ибо прочел он следующее:

«Луговое озеро, штат Нью-Йорк, 8 июля.

Дорогая мамочка!

Мы теперь здесь и собираемся обвенчаться, но это я пишу только для тебя одной. Пожалуйста, не показывай мое письмо папе и вообще никому, потому что это пока еще секрет. Я тебе говорила на рождестве, в чем дело, так что ты не беспокойся, ничего не спрашивай и никому обо мне не говори. Можно сказать только, что ты получила от меня письмо и знаешь, где я. Не бойся, все будет хорошо. Обнимаю тебя, мамочка, и крепко целую в обе щеки. Не волнуйся и постарайся убедить папу, что все в порядке, но только не говори ничего ни ему, ни Эмилии, ни Тому, ни Гифорду, ладно? Целую тебя много, много раз.

Любящая тебя Берта.

Все это пока секрет и должно оставаться между нами, а немного погодя, когда это перестанет быть тайной, я тебе сразу напишу».

В верхнем правом углу листка, так же как и на конверте, был штемпель: «Гостиница „Луговое озеро“, штат Нью-Йорк, владелец Джек Ивенс». Очевидно, письмо было написано утром, после того как они провели ночь в этой гостинице, записавшись под именем мистера и миссис Грэхем.

Ох, уж это девичье легкомыслие!

Из письма было ясно, что эти двое остановились в гостинице как муж и жена и, однако, не были женаты. Хейта передернуло при чтении этого письма, потому что и у него были дочери и он их горячо любил. Но тут у него явилась одна мысль. В округе приближается время выборов; в ноябре должны быть переизбраны на следующее трехлетие все местные власти, включая и следователя, вдобавок в этом же году предстоят выборы окружного судьи (срок его полномочий – шесть лет). В августе, то есть примерно через полтора месяца, должны состояться окружные конференции республиканской и демократической партий, и тогда будут выдвинуты кандидаты на соответствующие должности. Однако ни на одну должность, кроме поста окружного судьи, не мог пока рассчитывать нынешний прокурор, поскольку он занимал место прокурора уже два срока подряд. Этим он был обязан не только своему таланту провинциального политического оратора, но и тому, что в качестве высшего судебного чиновника имел возможность оказывать своим друзьям различные услуги. Но теперь, если только ему не посчастливится быть выдвинутым, а затем и избранным на пост окружного судьи, должен наступить конец его политической карьере. Беда в том, что за весь период его полномочий не было ни одного значительного судебного процесса, который помог бы ему выдвинуться и, следовательно, дал бы право рассчитывать и впредь на признание и уважение избирателей. Но теперь…

Происшествие на озере Большой Выпи, размышлял проницательный следователь, вполне может оказаться таким делом, которое привлечет внимание и симпатии населения к этому человеку – нынешнему прокурору, его, Хейта, близкому и весьма полезному другу. Это благотворно отразится на его влиянии и репутации, а тем самым и на всем списке кандидатов его партии, так что на предстоящих выборах все они могут быть избраны. Нынешний прокурор сможет добиться того, что его не только выдвинут кандидатом, но и изберут в ноябре судьей на шестилетний срок. Случались в политическом мире и более странные вещи…

И Хейт сразу решил не отвечать ни на какие вопросы относительно найденного письма, потому что оно обещало быстро раскрыть тайну преступления, если таковое имело место, и при существующей политической ситуации сулило славу и почет каждому, кто будет причастен к раскрытию этой тайны.

Одновременно он приказал Эрлу Ньюкому и проводнику, который привез Роберту и Клайда на озеро Большой Выпи, отправиться на станцию Ружейную и сказать, что оставленный там чемодан не может быть выдан никому, кроме самого Хейта или представителя прокурора. Затем он собирался уже звонить по телефону в Бильц, чтобы проверить, проживает ли в тех местах семья Олден, с дочерью Бертой или Альбертой, но тут (по воле самого провидения, как ему показалось) его прервали: двое мужчин и мальчик – здешние охотники

– в сопровождении толпы тех, кто уже знал о трагедии на озере, ворвались к нему в комнату. У них имеются сведения чрезвычайной важности, заявили они и, то и дело перебивая и поправляя Друг друга, рассказали, что в тот день, когда утонула Роберта, часов в пять вечера они вышли из Бухты Третьей мили (около двенадцати миль к югу от Большой Выпи), собираясь поохотиться вблизи этого озера и половить здесь рыбу. И вот, единогласно показали они, в тот же вечер около девяти часов, когда они подходили к южному берегу Большой Выпи, – может быть, мили за три до него, – им встретился молодой человек, которого они приняли за туриста, идущего из гостиницы на озере Большой Выпи в поселок Бухты Третьей мили. Он был очень хорошо, щегольски одет, совсем не как здешний житель. На голове его была соломенная шляпа, в руках чемодан, и их тогда удивило, почему он идет пешком, да еще в такое странное время, когда наутро мог бы поездом доехать до Бухты Третьей мили за один час. И потом почему, встретившись с ними, он так испугался? По их словам, столкнувшись с ними в лесу, он шарахнулся в испуге, больше того – в ужасе, точно хотел бежать. Правда, фитиль в фонаре, который нес один из них, был сильно прикручен, так как вечер был лунный, и шли они очень тихо, шагом людей, привыкших выслеживать всякого лесного зверя. Но ведь эти места совершенно безопасные, тут встречаются только такие же честные граждане, как они сами, и незачем было молодому человеку кидаться в сторону, точно он хотел спрятаться в кусты. Впрочем, когда Бад Брюнинг, паренек, который нес фонарь, прибавил в нем света, прохожий как будто пришел в себя, ответил на их приветствие и спросил, далеко ли до Бухты Третьей мили. Они ответили, что около семи миль, и он пошел дальше, а они продолжали свой путь, обсуждая странную встречу.

И теперь, поскольку приметы молодого человека в точности совпадали с тем, как его описывали проводник, везший Клайда до станции Ружейной, и владельцы гостиниц на озере Большой Выпи и на Луговом, стало совершенно ясно: это – тот самый человек, который поехал на лодке с той, что утонула в озере.

Эрл Ньюком сразу же попросил у своего начальника разрешения справиться по телефону у хозяина единственной гостиницы в Бухте Третьей мили, не останавливался ли там случайно таинственный незнакомец. Оказалось что нет. По-видимому, никто, кроме этих трех охотников, нигде его не видел. Он точно растаял в воздухе, хотя вечером в тот же день было установлено, что молодого человека схожей внешности, с чемоданом в руке, но не в соломенной шляпе, а в кепке, на следующее утро после встречи в лесу видели в Шейроне; он сел на маленький озерный пароход «Лебедь», курсирующий между Бухтой Третьей мили и Шейроном. Но потом, его след потерялся. Никто в Шейроне до сих пор не мог припомнить, чтобы приезжал или уезжал такой человек. Даже сам капитан показал впоследствии, что он не заметил, как высадился этот пассажир: на пароходе в тот день было пятнадцать пассажиров, и капитан не мог толком припомнить ни одного из них.

Однако все обитатели Большой Выпи постепенно пришли к непоколебимому убеждению, что, кто бы ни был этот субъект, он – отъявленный, хладнокровный злодей! И все с удвоенной, утроенной силой желали, чтобы он был схвачен и арестован. Негодяй! Убийца! И немедленно повсюду из уст в уста, по телефону, по телеграфу, вплоть до местных газет, вроде «Аргус» и «Таймс юнион» в Олбани или «Стар» в Ликурге, разнеслась весть о волнующей трагедии на озере; при этом делались намеки, что тут, возможно, кроется страшное преступление.

Глава 3

Исполнив свой служебный долг, следователь Хейт на обратном пути обдумывал, как поступать дальше. Каков должен быть его следующий шаг в этом прискорбном деле? Перед отъездом он еще раз пошел взглянуть на Роберту и был глубоко, непритворно взволнован: она казалась такой юной, невинной и хорошенькой. Влажные тяжелые складки скромного синего платья из саржи облегали ее тело; маленькие руки были сложены на груди, золотисто-каштановые волосы, еще не просохшие после двадцати четырех часов пребывания в воде, чем-то наводили на мысль о былой живости и страстности,

– и все это, казалось, говорило о мягком обаянии, бесконечно далеком от преступления.

Но была в этом, без сомнения очень печальном, деле и еще одна сторона, касающаяся лично его, следователя. Должен ли он отправиться в Бильц к миссис Олден, которой адресовано письмо, сообщить ей ужасную весть о смерти ее дочери и при этом расспросить, кто был спутник погибшей и где он находится? Или же ему следует сперва явиться в Бриджбург к прокурору Мейсону и сообщить ему все подробности случившегося, с тем чтобы этот джентльмен принял на себя печальную обязанность нанести сокрушительный удар почтенной, видимо, семье? Тут надо учесть политическую ситуацию. И хотя следователь имеет право действовать самостоятельно и выдвинуться на этом деле, нужно принять во внимание общее положение партии: сильный человек, безусловно, должен стать во главе партийного списка и укрепить позиции партии на осенних выборах, трагедия на озере – для этого блестящая возможность. Значит, второй вариант наиболее разумен: для прокурора, друга Хейта, это – великолепный случай! С такими мыслями Хейт приехал в Бриджбург и торжественно явился в кабинет к прокурору Орвилу Мейсону, который мгновенно насторожился, почувствовав по поведению следователя, что произошло нечто значительное.

Мейсон был человек небольшого роста, плечистый и физически очень сильный; но в юности он, к несчастью, случайно сломал себе нос; и это очень испортило его приятное и даже своеобразное лицо, придав ему мрачное, почти зловещее выражение. Но Мейсон был личностью отнюдь не мрачной, а скорее чувствительной и романтичной. В детстве он испытал нужду и унижения и поэтому позднее, в более счастливые годы, смотрел на людей, к которым жизнь была снисходительнее, как на баловней судьбы. Его мать, вдова бедного фермера, с великим трудом сводила концы с концами, и к двенадцати годам он отказался чуть ли не от всех ребяческих игр и удовольствий, чтобы ей помогать. А в четырнадцать лет, катаясь на коньках, он упал и так разбил нос, что это навсегда его обезобразило. Поэтому он постоянно оказывался побежденным в юношеском соперничестве из-за девушек: их внимание, которого он так жаждал, доставалось другим – и постепенно он стал крайне чувствителен к своему уродству. Дело кончилось тем, что фрейдисты обычно называют психосексуальной травмой.

Однако в семнадцать лет Мейсон сумел завоевать симпатию издателя бриджбургской газеты «Республиканец» и стал ее постоянным хроникером. Позже его корреспонденции по округу Катараки печатались уже в таких газетах, как «Таймс юнион» в Олбани и «Стар» в Утике, а к девятнадцати годам он уже имел возможность изучать юриспруденцию в конторе бывшего бриджбургского судьи Дэвиса Ричофера. Еще через несколько лет он получил право заниматься адвокатской практикой, завоевал симпатии некоторых местных политиков и коммерсантов, и они позаботились о том, чтобы провести его в законодательное собрание штата; там он заседал шесть лет кряду и своей скромной, но дальновидной и честолюбивой готовностью поступать, как прикажут, добился благосклонности столичных заправил, сохранив при этом и симпатии своих покровителей в родном городе. Он обладал и кое-каким ораторским даром и, когда вернулся в Бриджбург, получил сперва место помощника прокурора, затем, через четыре года, был избран аудитором и, наконец, на два четырехлетия подряд – прокурором. Заняв столь высокое положение в обществе, он женился на дочери местного аптекаря, человека со средствами, и стал отцом двоих детей.

О происшествии на озере Большой Выпи Мейсон уже слышал от мисс Саундерс все, что она узнала сама, и, как и следователь Хейт, сразу понял, что шумиха, которая наверняка подымется вокруг этого преступления, будет ему очень на руку. Возможно, она поможет укрепить его шаткий политический престиж и даже, пожалуй, разрешит проблему всего его будущего. Во всяком случае, он был чрезвычайно заинтересован и теперь, при виде Хейта, не скрыл своего живейшего интереса к этому происшествию.

– Ну, что нового, Хейт?

– Так вот, Орвил, я только что с Большой Выпи. Мне кажется, я нашел для вас дело, на которое вам придется потратить толику времени.

Большие выпуклые глаза Хейта говорили гораздо больше, чем это ни к чему не обязывающее вступление.

– Вы имеете в виду несчастный случай на озере?

– Да, сэр, именно.

– У вас есть основания думать, что тут что-то нечисто?

– Видите ли, Орвил, я нимало не сомневаюсь, что это – убийство. – Хмурые глаза Хейта мрачно сверкнули. – Конечно, осторожность прежде всего, и все это пока между нами. Я, правда, еще не вполне убежден, что тело молодого человека не отыщется на дне озера. Но все это, по-моему, очень подозрительно, Орвил. Не меньше пятнадцати человек вчера и сегодня целый день обшаривали баграми южную часть озера. Я велел нескольким парням измерить глубину в разных местах – нигде нет больше двадцати пяти футов. И до сих пор – никаких следов мужчины. А ее вытащили вчера, около часу дня, не так уж долго искали. Очень красивая девушка, Орвил, совсем молоденькая, лет восемнадцать – двадцать, не больше. И тут есть несколько очень подозрительных обстоятельств, почему я и думаю, что трупа ее спутника там нет. По правде говоря, я еще не видел случая, который бы так походил на дьявольское преступление.

Сказав это, он начал рыться в правом кармане своего изрядно поношенного и мешковатого пиджака и наконец извлек оттуда письмо Роберты; протянув его другу, он придвинул стул и уселся; тем временем прокурор принялся за чтение.

– Да, все это выглядит довольно подозрительно, – сказал Мейсон, дочитав письмо. – И вы говорите, его до сих пор не нашли… Ну, а мать покойной вы уже видели? Что она знает об этом деле?

– Нет, Орвил, я ее не видел, – медленно и задумчиво ответил Хейт, – и скажу вам почему. Я еще вчера решил, что лучше мне сперва потолковать с вами, а потом уже предпринимать что-либо по этому делу. Вы сами знаете, какая у нас сейчас политическая ситуация. Такое дело, если его правильно повести, может изрядно повлиять на общественное мнение этой осенью. Я, конечно, не думаю, что мы должны примешивать политику к такому преступлению, а все-таки почему бы нам не вести это дело так, чтобы его поставили нам в заслугу? Вот я и решил сначала поговорить с вами. Конечно, если хотите, я туда

съезжу. Но только, по-моему, лучше бы вы поехали сами и выяснили, кто этот парень и что он собою представляет. Сами понимаете, что может означать такое дело с политической точки зрения, если только мы доведем его до конца. А я знаю, что вы можете это сделать, Орвил.

– Спасибо, Фред, спасибо, – торжественно ответил Мейсон, постукивая письмом по столу и косясь на приятеля. – Очень вам благодарен за лестное мнение обо мне. Думаю, что вы избрали самый верный путь. А вы уверены, что никто, кроме вас, не видел этого письма?

– Только конверт. Да и его видел только один мистер Хаббард, хозяин гостиницы. Он мне сказал, что нашел письмо в кармане ее пальто, побоялся, как бы оно не исчезло или не было распечатано до моего приезда, и потому забрал его к себе. Он говорит, что сразу почуял неладное, как только услышал о несчастье. По его словам, молодой человек очень нервничал и вел себя как-то странно.

– Очень хорошо, Фред. И пока никому больше ничего не говорите об этом деле, ладно? Я сейчас же еду туда. Но, может быть, вы еще что-нибудь узнали?

Мистер Мейсон был теперь очень оживлен и полон энергии, непрерывно задавал вопросы и даже со своим старым другом стал разговаривать повелительным тоном.

– Да, узнал немало, – глубокомысленно и важно ответил следователь. – На лице девушки есть подозрительные синяки и ссадины, Орвил: под правым глазом и над левым виском и еще на губе и на носу; похоже, что бедняжку чем-то ударили – камнем, или палкой, или, может быть, одним из весел; они там плавали неподалеку. На вид она еще совсем ребенок, такая маленькая, и знаете, Орвил, очень хорошенькая девушка… но вела себя не так, как полагается. Сейчас я вам объясню. – Тут следователь замолчал, вытащил из кармана огромный носовой платок и шумно высморкался, а затем тщательно расправил бороду. – Там у меня не было времени достать врача, и, кроме того, я постараюсь организовать здесь в понедельник вскрытие и следствие. Я уже распорядился: братья Луц сегодня перевезут ее сюда. Но всего подозрительнее показания двух охотников и мальчугана, которые живут в Бухте Третьей мили: они шли в четверг вечером на Большую Выпь охотиться и ловить рыбу. Я велел Эрлу записать их имена, заполнить повестки и вызвать их в понедельник для допроса.

И следователь подробно передал показания этих людей об их случайной встрече с Клайдом.

– Так, так! – то и дело восклицал прокурор, глубоко заинтересованный.

– И еще одно, Орвил, – продолжал следователь. – Я поручил Эрлу навести по телефону справки в Бухте Третьей мили – у хозяина гостиницы, почтмейстера и тамошнего начальника полиции, но как будто того юнца видел только один человек. Это капитан пароходика, который ходит между Бухтой Третьей мили и Шейроном, – капитан Муни, вы, наверно, его знаете. Я велел Эрлу вызвать его тоже. По его словам, в пятницу утром, около половины девятого, как раз, когда его «Лебедь» отправлялся в первый рейс до Шейрона, этот самый молодой человек или кто-то очень похожий по описанию сел на пароход и взял билет до Шейрона. Он был с чемоданом и в кепке, а когда те трое встретили его в лесу, на нем была соломенная шляпа. Капитан говорит, что это очень красивый малый. Ладно скроен, хорошо одет, по виду

– человек из светского общества. Держался особняком.

– Так, так, – заметил Мейсон.

– Я поручил Эрлу позвонить в Шейрон, расспросить кого только можно, не видали ли там такого приезжего. Правда, там его, видимо, никто не припомнил, – по крайней мере до вчерашнего вечера, когда я уезжал, сведений не было. Но я распорядился, чтобы Эрл по телеграфу сообщил его приметы во все здешние гостиницы, дачные местности и на железнодорожные станции, так что, если он где-нибудь в этих краях, его быстро выследят. Я считал, что вам будут по душе мои действия. А теперь, если вы дадите мне ордер, я бы доставил вам тот чемодан со станции Ружейной. В нем могут оказаться такие вещи, о которых нам следует знать. Я сам за ним съезжу. И потом я хочу сегодня же побывать на Луговом озере, в Бухте Третьей мили и в Шейроне, если успею. Посмотрю, что там еще можно выяснить. Боюсь, что здесь самое настоящее убийство. Подумайте, он привез ее сперва в гостиницу на Луговое озеро, а потом на Большую Выпь и записался под разными именами! Ее чемодан оставил на станции, а свой взял с собой! – Тут Хейт многозначительно покачал головой. – Вы же понимаете, Орвил, порядочные люди так не поступают. Одного не пойму, как ее родители позволили ей уехать с этим человеком, не узнав сперва, что он собой представляет.

– Это верно, – тактично согласился Мейсон.

С жгучим любопытством он думал о том, что эта девушка, как видно, была отнюдь не безупречного поведения. Незаконное сожительство! И конечно, с каким-то богатым молодым горожанином, откуда-нибудь с юга. Какую популярность, какое положение может приобрести он, Мейсон, в связи с этим делом! Он порывисто встал, ощущая прилив энергии. Только бы ему поймать этого преступного негодяя! Такое жестокое убийство, конечно, вызовет бурю негодования. А тут августовская конференция, выдвижение кандидатов! И осенние выборы!

– Пусть меня повесят! – воскликнул он; присутствие Хейта, человека верующего и степенного, заставило его удержаться от выражения покрепче. – Мы наверняка напали на след чего-то очень серьезного, Фред. Я в этом просто убежден. По-моему, тут скверная история – гнуснейшее преступление. Первым делом, я думаю, надо связаться по телефону с Бильцем и узнать, есть ли там семья Олден и где именно они живут. Автомобилем напрямик до Бильца всего миль пятьдесят, а то и меньше. Правда, дорога отвратительная, – прибавил он. – Несчастная мать! Я просто боюсь встречи с нею. Конечно, это будет очень тяжело…

Он позвал Зиллу и попросил проверить, живет ли в окрестностях Бильца некто Тайтус Олден и как его найти. Затем прибавил:

– Но сначала вызовите сюда Бэртона (Бэртон Бэрлей, его помощник, уехал за город на субботу и воскресенье). Он будет вам полезен, Фред, если понадобится отдать какое-нибудь предписание и прочее, а я поеду к этой бедной женщине. И буду вам очень признателен, если вы пошлете Эрла за чемоданом. А я привезу сюда отца девушки, чтобы установить ее личность. Но только, пока я не вернусь, никому ни слова – ни о письме, ни о том, что я уехал в Бильц, понимаете? – Он пожал руку приятелю. – А сейчас, – продолжал он немного высокопарно, уже предвкушая свою роль в великих событиях, – я должен поблагодарить вас, Фред. Я очень вам обязан и никогда этого не забуду, поверьте. – Он посмотрел старому другу прямо в глаза. – Все это может для нас обернуться лучше, чем мы думаем. Мне кажется, это самое большое, самое серьезное дело за всю мою службу, и если мы сумеем быстро и успешно разобраться в нем до осенних событий, это всем нам очень пригодится, как по-вашему?

– Верно, Орвил, совершенно верно, – согласился Хейт. – Я уже вам говорил, по-моему, не следует примешивать политику к таким делам, но раз уж это само собой получается… – И он в раздумье умолк.

– А пока что, – продолжал прокурор, – поручите Эрлу сделать несколько снимков: пусть точно зафиксирует, где нашли лодку, весла, шляпу и в каком месте найдена утонувшая девушка. И вызовите как можно больше свидетелей. Я договорюсь с аудитором, чтобы вам были возмещены все расходы. А завтра или в понедельник я буду здесь и сам примусь за работу.

Он сжал руку Хейта и похлопал его по плечу. А Хейт, очень польщенный его вниманием и, следовательно, преисполненный надежд на будущее, надел свою чудовищную соломенную шляпу, застегнул широчайшее пальто и возвратился в канцелярию, чтобы вызвать по междугородному телефону верного Эрла, дать ему инструкции и известить, что и сам он, Хейт, снова выедет на место преступления.

Глава 4

Орвил Мейсон сразу проникся сочувствием к Олденам, потому что с первого же взгляда понял: этой семье, должно быть, как и ему, знакомы удары судьбы, унижения и оскорбления. В субботу, около четырех часов дня, приехав на своем служебном автомобиле из Бриджбурга, он увидел перед собою старый, жалкий и ветхий дом и у подножия холма, в дверях хлева – самого Тайтуса Олдена в рубашке с короткими рукавами и комбинезоне; его лицо, фигура, весь облик говорили, что это – неудачник, который хорошо сознает бесплодность своих усилий. И теперь Мейсон пожалел, что не позвонил по телефону перед отъездом из Бриджбурга: он понял, что для такого человека известие о смерти дочери будет страшным ударом. Тем временем Тайтус, увидев шедшего к нему Мейсона, подумал, что это приезжий, который хочет спросить дорогу, и из вежливости пошел ему навстречу.

– Вы мистер Тайтус Олден?

– Да, сэр, это я.

– Мистер Олден, моя фамилия Мейсон, я из Бриджбурга, прокурор округа Катараки.

– Так, сэр, – ответил Тайтус, недоумевая, для чего он мог понадобиться прокурору, да еще из такого далекого округа.

А Мейсон смотрел на Тайтуса, не зная, с чего начать. Трагическое известие, которое он привез, будет, пожалуй, убийственно для этого явно слабого и беспомощного человека. Они стояли под одной из высоких темных елей, росших перед домом. Ветер в ее иглах нашептывал свою песню, старую, как мир.

– Мистер Олден, – начал Мейсон с необычной для него серьезностью и мягкостью. – У вас есть дочь по имени Берта или, может быть, Альберта? Я не совсем точно знаю ее имя.

– Роберта, – поправил Тайтус Олден, внутренне вздрогнув от недоброго предчувствия.

И Мейсон, опасаясь, что потом этот человек будет не в состоянии рассказать ему толком все, что он хотел узнать, поспешно спросил:

– Кстати, вы случайно не знаете здесь молодого человека по имени Клифорд Голден?

– Насколько помню, никогда не слыхал о таком, – медленно ответил Тайтус.

– Или Карл Грэхем?

– Нет, сэр. И с таким именем человека не припомню.

– Так я и думал, – воскликнул Мейсон, обращаясь не столько к Тайтусу, сколько к самому себе, и продолжал строго и властно:
– А кстати, где сейчас ваша дочь?

– В Ликурге. Она теперь там работает. Но почему вы спрашиваете? Разве она сделала что-нибудь плохое… или просила вас о чем-нибудь?

Он криво, с усилием улыбнулся, но в его серо-голубых глазах было смятение и тревожный вопрос.

– Одну минуту, мистер Олден, – продолжал Мейсон мягко, но в то же время решительно. – Сейчас я вам все объясню. Но сначала я должен задать вам два-три вопроса. – И он посмотрел на Тайтуса серьезно и сочувственно. – Когда вы в последний раз видели вашу дочь?

– Да вот, она уехала во вторник утром, потому как ей надо было возвращаться в Ликург. Она там работает на фабрике воротничков и рубашек Грифитса. Но…

– Еще минуту, – твердо повторил прокурор, – я сейчас все объясню. Вероятно, она приезжала домой на субботу и воскресенье. Так?

– Она приезжала в отпуск и прожила у нас примерно с месяц, – медленно и подробно объяснил Тайтус. – Она не совсем хорошо себя чувствовала и приехала домой немножко отдохнуть. Но когда она уезжала, она была совсем здорова. Вы ведь не привезли дурных вестей, мистер Мейсон? С ней ничего неладного не случилось? – С недоумевающим видом он поднес свою длинную загорелую руку к подбородку. – Да нет, не может этого быть… – Он растерянно провел рукой по редким седым волосам.

– А вы не имели от нее вестей, с тех пор как она уехала? – спокойно продолжал Мейсон с твердым намерением получить возможно больше сведений, прежде чем нанести тяжелый удар. – Она не сообщала, что поедет не в Ликург, а еще куда-нибудь?

– Нет, сэр, мы ничего не получали. Но скажите, с нею не случилось никакой беды? Может быть, она сделала что-нибудь такое… Да нет же, не может этого быть! Но вы так спрашиваете… Вы так говорите…

Его пробирала дрожь, и он бессознательно дотрагивался рукой до тонких бледных губ. Но прокурор, не отвечая, достал из кармана письмо Роберты к матери, и, показывая старику одну только надпись на конверте, спросил:

– Это почерк вашей дочери?

– Да, сэр, это ее почерк, – ответил Тайтус, слегка возвышая голос. – Но в чем же дело, господин прокурор? Почему это письмо попало к вам? Что в этом письме? – Он судорожно стиснул руки, уже ясно читая в глазах Мейсона весть о каком-то страшном несчастье. – Что это? Что там?.. Что она пишет в этом письме? Вы должны мне сказать, что случилось с моей дочерью!

Он в волнении оглянулся, словно собираясь бежать в дом, позвать на помощь, поделиться с женой своим ужасом… И Мейсон, видя, в какое состояние привел он несчастного старика, с силой, но дружески схватил его за руки.

– Мистер Олден, – начал он, – у каждого из нас бывают в жизни такие тяжелые минуты, когда необходимо собрать все свое мужество. Я не решаюсь сказать вам, в чем дело, потому что я и сам многое испытал в жизни и понимаю, как вы будете страдать.

– Она ранена! Может быть, она умерла? – пронзительно закричал Тайтус, расширенными глазами глядя на прокурора.

Орвил Мейсон кивнул.

– Роберта! Дитя мое! Господи! – Старик согнулся, точно от удара, и прислонился к дереву, чтобы не упасть. – Но как? Где? Ее убило машиной на фабрике? Боже милостивый!

Он повернулся, чтобы пойти домой, к жене, но прокурор, человек с изувеченным лицом и сильными руками, удержал его:

– Одну минуту, мистер Олден, одну минуту! Вы не должны пока идти к жене. Я знаю, это очень тяжело, это ужасно, Но позвольте объяснить. Не в Ликурге и не машиной, нет. Она утонула. В озере Большой Выпи. Она поехала за город в четверг, понимаете? Слышите, в четверг. Она утонула в озере Большой Выпи в четверг, катаясь на лодке. Лодка перевернулась.

Горе Тайтуса, его полные отчаяния слова и жесты взволновали прокурора, и он не мог с должным спокойствием объяснить, каким образом все произошло (если даже предположить, что это был несчастный случай). Услышав, что Роберта умерла, потрясенный Олден едва не лишился рассудка. Выкрикнув свои первые вопросы, он начал глухо стонать, будто раненый зверь, ему не хватало дыхания. Он согнулся, скорчился, как от сильной боли, потом всплеснул руками и сжал ладонями виски.

– Моя Роберта умерла! Моя дочь! Нет, нет! Роберта! О, господи! Утонула! Не может этого быть! Мать говорила о ней только час назад. Она умрет, когда услышит. И меня это убьет. Да, убьет. Моя бедная, моя дорогая девочка! Детка моя! Я не вынесу этого, господин прокурор!

И он тяжело и устало оперся на Мейсона, который, как мог, старался его поддержать. Через минуту старик оглянулся на дом и посмотрел на дверь недоуменным, блуждающим взглядом помешанного.

– Кто скажет ей? – спросил он. – Кто решится ей сказать?

– Послушайте, мистер Олден, – убеждал Мейсон, – ради вас самих и ради вашей жены прошу вас: успокойтесь и помогите мне разобраться в этом деле, помогите трезво и тщательно, как будто речь идет не о вашей дочери. Я вам еще далеко не все рассказал. Но вы должны успокоиться. Дайте мне все объяснить. Это ужасно, и я от всей души вам сочувствую. Я знаю, как вам тяжело. Но тут есть ужасные и тягостные обстоятельства, о которых вы должны узнать. Выслушайте же меня! Выслушайте!

И тут, продолжая держать Тайтуса под руку, Мейсон так быстро и убедительно, как только мог, сообщил различные факты и подозрения, связанные со смертью Роберты, потом дал ему прочитать ее письмо и под конец воскликнул:

– Здесь преступление! Преступление, мистер Олден! Так мы думаем в Бриджбурге, – по крайней мере мы этого опасаемся, – несомненное убийство, мистер Олден, если можно употребить такое жестокое, холодное слово.

Он помолчал, а Олден, потрясенный упоминанием о преступлении, неподвижно смотрел на него, словно не вполне понимая, что ему говорят.

– Как я ни уважаю ваши чувства, – снова заговорил Мейсон, – однако, как главный представитель закона в моем округе, я счел своим долгом приехать сегодня сюда, чтобы узнать, что известно вам об этом Клифорде Голдене, или Карле Грэхеме, или о ком бы то ни было, кто завлек вашу дочь на это безлюдное озеро. Я понимаю, мистер Олден, вы сейчас испытываете жесточайшие страдания. И все же я утверждаю, что ваш долг – и это должно быть и вашим желанием – всеми силами помочь мне распутать это дело. Данное письмо показывает, что ваша жена, во всяком случае, знает кое-что об этом субъекте, знает хотя бы его имя.

И он многозначительно постучал пальцем по письму.

Как только Олден понял, что его дочь, видимо, стала жертвой злодейского насилия, к чувству горькой утраты примешался какой-то звериный инстинкт, смешанный с любопытством, гневом и страстью прирожденного охотника, – все это помогло ему

овладеть собой, и теперь он молча и мрачно слушал, что говорил прокурор. Его дочь не просто утонула – она убита, и убил ее какой-то молодой человек, за которого, как видно из письма, она собиралась выйти замуж! И он, ее отец, даже не подозревал о существовании этого человека! Странно, что жена знала, а он – нет. И Роберта не хотела, чтобы он знал.

И тотчас у него возникла мысль, порожденная его религиозными верованиями, условностями и обычным для деревенского жителя подозрительным отношением к городу и ко всей городской запутанной и безбожной жизни: наверно, какой-нибудь молодой богатый горожанин, соблазнитель и обманщик, с которым Роберта встретилась в Ликурге, обольстил ее, обещая жениться, а потом, конечно, не пожелал сдержать слово. И в нем мгновенно вспыхнуло жестокое, неукротимое желание отомстить тому, кто мог пойти на такое гнусное преступление против его дочери. Негодяй! Насильник! Убийца!

И он и жена думали, что в Ликурге Роберта спокойно, серьезно и счастливо идет своим трудным и честным путем, работает, чтобы содержать себя и помогать им, старикам. А между тем с четверга до утра пятницы тело ее лежало на дне озера. А они спали на мягкой постели, ходили, разговаривали, не подозревая о ее страшной судьбе. И теперь ее тело где-то в чужой комнате или, может быть, в морге, и родные, любящие руки не позаботились о нем, и завтра равнодушные, холодные чиновники отвезут его в Бриджбург.

– Если есть бог, – в волнении воскликнул Олден, – он не допустит, чтобы такой негодяй остался безнаказанным! Нет, не допустит!.. «Увижу я еще, – вдруг процитировал он, – детей праведника покинутыми и потомков его просящими хлеба». И внезапно, охваченный жгучей жаждой деятельности, он прибавил: – Теперь я должен все рассказать жене. Да, да, сейчас же! Нет, вы подождите здесь. Сначала я скажу ей все наедине. Я сейчас вернусь. Сейчас. Подождите меня здесь. Я знаю, это ее убьет. Но она должна знать все. Может быть, она скажет нам, кто он, тогда мы поймаем его, пока он не удрал подальше… Бедная моя дочка! Бедная маленькая Роберта! Моя милая, добрая, честная девочка!

И так, бессвязно бормоча, со страдальческим, почти безумным лицом он повернулся и, угловатый и нескладный, походкой автомата направился к пристройке, которая служила кухней: там, как он знал, жена готовила какие-то особенные блюда к завтрашнему – воскресному – обеду. Но на пороге он остановился, у него не хватило мужества идти дальше. Он был живым воплощением трагической беспомощности человека перед безжалостными, непостижимыми и равнодушными силами жизни.

Миссис Олден обернулась и, увидев его искаженное лицо, бессильно опустила руки; его предвещавший недоброе взгляд разом согнал с ее лица усталое, но мирное и простодушное спокойствие.

– Тайтус, ради бога! Что случилось?

Воздетые к небу руки, полуоткрытый рот, жуткие, невольно и неестественно сузившиеся и снова широко раскрывшиеся глаза и, наконец, одно слово:

– Роберта!

– Что с ней? Что с ней, Тайтус? Что с ней?

Молчание. Снова нервные подергивания рта, глаз, рук… И потом:

– Умерла! Она… она утонула! – И он без сил опустился на скамью, стоявшую тут же, у двери.

Секунду-другую миссис Олден смотрела на него, не понимая, потом поняла и, не вымолвив ни слова, тяжело рухнула на пол. А Тайтус смотрел на нее и кивал, словно говоря: «Вот, вот. Только так и могло быть. Вот она и избавилась от этого ужаса». Он медленно встал, подошел к жене и, опустившись на колени, попытался приподнять ее. Потом так же медленно поднялся, вышел из кухни и, обойдя дом, направился к полуразрушенному крыльцу, где сидел Орвил Мейсон, глядя на заходящее солнце и раздумывая о том, какое горе поведал этот жалкий, неудачливый фермер своей жене. Ему даже захотелось на минуту, чтобы все было по-иному, чтобы этого дела, хоть оно и выгодно ему, Мейсону, вовсе не существовало.

Но при виде похожей на скелет фигуры фермера он вскочил и, обогнав Олдена, поспешил к пристройке. Увидев на полу безмолвную и бесчувственную миссис Олден, почти такую же маленькую и хрупкую, как и ее дочь, он поднял ее своими сильными руками, пронес через столовую в большую общую комнату и положил здесь на расшатанную кушетку. Потом нащупал ее пульс и бросился за водой. При этом он огляделся по сторонам, нет ли поблизости сына, дочери, соседки, кого-нибудь, но никого не увидел и, поспешно вернувшись к миссис Олден, слегка обрызгал водой ее лицо и руки.

– Есть тут где-нибудь доктор? – обратился он к Тайтусу, которого застал стоящим на коленях подле жены.

– В Бильце есть… доктор Крейн.

– А у вас или у кого-нибудь по соседству есть телефон?

– У мистера Уилкокса. – Тайтус махнул рукой по направлению к дому Уилкокса, телефоном которого лишь недавно пользовалась Роберта.

– Присмотрите за ней. Я сейчас вернусь.

Мейсон бросился к телефону, чтобы вызвать Крейна или любого другого врача, и почти сейчас же вернулся вместе с миссис Уилкокс и ее дочерью. А затем – нескончаемое ожидание, пока не явились соседи и, наконец, доктор Крейн; с последним Мейсон посовещался о том, можно ли будет сегодня же поговорить с миссис Олден о важном и секретном деле, которое привело его сюда. И доктор Крейн, на которого произвели большое впечатление внушительные, официальные манеры мистера Мейсона, признал, что это, пожалуй, будет для нее даже лучше.

С помощью лекарств, а также сочувственных уговоров и соболезнований миссис Олден привели в чувство, и, все вновь подбадриваемая и успокаиваемая, она смогла наконец выслушать обстоятельства дела, а потом и ответить на вопросы Мейсона о загадочной личности, упоминавшейся в письме Роберты. Она припомнила, что Роберта говорила лишь об одном человеке, который оказывал ей особое внимание, да и говорила-то о нем только раз, в минувшее рождество. Это был Клайд Грифитс, племянник богатого ликургского фабриканта Сэмюэла Грифитса, заведующий тем отделением, где работала Роберта.

Но это, разумеется, отнюдь не означало, как сразу почувствовали и Мейсон и Олден, что племянник такого важного лица может быть обвинен в убийстве Роберты. Богатство! Положение в обществе! Понятно, Мейсон склонен был поразмыслить и помедлить, прежде чем выступить с таким обвинением. Слишком огромная была, на его взгляд, разница в общественном положении этого человека и утонувшей девушки. А все же могло быть и так. Почему нет? Пожалуй, юноша, занимающий такое положение, скорее, чем кто-либо другой, способен мимоходом завести тайный роман с такой девушкой, как Роберта, – ведь Хейт говорил, что она очень хорошенькая. Она работала на фабрике его дяди и была бедна. И к тому же, как сообщил Фред Хейт, кто бы ни был человек, с которым была эта девушка в час своей смерти, она решилась на сожительство с ним до брака. Разве это не характерно? Именно так и поступают богатые и развращенные молодые люди с бедными девушками. Мейсон в юности перенес немало ударов и обид, сталкиваясь с преуспевающими счастливцами, и эта мысль показалась ему очень убедительной. Подлые богачи! Бездушные богачи! А мать и отец, конечно, непоколебимо верили в невинность и добродетель дочери.

Из дальнейших расспросов выяснилось, что миссис Олден никогда не видела этого молодого человека, но и никогда не слыхала о ком-либо другом. Она и ее муж могли дополнительно сообщить только, что в последний раз, когда Роберта приезжала на месяц домой, она чувствовала себя не совсем здоровой, ходила вялая и часто ложилась отдыхать. И еще что она все писала письма, которые отдавала почтальону или сама опускала в ящик внизу на перекрестке. Отец и мать не знали, кому были адресованы эти письма, но Мейсон тут же сообразил, что почтальон, вероятно, это знает. Далее, за месяц, который Роберта провела дома, она сшила себе несколько платьев – кажется, четыре. А в последнее время ее несколько раз вызывал к телефону какой-то мистер Бейкер, – это Тайтус слышал от Уилкокса. Уезжая, она взяла с собой только те вещи, с которыми приехала: небольшой сундучок и чемодан. Сундучок она сама сдала на станции в багаж, но Тайтус не мог сказать, отправила она его в Ликург или еще куда-нибудь.

Мейсон обдумывал весьма важное, на его взгляд, сообщение о Бейкере, и тут ему вдруг пришло в голову: «Клифорд Голден – Карл Грэхем – Клайд Грифитс!» Одни и те же инициалы и сходное звучание этих имен поразили его. Поистине странное совпадение, если только этот самый Клайд Грифитс никак не замешан в преступлении! И ему уже не терпелось найти почтальона и допросить его.

Но Тайтус Олден нужен был не только как свидетель, который опознает тело Роберты и установит, что именно ей принадлежали вещи в чемодане, оставленном на станции Ружейной, – он мог также убедить почтальона говорить начистоту, и потому Мейсон попросил старика одеться и поехать с ним, уверяя, что завтра же отпустит его домой.

Предупредив миссис Олден, чтобы она никому ничего не говорила, Мейсон отправился на почту допрашивать почтальона.

Почтальон был разыскан и допрошен в присутствии Олдена, который стоял около прокурора, похожий на гальванизированный труп. Роберта за время последнего пребывания здесь передала ему несколько писем – двенадцать, а то и пятнадцать, – сообщил почтальон и вспомнил даже, что все они были адресованы в Ликург, какому-то… как его?.. да, верно, Клайду Грифитсу, до востребования. Мейсон немедленно отправился с почтальоном к местному нотариусу, который по всем правилам закона запротоколировал эти показания. Потом прокурор позвонил к себе в канцелярию и, узнав, что тело Роберты уже доставлено в Бриджбург, поспешил туда со всей скоростью, какую только можно было развить на его машине. В десять часов вечера в приемной «Похоронного бюро братьев Луц» вокруг утопленницы собрались Бэртон Бэрлей, Хейт, Эрл Ньюком. Тайтус, едва не

теряя рассудок, смотрел в лицо дочери. И тут Мейсон получил возможность, во-первых, убедиться, что это действительно Роберта Олден, и, во-вторых, решить для себя вопрос; можно ли считать ее девушкой из тех, которые с легкостью идут на недозволенную связь, на какую указывала запись в гостинице на Луговом озере. Нет, решил он, она не такая. Здесь налицо хитрый и злой умысел – совращение и убийство! Ах, негодяй! И до сих пор не пойман! Политическая значимость этого дела отошла в представлении Мейсона на задний план, уступив место гневу и ненависти ко всем богачам.

Но эти минуты возле покойницы и вид Тайтуса Олдена, который, упав на колени перед дочерью, страстно прижимал к губам ее маленькие ледяные руки и неотрывно, лихорадочным, протестующим взглядом всматривался в ее восковое лицо, обрамленное длинными каштановыми волосами, – все предвещало, что едва ли общество формально и беспристрастно отнесется к этому делу. Глаза всех присутствующих были полны слез.

И тут Тайтус Олден усилил драматизм этой сцены. В то время как братья Луц, трое их приятелей – владельцы автомобильной мастерской по соседству,

– Эверет Бикер, представитель газеты «Республиканец», и Сэм Тэксон, редактор газеты «Демократ», стоя в дверях, через голову друг друга с почтительным страхом заглядывали в комнату, он вдруг вскочил и неистово кинулся к Мейсону с криком:

– Найдите негодяя, который в этом виноват, господин прокурор! Пускай его заставят страдать, как страдала моя добрая, чистая девочка. Ее убили, вот что! Только убийца мог вот так завезти девушку на озеро и так ударить

– он ее ударил, это всякому ясно! – И Тайтус указал на лицо мертвой дочери. – У меня нет денег, чтобы судиться с таким негодяем, но я буду работать… Я продам ферму…

Голос его оборвался. Он снова повернулся к Роберте и едва не упал. И тогда Орвил Мейсон, которому передался скорбный и мстительный порыв несчастного отца, выступил вперед и воскликнул:

– Пойдемте отсюда, мистер Олден. Мы знаем теперь, что это ваша дочь. Призываю всех вас, джентльмены, в свидетели: тело опознано. И если подтвердится предположение, что ваша бедная девочка убита, мистер Олден, я как прокурор торжественно обещаю вам не пожалеть ни времени, ни денег, ни сил, чтобы выследить этого негодяя и отдать его в руки властей. И если правосудие в округе Катараки стоит на высоте – а я в этом убежден, – вы можете положиться на любой состав присяжных, который будет подобран нашим здешним судом. И вам не придется продавать вашу ферму!

Искреннее, хотя и внезапное волнение, а также присутствие потрясенных слушателей привело к тому, что ораторский талант мистера Мейсона проявился во всей своей силе и великолепии.

И один из братьев Луц – Эд, исполнитель всех дел похоронного бюро, связанных со случаями внезапной и насильственной смерти, – в волнении заявил:

– Верно, Орвил! Вот такой прокурор, нам и нужен.

А Эверет Бикер закричал:

– Действуйте, мистер Мейсон! Мы вас поддержим все как один, когда надо будет.

Фред Хейт и его помощник, взволнованные драматическим выступлением Мейсона и его чрезвычайно живописным, даже героическим видом, подошли ближе. Хейт взял друга за руку, а Эрл воскликнул:

– Желаю успеха, мистер Мейсон! Мы все сделаем, что можем, будьте уверены. И не забудьте про чемодан, который она оставила на Ружейной. Он у вас в канцелярии. Я передал его Бэртону два часа назад.

– Да, верно. Я чуть не забыл о нем, – сказал Мейсон спокойно и деловито. Недавний порыв красноречия и чувствительности прошел. Теперь Мейсон находился под впечатлением необычайных похвал: никогда еще за все годы своей деятельности не переживал он ничего подобного.

Глава 5

В сопровождении Олдена и должностных лиц Мейсон шел в свою канцелярию, спрашивая себя, чем могло быть вызвано это гнусное преступление. В юности ему очень не хватало женской близости, и потому у него развилась склонность к такого рода

размышлениям. Он думал о красоте и обаянии Роберты и, с другой стороны, о ее бедности и строгом нравственном и религиозном воспитании и пришел к убеждению, что, судя по всему, этот молодой человек или мальчишка соблазнил ее, а потом, когда она ему надоела, выбрал такой способ, чтобы отделаться от нее, – мнимую, предательскую «свадебную поездку» на озеро. И тут Мейсон почувствовал безмерную личную ненависть к этому человеку. Подлые богачи! Праздные богачи! Порочные и злые бездельники! И молодой Клайд Грифитс – достойный представитель этой породы! Только бы его поймать!

И в то же время он вдруг подумал, что, судя по некоторым обстоятельствам (девушка явно была в сожительстве с этим человеком), она могла быть беременна. Этой догадки было достаточно, чтобы возбудить в нем не только специфическое любопытство ко всем подробностям романа, приведшего к такому концу, но и нетерпеливое желание проверить, насколько справедливы его подозрения. И Мейсон стал думать, что нужно найти подходящего врача для вскрытия – если не в Бриджбурге, то в Утике или в Олбани, – а также сообщить об этом подозрении Хейту и, наконец, определить характер ударов, оставивших следы на лице Роберты.

Но прежде всего надо было осмотреть чемодан и его содержимое, и тут Мейсону посчастливилось найти новую, крайне важную улику. Ибо, кроме платьев и шляп Роберты, белья, пары красных шелковых подвязок (они так и лежали в коробочке, в которой были куплены у Броунстайна в Ликурге), в чемодане оказался еще и туалетный прибор – рождественский подарок Клайда. И в уголке футляра, в складку серой шелковой подкладки была засунута маленькая, простенькая белая карточка с надписью: «Берте от Клайда. Поздравляю с рождеством!» Но фамилии не было. А почерк – торопливые каракули, потому что, когда Клайд писал это, он стремился отнюдь не к Роберте.

Это поразило Мейсона: как же убийца не знал, что туалетный прибор вместе с карточкой лежит в чемодане? А если знал и не вынул карточки, тогда возможно ли, чтобы этот самый Клайд был убийцей? Мог ли человек, задумавший убийство, упустить из виду такую карточку, надписанную его собственной рукой? Что это за странный злоумышленник и убийца? И тут прокурор подумал: «Не стоит ли скрыть существование этой карточки до суда и потом неожиданно предъявить ее в случае, если преступник станет отрицать всякую близость с девушкой или то, что он подарил ей туалетный прибор?» И он взял карточку и сунул себе в карман, но сперва Эрл Ньюком, внимательно осмотрев ее, сказал:

– Я не вполне уверен, мистер Мейсон, но мне кажется, что это очень похоже на запись в гостинице на Большой Выпи.

И Мейсон ответил:

– Ну, это мы скоро установим.

Он знаком позвал Хейта в соседнюю комнату, где никто не мог их видеть и слышать, и сказал:

– Ну, Фред, все в точности так, как вы думали. Она знает, с кем уехала дочь (он имел в виду то, что уже говорил Хейту по телефону из Бильца: что получил от миссис Олден сведения о предполагаемом преступнике). Но вы и через тысячу лет не отгадаете, кто это, если я вам не скажу.

И он пристально посмотрел на Хейта.

– Без сомнения, Орвил. Не имею ни малейшего понятия.

– А вы знаете фирму «Грифитс и Компания» в Ликурге?

– Не те, что делают воротнички?

– Да, те самые.

– Но не сын же?

Глаза Фреда Хейта раскрылись так широко, как не раскрывались уже много лет. Большая загорелая рука ухватила длинную бороду.

– Нет, не сын. Племянник.

– Племянник Сэмюэла Грифитса?! Быть не может!

Следователь, человек пожилой, набожный, строго нравственный, интересующийся политикой и коммерцией, теребил бороду и растерянно смотрел на Мейсона.

– Пока что все обстоятельства указывают на это, Фред. Во всяком случае, я сегодня ночью еду в Ликург и надеюсь, что завтра буду знать больше. Но, видите ли, этот самый Олден – фермер, совершеннейший бедняк, его дочь работала на фабрике Грифитсов в Ликурге; а этот племянник Клайд Грифитс, как видно, заведовал тем отделением, где она работала.

– Так, так, гак, – произнес следователь.

– До этой поездки, до вторника, она провела месяц дома, – была *больна* (Мейсон сделал ударение на этом слове). За это время она написала ему по крайней мере десять писем, а может быть, и больше. Это я узнал от местного почтальона. Он дал показания под присягой, по всей форме, вот они! – Он похлопал по карману пиджака. – Все письма были адресованы в Ликург Клайду Грифитсу. Я даже знаю номер его дома. И знаю фамилию семьи, где жила девушка. Я звонил туда из Бильца. Сегодня прихвачу с собой в Ликург старика: вдруг там обнаружится что-нибудь такое, о чем он может знать.

– Так, так, Орвил. Понимаю… понимаю… Но шутка ли, Грифитс!.. – И Хейт прищелкнул языком.

– А главное, я хочу с вами поговорить насчет медицинской экспертизы, – продолжал Мейсон быстро и резко. – Знаете, я не думаю, чтобы он решил ее убить только потому, что не хотел на ней жениться. Это, по-моему, неубедительно.

И Мейсон сообщил Хейту основные соображения, которые заставили его прийти к выводу, что Роберта была беременна.

Хейт сразу согласился с ним.

– Стало быть, требуется вскрытие, – сказал Мейсон, – и медицинское заключение о характере ран и ушибов. Прежде чем тело заберут отсюда, Фред, мы должны знать точно, без тени сомнения, была ли девушка сперва убита и потом выброшена из лодки, или только оглушена и выброшена, или лодка перевернулась. Это очень существенно для дела, сами понимаете. Мы ничего не сможем сделать, если не будем знать все это в точности. Но как насчет здешних врачей? Как, по-вашему, сумеет кто-нибудь из них сделать все это как следует, чтобы на суде никто не мог подкопаться под их заключение?

Мейсон волновался: он уже строил план обвинения.

– Не знаю, Орвил, – медленно ответил Хейт, – не могу сказать точно. Об этом вам лучше судить. Я уже просил доктора Митчелла зайти завтра и взглянуть на нее. Можно позвать Бетса. Но если вы предпочитаете кого-нибудь другого… Бево или Линкольна… Что вы скажете насчет Бево?

– Пожалуй, лучше Уэбстера из Утики, – сказал Мейсон, – или Бимиса, или обоих сразу. В таком деле и четыре и пять экспертов не помешают.

И Хейт, понимая всю тяжесть возложенной на него ответственности, прибавил:

– Я думаю, вы правы, Орвил. Может быть, четыре или пять умов лучше, чем один или два. Но это значит, что мы должны отложить освидетельствование на день или на два, пока не соберем всех врачей.

– Верно, верно, – подтвердил Мейсон. – Но это даже лучше. Я тем временем съезжу в Ликург и, возможно, сумею еще что-нибудь выяснить. Никогда нельзя знать заранее. Может быть, я там его и захвачу. По крайней мере надеюсь. Или хотя бы узнаю что-нибудь новое, что прольет свет на все дело… Я чувствую, что это будет большое дело, Фред. Самое трудное дело во всей моей практике, да и в вашей тоже, и мы должны взвешивать каждый свой шаг. Тут никакая осторожность не лишняя. Он, по-видимому, богат, – значит, будет бороться. И, кроме того, родные его поддержат.

Он нервно взъерошил свои густые волосы.

– Ничего, я думаю, справимся, – прибавил он. – Первым делом надо вызвать из Утики Бимиса и Уэбстера, – пожалуй, телеграфируйте-ка им сегодня, что ли, или позвоните по телефону. И Спралу в Олбани. А чтобы не нарушать мир в собственном доме, пригласим и здешних: Линкольна и Бетса. И, пожалуй, Бево. – Тут он разрешил себе слегка улыбнуться. – Ну вот, Фред, а я пока что начну собираться в дорогу. Устройте так, чтобы они приехали сюда не завтра, а в понедельник или во вторник. К тому времени я, должно быть, вернусь и тогда смогу сам быть при этом. А если можно, давайте в понедельник… чем скорее, тем лучше! Посмотрим, что тогда выяснится.

Он достал из шкафа еще несколько бланков, потом вышел в приемную и сообщил Олдену, что им придется поехать вместе в Ликург, а Бэрлею поручил вызвать к телефону миссис Мейсон и объяснить ей, что прокурор должен был уехать по срочному делу и вернется не раньше понедельника.

Всю дорогу до Утики – три часа езды и час, проведенный в ожидании поезда на Ликург, и еще час двадцать минут в вагоне этого поезда (в Ликург они прибыли около семи утра) – Орвил Мейсон усиленно вытягивал из подавленного и мрачного Тайтуса отрывочные сведения о скромном прошлом его и Роберты, и ее щедрости, послушании, порядочности, о ее добром и нежном сердце, о том, где именно она прежде работала, сколько получала и на что тратила деньги, – то была скромная повесть, и она глубоко тронула Мейсона.

Приехав с Тайтусом в Ликург, Мейсон тотчас отправился в отель «Ликург» и, сняв номер, оставил там старика, чтобы тот мог отдохнуть. Оттуда он поспешил к местному прокурору, от которого ему нужно было получить разрешение действовать на его территории. Ему в помощь дали полицейского для поручений – рослого сыщика в штатском, – и он проследовал в комнату Клайда на Тэйлор-стрит, надеясь наперекор всему застать его дома. Однако вышедшая к ним миссис Пейтон сообщила, что Клайд, хотя и живет здесь, но в настоящее время отсутствует (уехал во вторник, вероятно, к своим друзьям на Двенадцатое озеро). И Мейсон не без некоторой неловкости вынужден был объяснить, во-первых, что он прокурор округа Катараки, и, во-вторых, что ввиду некоторых подозрительных обстоятельств, связанных с гибелью на озере Большой Выпи одной девушки, спутником которой, по-видимому, был Клайд, он, прокурор, должен произвести обыск в его комнате. Это заявление так потрясло миссис Пейтон, что она отпрянула и на лице ее отразились крайнее изумление, ужас и недоверие.

– Как, мистер Клайд Грифитс!.. Да нет же, это нелепо! Он племянник мистера Сэмюэла Грифитса, и его здесь все знают. Если вам нужны какие-то сведения о нем, обратитесь к его родным: они вам, конечно, все скажут. Но чтобы такая вещь… да этого быть не может!

И она так глядела на Мейсона и на местного сыщика, который уже успел показать ей свой значок, словно сомневалась и в их честности и в их полномочиях.

А тем временем сыщик, привычный к такого рода обстоятельствам, уже встал за спиной миссис Пейтон, внизу лестницы, ведущей в верхний этаж. А Мейсон вынул из кармана предусмотрительно заготовленный ордер на производство обыска.

– Мне очень жаль, сударыня, но я должен просить вас показать нам его комнату. Вот ордер, дающий мне право произвести обыск, а это подчиненный мне полицейский агент.

И, сразу поняв всю тщетность борьбы с законом, миссис Пейтон дрожащей рукой указала на комнату Клайда, хотя и думала при этом, что произошло какое-то бессмысленное, глубоко несправедливое и оскорбительное недоразумение.

А те двое, войдя в комнату Клайда, стали ее осматривать. Оба сразу заметили в углу небольшой и не очень прочный запертый сундук, и Фауне, сыщик, сейчас же попытался приподнять его, чтобы определить вес, а Мейсон стал осматривать одну за другой все вещи в комнате, содержимое всех ящиков и коробок, а также всех карманов в одежде. И в ящике шифоньерки, среди вышедших из употребления кальсон и рубашек и старых приглашений от Трамбалов, Старков, Грифитсов и Гарриэтов, он нашел листок блокнота, на котором Клайд записывал для памяти, куда он приглашен: «Среда 20 февраля. Обед у Старков», ниже: «Пятница, 22, Трамбалы». Сравнив этот почерк с почерком на карточке, которая была у него в кармане, Мейсон сейчас же убедился по их сходству, что действительно находится в комнате именно того человека, который ему нужен. Он спрятал листок в карман и посмотрел в угол, где сыщик внимательно разглядывал запертый сундук.

– Как быть с этим, начальник? Заберем отсюда или вскроем здесь?

– Я думаю, – внушительно сказал Мейсон, – что нам следует вскрыть его здесь. Фауне. Позже я пришлю за ним, но я хотел бы теперь же знать, что в нем есть.

Сыщик сейчас же извлек из кармана тяжелую стамеску и посмотрел, нет ли где-нибудь молотка.

– Сундук не такой уж прочный, – сказал он, – думаю, что смогу взломать его, если вам угодно.

Но тут миссис Пейтон, безмерно удивленная таким оборотом дела, не выдержала и вступилась в надежде помешать столь грубым действиям.

– Я могу дать вам молоток, если хотите, – заявила она, – но разве нельзя послать за слесарем? Никогда в жизни не слыхала ничего подобного!

Тем не менее сыщик завладел молотком и сбил замок. В небольшом верхнем отделении оказалась всяческая туалетная мелочь: носки, воротнички, галстуки, кашне, подтяжки, потрепанный свитер, пара высоких зимних сапог весьма среднего качества, мундштук, красная лакированная пепельница и коньки. Но среди всего этого, в углу, лежали также связанные вместе-последние пятнадцать писем Роберты, отправленные из Бильца, и небольшой ее портрет, который она ему подарила в прошлом году. И тут же – другая, маленькая пачка, в которой были собраны все записочки и приглашения, написанные ему Сондрой до того дня, когда она уехала на Сосновый мыс. Письма, написанные оттуда, Клайд носил с собой на груди, у сердца. Нашлась и третья пачка, еще более компрометирующая, – одиннадцать писем от матери, причем первые два были адресованы Гарри Тенету в Чикаго до востребования – обстоятельство, явно очень подозрительное, а остальные

– Клайду Грифитсу в Чикаго, а затем в Ликург.

Прокурор не стал ждать и смотреть, что еще окажется в сундуке, а взялся за письма: сначала он прочитал первые три письма Роберты, после чего ему стала совершенно ясна причина ее отъезда в Бильц; затем три первых письма от матери на трогательно простой, дешевой бумаге: она намекала на безрассудное поведение Клайда в Канзас-Сити и на несчастный случай, из-за которого ему пришлось оттуда уехать, и настойчиво и нежно убеждала его в будущем не сбиваться с пути. И Мейсон, который с юности привык подавлять свои страсти и очень плохо знал людей и человеческие отношения, тут же вообразил, что этот субъект с ранней юности отличался неустойчивым характером, легкомыслием и распущенностью.

В то же время Мейсон с удивлением узнал, что хотя Клайд и пользуется здесь поддержкой богатого дяди, но принадлежит к бедной и притом очень религиозной ветви семейства Грифитс. В обычных условиях это могло бы несколько смягчить его отношение к Клайду. Однако теперь под влиянием записочек Сондры, трагических писем Роберты и намеков матери на какое-то прежнее преступление в Канзас-Сити он пришел к убеждению, что Клайд по складу своего характера вполне способен был не только задумать это новое преступление, но и хладнокровно его осуществить. Что же там было, в Канзас-Сити? Необходимо телеграфировать тамошнему прокурору и запросить о подробностях.

Думая об этом, он стал бегло, но все так же зорко и критически просматривать различные записочки, приглашения и любовные письма Сондры. Все они были сильно надушены, написаны на великолепной бумаге с монограммой и становились раз от разу все ласковее и интимнее, а более поздние неизменно начинались словами: «Клайди, маленький», или «мой милый черноглазик», или «мой милый мальчик», и были подписаны либо по-детски «Сонда», либо «Ваша Сондра»… Некоторые из них были совсем недавние: от десятого, пятнадцатого, двадцать шестого мая, – как раз в это время, как мгновенно отметил Мейсон, стали приходить самые печальные письма от Роберты.

Теперь все ясно. Он тайно обольстил одну девушку, и при этом у него хватило нахальства добиваться взаимности другой, на сей раз принадлежащей к высшему кругу здешнего общества.

Захваченный и ошеломленный этим поразительным открытием, Мейсон, однако, понимал, что теперь не время сидеть в раздумье. Отнюдь нет. Этот сундук надо немедленно переправить в отель «Ликург». Далее он должен, если только возможно, выяснить, где именно находится этот субъект, и изловить его… Он приказал сыщику позвонить в полицейское управление и позаботиться, чтобы сундук доставили в его номер в отеле, а сам поспешил в особняк Сэмюэла Грифитса, но там узнал, что вся семья за городом, на Лесном озере.

В ответ на его телефонный запрос с Лесного озера сообщили, что, насколько там известно, Клайд Грифитс находится теперь на даче Крэнстонов, на Двенадцатом озере, неподалеку от Шейрона, рядом с дачей Финчли. И фамилия Финчли и городок Шейрон уже были связаны в сознании Мейсона с Клайдом, и он сразу решил, что если Клайд еще не удрал подальше от этих мест, то он должен быть именно там, возможно, на даче у девицы, которая писала все эти записочки и приглашения, этой Сондры Финчли. И ведь капитан «Лебедя» заявил, что молодой человек, ехавший из Бухты Третьей мили, сошел в Шейроне. Эврика! Он поймал его!

И, тщательно обдумав дальнейший образ действий, Мейсон тут же решил самолично отправиться в Шейрон и на Сосновый мыс. А пока, получив точное описание наружности Клайда, он сообщил и эти приметы и то обстоятельство, что Клайд разыскивается по подозрению в убийстве, не только прокурору и начальнику полиции в Ликурге, но также шерифу в Бриджбурге Ньютону Слэку, Хейту и своему помощнику, предлагая всем троим немедленно выехать в Шейрон, где он с ними встретится.

Затем, якобы по поручению миссис Пейтон, он связался по междугородному телефону с дачей Крэнстонов на Сосновом мысе и спросил дворецкого, нет ли у них случайно мистера Клайда Грифитса. «Да, сэр, он здесь, сэр, но сейчас его нет поблизости, сэр. Должно быть, он отправился на прогулку по озеру, сэр. Что прикажете передать, сэр?» На дальнейшие расспросы дворецкий не мог ответить точно: все общество отправилось, вероятно, на Медвежье озеро

– это милях в тридцати; когда они вернутся, трудно сказать, должно быть, через день-два, не раньше. Но ясно было, что Клайд уехал с этой компанией.

И Мейсон тотчас вторично вызвал бриджбургского шерифа и дал ему указание взять с собой четырех или пятерых агентов, для того чтобы преследователи могли в Шейроне разделиться, схватить этого самого Клайда, где бы он ни был, и посадить в бриджбургскую тюрьму. А там пускай он объяснит в соответствии с процедурой, установленной законом, странные обстоятельства, которые до сих пор, казалось бы, неопровержимо указывали на него как на убийцу Роберты Олден.

Глава 6

С тех пор как воды озера сомкнулись над Робертой, а Клайд доплыл до берега и, переменив платье, добрался до Шейрона, а потом до дачи Крэнстонов, он находился в состоянии почти полного умственного расстройства и в своем смятении и страхе никак не мог понять, виновен он или не виновен в безвременной гибели Роберты. В то же время он ясно понимал: если случайно заметят, как он украдкой пробирается к югу, вместо того чтобы повернуть на север к гостинице и сообщить об этой как будто нечаянной катастрофе, то его поведение сочтут настолько черствым и жестоким, что всякий с полной убежденностью обвинит его в убийстве. И эта мысль терзала его, ибо теперь ему казалось, что на самом деле он не виноват, – ведь в последнюю минуту в душе его совершился переворот!

Но кто поверит этому теперь, раз он не вернулся и не сообщил о случившемся! А сейчас уже невозможно вернуться. Если Сондра услышит, что он был на этом озере с фабричной работницей, что он записал ее в гостинице как свою жену… Боже!

А потом объяснять все это дяде или холодному, жестокому Гилберту… и всей этой шикарной, циничной молодежи в Ликурге?.. Нет, нет! Зайдя так далеко, он не может отступить. Иначе катастрофа… быть может, смерть. Он должен использовать, насколько возможно, это ужасное положение, использовать свой замысел, который привел к такой странной, словно оправдывающей его развязке.

Но эти леса! Наступающая ночь! Жуткое одиночество и опасности, таящиеся всюду и во всем! Что делать, что сказать, если кто-нибудь встретится? Он был в полном смятении, на грани душевного и нервного расстройства. Хрустни сучок – и он бросится бежать, как заяц.

В таком состоянии он дождался темноты и углубился в лес, но прежде отыскал свой чемодан, переменил костюм и, выжав мокрую одежду и попытавшись кое-как высушить ее, уложил в чемодан, покрыл сухими ветвями и хвоей, а затем спрятал штатив фотографического аппарата под стволом упавшего дерева. И все упорнее он думал о своем странном и опасном положении. Что, если кто-нибудь был на берегу в ту самую минуту, когда он нечаянно ударил Роберту, и оба они упали в воду, и она так пронзительно и жалобно закричала? Что, если кто-нибудь видел это… один из тех сильных, здоровенных парней, которых он заметил здесь днем… быть может, вот сейчас кто-то поднимает тревогу – и уже в эту ночь десятки людей пустятся его преследовать. Охота на человека! Они схватят его, и никто не поверит, что он ударил ее нечаянно! Его даже могут линчевать, не дожидаясь законного суда. Это возможно. Это бывало. Веревка на шею. Или, может быть, пристрелят здесь, в лесу. И даже не выслушают, не дадут объяснить, как это случилось… как долго она преследовала и мучила его! Никто никогда его не поймет!

И, думая об этом, он шел все быстрей и быстрей – так быстро, как позволяли крепкие, густо растущие колючие молодые деревца и зловеще потрескивающие под ногами сухие ветки, – шел, твердя мысленно, что дорога к Бухте Третьей мили должна быть у него справа, а луна, когда взойдет, слева.

Но, боже, что-это?

Ужасный звук!

Словно жалобный и зловещий стон некоего духа во тьме!

Вот!

Что это?

Он выронил чемодан, весь в холодном поту опустился на землю и в страхе съежился у подножия высокого ветвистого дерева, оцепеневший и недвижимый.

Ужасный крик!

Да это же сова! Он слышал ее крик несколько недель назад, когда был на даче Крэнстонов. Но здесь! В этой чаще! В этой тьме!.. Надо идти, надо поскорее выбраться отсюда, это ясно. Надо прогнать эти страшные, ужасающие мысли, иначе у него вовсе не останется ни сил, ни мужества.

Но взгляд Роберты! Тот последний молящий взгляд! Боже! Ее глаза и сейчас перед ним. И эти отчаянные, ужасные крики! Неужели они будут все время звучать у него в ушах… до тех пор, пока он не выберется отсюда?

Поняла ли она, когда он ее ударил, что это случилось без злого умысла… что это было только мгновение гнева и протеста? Знает ли она это теперь, где бы она ни была – на дне озера или, быть может, здесь, в темной чаще, с ним рядом? Ее призрак!.. Нет, нужно скорей бежать прочь… прочь! Нужно… и все же… здесь, в чаще, он в безопасности! Надо взять себя в руки, не следует выходить на большую дорогу. Там прохожие. Там, может быть, люди, которые ищут его!.. Но верно ли, что человек живет и после смерти? Что существуют приведения? И они знают всю правду? Тогда она должна знать… но тогда они знает и о его прежних замыслах. Что она подумает! Может быть, это она сейчас с мрачным укором преследует его своими ошибочными обвинениями? Ошибочными – хоть и правда, что сперва он хотел ее убить. Он замышлял это! Замышлял! И это, конечно, великий грех. И хотя он и не убил ее, но что-то сделало это за него. Все это правда.

Но привидения!.. Боже, призраки тех, кто уже умер… они преследуют тебя, чтобы разоблачить и наказать… быть может, они стараются направить людей по твоему следу… как знать? Мать когда-то призналась ему, Фрэнку, Эсте и Джулии, что она верит в привидения.

И, наконец, луна (к этому времени уже три часа он шел вот так, спотыкаясь, прислушиваясь, выжидая, весь дрожа и обливаясь потом). Кругом, слава богу, никого! И высоко над головой звезды, яркие и ласковые, как над Сосновым мысом, где Сондра… Если бы она видела его сейчас, как он бежит от Роберты, погребенной в водах озера, на поверхности которого плавает его шляпа! Если бы она слышала крики Роберты! Странно… никогда, никогда, никогда он не сможет рассказать ей, что из-за нее – ее красоты, страсти к ней, из-за всего, что она для него значит, – он мог… мог… ну… *попытаться* совершить это ужасное дело – убить девушку, которую прежде любил. И всю жизнь его будет преследовать эта мысль. Никогда он не сможет от нее отделаться – никогда, никогда, никогда! Прежде он об этом не думал. А ведь это ужасно!

И вдруг во мраке, около одиннадцати часов, как он потом сообразил – от воды его часы остановились, – когда он уже выбрался на большую дорогу, ведущую «на запад, и прошел милю или две, из темной чащи внезапно, как призраки, вышли те трое! Сперва он подумал, что они видели его в тот миг, когда он ударил Роберту, или сразу после этого, и теперь пришли его схватить. Какая страшная минута! А мальчик поднял фонарь, чтобы лучше рассмотреть его лицо! И, несомненно, увидел на этом лице подозрительный испуг и смятение, ибо как раз в ту минуту Клайд был поглощен самым мрачным раздумьем о случившемся: его неотступно преследовала мысль, что он нечаянно оставил какую-нибудь улику, которая легко может его выдать. Он отпрянул, уверенный, что это люди, посланные его изловить. Но в эту минуту высокий тощий человек, шедший впереди, запросто окликнул, словно его только позабавила явная трусость Клайда: „Здорово, прохожий!“ – а мальчуган, не проявляя ни малейшего удивления, шагнул вперед и прибавил света в фонаре. И тут только Клайд понял, что это просто здешние крестьяне или проводники, а вовсе не отряд, посланный за ним в погоню, и, если он будет спокоен и вежлив, они никогда не заподозрят в нем убийцу.

Но потом он сказал себе: «А ведь они запомнят меня. Запомнят, что я шел по пустынной дороге в такой час с чемоданом…» И тут же решил, что должен спешить… спешить… и никому больше не попадаться на глаза.

А через несколько часов, когда луна уже заходила и от изжелта-бледного, болезненного света, разлитого в лесу, ночь стала еще тоскливее и тягостней, Клайд подошел к Бухте Третьей мили – селению, состоявшему из кучки убогих хижин и дачных коттеджей, лепившихся на северном отроге Индейских гор. С поворота дороги он увидел, что кое-где в окнах еще мерцают слабые огоньки. Лавки. Дома. Уличные фонари. Но в бледном свете луны они казались совсем тусклыми – тусклыми и призрачными. Ясно одно: в этот час, в таком костюме, с чемоданом в руке, ему нельзя появиться здесь. Своим видом он, несомненно, возбудит любопытство и подозрения, если его кто-нибудь заметит. Пароходик, который ходит между этим поселком и Шейроном (откуда Клайд должен был отправиться дальше, к Сосновому мысу), отойдет только в половине девятого, – значит, пока нужно скрыться где-нибудь и по возможности привести себя в приличный вид.

И Клайд вновь вошел в лес, подступавший к самой окраине поселка, думая там дождаться утра; оттуда он мог следить за часами на башне маленькой церквушки, чтобы знать, когда настанет время выйти. А пока он старался сообразить, благоразумно ли поступает. Вдруг кто-нибудь уже поджидает его здесь? Те трое… или, может быть, еще кто-нибудь, кто видел… Или извещенный кем-нибудь полицейский агент?.. И немного погодя он решил, что все же лучше спуститься в поселок. Стоит ли пробираться лесами по западному берегу озера… да еще ночью, потому что днем его могут увидеть… Ведь если сесть на этот пароходик, он через полтора часа, самое большее через два будет у Крэнстонов в Шейроне! А пешком он попадет туда только завтра – это глупо, это гораздо опаснее. И, кроме того, он обещал Сондре и Бертине приехать во вторник, а сегодня уже пятница. И притом завтра, может быть, уже поднимется шум, начнется погоня… во все концы сообщат его приметы… а сегодня утром… разве Роберту могли найти так быстро? Нет, нет. Это лучший путь. Кто здесь знает его, кто сможет установить, что он и есть Карл Грэхем или Клифорд Голден? Лучше всего поспешить, прежде чем станет известно что-либо о

Роберте. Да, так. И наконец, когда башенные часы показывали десять минут девятого, с сильно бьющимся сердцем он вышел из лесу.

Улица вела к пристани, откуда должен был отойти пароходик в Шейрон. Клайд медлил и вдруг увидел подъезжающий автобус с озера Рэкет. И ему подумалось, что, если на пристани или на палубе он столкнется с кем-нибудь из знакомых, можно будет сказать, что он только сейчас приехал с озера Рэкет, где у Сондры и Бертины много Друзей: а если он встретит одну из них, то скажет, что был на озере Рэкет третьего дня. Назовет любую фамилию или дачу, в крайнем случае вымышленную.

Итак, он направился к пароходу и взошел на палубу, а потом сошел в Шейроне и при этом, как ему казалось, не привлек к себе ничьего внимания. На пароходе было с десяток пассажиров, но ни одного знакомого, и никто из них, если не считать молодой девушки в голубом платье и белой соломенной шляпе, по-видимому, здешней жительницы, не обратил внимания на Клайда. А взгляд этой девушки выражал скорее восхищение. Впрочем, этого было достаточно, чтобы Клайд, старавшийся поменьше бросаться в глаза, ушел на корму, тогда как остальные предпочитали носовую часть палубы.

По прибытии в Шейрон, зная, что большинство пассажиров направится на железнодорожную станцию к первому утреннему поезду, он быстро пошел за всеми, но свернул в первое попавшееся кафе в надежде замести следы. Хотя он прошел пешком немалый путь от озера Большой Выпи, а перед тем полдня греб и, завтракая с Робертой, только притворялся, что ест, он даже теперь не был голоден. Потом, увидев кучу идущих со станции пассажиров – среди них не было никого знакомого, – он присоединился к ним, делая вид, что тоже направляется прямо с поезда к гостинице и на пристань. Это, наверно, пришел поезд с юга, из Олбани и Утики, подумал он, и, следовательно, покажется вполне правдоподобным, что он приехал с этим поездом. Он сделал вид, будто идет со станции, но По дороге, разыскав телефон, сообщил Бертине и Сондре о своем приезде и, услышав, что за ним пришлют не моторную лодку, а автомобиль, предупредил, что будет ждать на веранде гостиницы. По пути он купил утреннюю газету, хотя и понимал, что там еще не может быть, никаких сообщений о случившемся. Как только он дошел до гостиницы и сел на веранде, подъехал автомобиль Крэнстонов.

На приветствие и гостеприимную улыбку хорошо знакомого ему шофера Крэнстонов Клайд все-таки сумел ответить веселой и как будто непринужденной улыбкой, хотя в глубине души и сейчас терзался страхом. Несомненно, твердил он про себя, те трое, что встретились с ним в лесу, уже пришли на озеро Большой Выпи. А там теперь, конечно, уже хватились его и Роберты, и, может быть – кто знает, – уже обнаружены опрокинутая лодка, его шляпа, ее вуаль. И те трое, может быть, уже сообщили, что видели молодого человека с чемоданом, пробиравшегося ночью по направлению к югу. А если так, независимо от того, найдено ее тело или нет, могут возникнуть сомнения, действительно ли они оба утонули.

А что, если по какой-нибудь странной случайности тело Роберты уже всплыло на поверхность? Что тогда? Может быть, на лице у нее остались следы от удара – он ведь сильно ударил ее. Если так, станут подозревать, что тут убийство. И раз его тело не найдут, а эти люди опишут внешность повстречавшегося им мужчины, не сочтут ли убийцей Клифорда Голдена или Карла Грэхема?

Но Клифорд Голден или Карл Грэхем – не Клайд Грифитс. Разве можно установить, что Клайд Грифитс и Клифорд Голден или Карл Грэхем одно и то же лицо? Ведь он принял все меры предосторожности и, когда они были на Луговом озере, даже обыскал чемодан и сумочку Роберты, пока она по его просьбе выходила, чтобы позаботиться о завтраке. Правда, он нашел два письма от одной девушки, Терезы Баузер, адресованные Роберте в Бильц, но он их уничтожил еще перед отъездом на Ружейную. Туалетный прибор в футляре с клеймом «Уайтли, Ликург» пришлось оставить, но ведь миссис Голден или миссис Грэхем могла сама купить этот прибор в магазине Уайтли, такая вещь никак не может навести на его след. Разумеется, нет. Да, еще платья Роберты. Но даже если они помогут опознать ее, разве ее родители, как и все прочие, не подумают, что она отправилась в это путешествие с каким-то неизвестным человеком по фамилии Голден или Грэхем? Пожалуй, они предпочтут не предавать огласке эту историю. Так или иначе Клайд решил надеяться на лучшее, сохранять самообладание, держаться спокойно, бодро и весело, чтобы здесь никто не мог ни в чем его заподозрить, тем более что ведь, в сущности, он и не убивал Роберту!

И вот он едет в великолепном автомобиле. Сондра и Бертина его ждут. Придется сказать, что он приехал прямо из Олбани: ездил туда по поручению дяди, которое отняло у него все время, начиная со вторника. Он будет наслаждаться обществом Сондры, и все же ему придется всегда, все время думать об этих ужасах… Вдруг он совершил какую-нибудь оплошность, не сумел скрыть все следы, которые могут привести к нему… Что, если так? Разоблачение! Арест! Быть может, его второпях несправедливо осудят… даже покарают… если только он не сумеет объяснить, что это был нечаянный удар. Тогда конец всем его мечтам о Сондре… о Ликурге… надеждам на блестящее будущее. Но сумеет ли он объяснить? Сможет ли? О боже!

Глава 7

С утра пятницы до полудня следующего понедельника Клайда окружало все, что раньше так восхищало и радовало его, и все же он непрерывно терзался мучительнейшими страхами и опасениями. С той минуты, как Сондра и Бертина встретили его у входа на дачу Крэнстонов и проводили в отведенную для него комнату, он не переставая думал о контрасте между всеми здешними радостями и грозящей ему близкой и безвозвратной гибелью.

Едва он вошел, Сондра, надув губки, шепнула ему, так чтобы не могла услышать Бертина:

– Гадкий! Сидел там целую неделю, когда мог быть здесь. А Сондра для него все устроила! Надо бы вас хорошенько отшлепать. Я уже хотела звонить вам сегодня, чтобы узнать, где вы!

А глаза ее говорили, что она в него страстно влюблена.

И, несмотря на свои тревожные мысли, Клайд весело улыбнулся ей, потому что в ее присутствии все ужасы – и смерть Роберты и опасность, грозившая ему самому, – казалось, разом отошли на задний план. Только бы все сошло благополучно, только бы ничего его не выдало! Впереди широкая дорога! Великолепное будущее! Красавица Сондра! Ее любовь! Богатство! И, однако, пройдя в свою комнату, куда еще раньше доставили его чемодан, Клайд сразу стал нервничать из-за костюма. Ведь он мокрый и мятый, его необходимо спрятать, хотя бы в шкаф, на верхнюю полку. Как только Клайд остался один и запер дверь на ключ, он вынул костюм из чемодана – непросохший, измятый, с грязью берегов озера Большой Выпи на брюках – и тут же решил, что, пожалуй, лучше оставить его в запертом чемодане до ночи: тогда можно будет лучше обдумать, как с ним быть. Но все остальное, что было на нем в тот день, он связал в узелок, чтобы отдать в стирку. И, делая это, ясно, до ужаса, до тошноты сознавал всю таинственность, весь трагизм и пафос жизни… сколько он пережил после переезда в восточные штаты, как мало хорошего видел в юности! И как мало, в сущности, дано ему теперь. Какой контраст между этой просторной, роскошной комнатой и его комнаткой в Ликурге. Как странно, что он вообще здесь после вчерашнего… Голубые воды этого сверкающего озера за окном так непохожи на темные воды Большой Выпи!.. А на зеленой лужайке, расстилающейся от этого светлого, прочного и просторного дома с его широкой верандой и полосатыми маркизами до самого озера, Стюарт Финчли, Вайолет Тэйлор, Фрэнк Гарриэт и Вайнет Фэнт в шикарных спортивных костюмах играют в теннис, а Бертина и Харлей Бэгот отдыхают в тени навеса.

И вот Клайд, приняв ванну и переодевшись, делает веселое лицо, хотя нервы его по-прежнему натянуты и его терзают страхи, и, выйдя из дому, подходит к Сондре, Бэрчарду Тэйлору и Джил Трамбал: они хохочут над каким-то забавным приключением, которое произошло во время вчерашнего катанья на моторной лодке.

Джил встречает его веселым возгласом:

– Привет, Клайд! Где вы пропадали? Я вас, кажется, сто лет не видела.

А он, многозначительно улыбнувшись Сондре – никогда еще он так не жаждал ее понимания и любви, – подтянулся на руках, уселся на перилах веранды и ответил насколько мог спокойно:

– Со вторника работал в Олбани. Жарко там! Ужасно рад, что попал сюда сегодня. А кто здесь есть?

– Почти все, по-моему, – улыбнулась Джил. – Вчера у Рэнделов я встретила Ванду. А Скотт писал Бертине, что приедет в будущий вторник. Похоже, что на Лесном в этом году будет не очень-то много народу.

Тут начался долгий и оживленный спор: почему Лесное озеро теперь уже не то, что прежде. Вдруг Сондра воскликнула:

– Боже, я совсем забыла! Я должна сегодня позвонить Белле. Она обещала на будущей неделе поехать в Бристол на выставку лошадей.

Заговорили о лошадях и собаках. Клайд внимательно слушал, изо всех сил стараясь казаться таким, как все, но продолжая мучительно думать все о том же. Те трое встречных… Роберта… Может быть, ее тело уже нашли… А впрочем, уговаривал он себя, к чему столько страхов? Вряд ли можно найти ее на такой глубине – ведь там футов пятьдесят! И как могут узнать, что он и есть Клифорд Голден и Карл Грэхем? Как узнают? Ведь он же замел все следы… вот только те трое встречных… *те трое встречных*! Он невольно вздрогнул, словно в ознобе.

И Сондра почувствовала, что он чем-то угнетен. Еще в первый приезд Клайда она заметила, как скуден его гардероб, и теперь решила, что причина его плохого настроения – недостаток средств. Она непременно сегодня же возьмет семьдесят пять долларов из своих сбережений и заставит его принять их, пускай на этот раз, пока он здесь, его не смущают всякие неизбежные мелкие расходы. А через несколько минут, подумав, что небольшая партия в гольф дает массу удобных случаев для мимолетных объятий и поцелуев в укромном уголке, она вскочила с возгласом:

– Кто на партию в гольф? Джил, Клайд, Бэрч! Давайте сыграем вчетвером? Пари держу, что вам двоим не одолеть нас с Клайдом.

– Согласен! – воскликнул Бэрчард Тэйлор, вставая и оправляя свой желтый в синюю полоску свитер. – Хоть я и вернулся сегодня домой в четыре утра. А как вы, Джилли? Сонни, условие: проигравший угощает всех завтраком, согласны?

Клайд вздрогнул и похолодел, он подумал о жалких двадцати пяти долларах, которые остались у него после всех его ужасных приключений. А завтрак на четверых будет стоить в клубе долларов восемь или десять, не меньше! А может быть, и больше! Но тут Сондра, заметив его смущение, воскликнула: «Идет!» – и, подойдя ближе к Клайду, легонько стукнула кончиком туфли по его ботинку.

– Но мне надо переодеться. Это одна минута! А вы вот что, Клайд… вы пока найдите Эндрью и скажите, чтобы он принес палки для гольфа, ладно? Мы поедем в вашей лодке, правда, Бэрчи?

Клайд побежал искать Эндрью, раздумывая о том, сколько будет стоить завтрак, если они с Сондрой проиграют, но Сондра догнала его и схватила за руку:

– Подождите здесь, милый, я сию минуту вернусь!

Она бросилась по лестнице наверх, в свою комнату и тотчас вернулась, крепко сжимая в маленькой руке пачку кредиток.

– Вот, милый, скорее, – шепнула она и торопливо сунула деньги в карман его пиджака. – Шш… ни слова! Скорее! Это чтобы заплатить за завтрак, если мы проиграем, и для всяких прочих вещей… я скажу после. А как я люблю вас, мальчик мой маленький!

Секунду она с восхищением смотрела на него своими ласковыми карими глазами, потом снова взбежала по лестнице и уже сверху крикнула:

– Да не стойте вы тут, глупенький! Идите за палками! Быстро!

И она исчезла. А Клайд, потрогав карман, понял, что она дала ему очень много денег, – несомненно, хватит не только на все траты здесь, но и на бегство, если понадобится. «Дорогая! Милая девочка!» – воскликнул он про себя. Прелестная, нежная, щедрая Сондра! Она так любит его, по-настоящему любит. Но если она когда-нибудь узнает… О боже! И ведь все это ради нее… если бы только она знала! Все ради нее! Потом он отыскал Эндрью и вернулся к остальным, неся палки. И вот снова появилась Сондра. Она бежит к ним в модном зеленом вязаном спортивном костюме. Джил в шапочке и блузе, похожая на жокея, смеется и шутит с Бэрчардом, уже сидящим у руля моторной лодки. А Сондра на берегу кричит Бертине и Харлею Бэготу:

– Эй, друзья! Не хотите ли с нами?

– Куда?

– В гольф-клуб при «Казино»!

– Нет, слишком далеко. Увидимся после завтрака на пляже.

И Бэрчард сразу берет такую скорость, что лодка прыгает, как дельфин. А Клайд смотрит на все как во сне, то с блаженством и надеждой, то словно сквозь темное облако ужаса, – за этой тьмой, быть может, уже вплотную подкрались к нему арест и смерть!

Несмотря на все его прежние рассуждения, ему теперь стало казаться, что он сделал ошибку, когда, не скрываясь, вышел сегодня утром из лесу. И все же это было, пожалуй, самое лучшее, иначе ему пришлось бы сидеть в лесу целыми днями, а по ночам выбираться на дорогу, идущую вдоль берега, и по ней шагать до самого Шейрона. На это надо было потратить два или три дня. И тогда Сондра, удивленная и встревоженная его опозданием, могла позвонить в Ликург, пошли бы разговоры, расспросы о нем, которые впоследствии могли бы оказаться опасными…

Но здесь в этот сияющий день, кажется, нет и не может быть никаких забот, по крайней мере остальные так беспечны… а в глубине его души холодный мрак… И Сондра, в восторге от того, что Клайд с нею, вдруг вскакивает – в руке ее, точно вымпел, развевается яркий шарф – и восклицает с веселым озорством:

– Клеопатра плывет по морям навстречу… навстречу… да кого же она там встречала?

– Чарли Чаплина, – подсказал Тэйлор, заставляя лодку выделывать неистовые скачки, чтобы Сондра потеряла равновесие.

– Ну и глупо! – ответила Сондра, шире расставляя ноги, чтобы сохранить устойчивость.

– Нет, вы тоже не знаете, Бэрчи, – прибавила она. – Клеопатра мчится… м-м… знаю – на акваплане!

Она закинула голову назад и широко распростерла руки, а лодка все шарахалась то вправо, то влево, как перепуганная лошадь.

– Все равно вам не свалить меня, Бэрчи! Вот увидите! – крикнула Сондра, и Бэрчард, то и дело меняя курс, стал резко, насколько хватало смелости, бросать лодку из стороны в сторону, а Джил в испуге закричала:

– Что вы делаете? Хотите нас всех утопить?

Клайд вздрогнул и побледнел, словно громом пораженный. Он вдруг почувствовал тошноту и слабость. Он никак не думал, что придется так страдать и мучиться. Ему казалось, что все будет совсем по-другому. И вот он бледнеет от каждого случайного, нечаянного слова. Но что, если ему придется вынести серьезное испытание… если неожиданно нагрянет полицейский агент и спросит, где он был вчера и что знает о смерти Роберты… Ведь он начнет мямлить, дрожать, не сможет, пожалуй, выговорить ни слова и, конечно, выдаст себя! Нет, надо взять себя в руки, держаться просто и весело… Надо… по крайней мере в этот первый день.

К счастью, все были так веселы и возбуждены быстрой ездой, что, видимо, не заметили как ошеломил Клайда возглас Джил, и ему постепенно удалось вновь принять спокойный вид. А в это время лодка подходила к «Казино», и Сондра решила закончить поездку какой-нибудь эффектной выходкой: подпрыгнув, она ухватилась за перила пристани и подтянулась на руках, тогда как лодка проскользнула мимо и только после поворота причалила. И Клайда, которому при этом была послана сияющая улыбка, неудержимо потянуло к ней – к любящей, прелестной, великодушной, смелой Сондре, – и, чтобы быть достойным ее улыбки, он вскочил, помог Джил подняться по ступенькам пристани, а сам подтянулся на руках и вслед за Сондрой быстро взобрался наверх, стараясь казаться веселым и оживленным. Но это оживление было столь же фальшиво внутренне, как правдоподобно внешне.

– Здорово! Вы настоящий гимнаст!

И позже, на поле для игры в гольф, Клайд под руководством Сондры играл настолько успешно, насколько позволяли его неопытность и мучительное волнение. А она, в восторге от того, что они вместе, только вдвоем, и в ходе игры то и дело оказываются в тенистых уголках, где можно целоваться, стала рассказывать ему, что она, Стюарт, Фрэнк Гарриэт, Вайнет Фэнт, Бэрчард и Вайолет Тэйлор, Грэнт и Бертина Крэнстон, Харлей Бэгот, Перли Хейнс и Джил Трамбал собираются на экскурсию на целую неделю. Они двинутся в путь завтра днем – сначала тридцать миль по озеру на моторной лодке, дальше сорок миль автомобилем на восток, к так называемому Медвежьему озеру; там они разобьют палатки и постепенно объедут на байдарках его берега, – там есть всякие живописные уголки, известные только Харлею и Фрэнку. Каждый день на новом месте. Мальчики станут охотиться на белок и ловить рыбу на обед. А прогулки при лунном свете! И, говорят, там есть гостиница, до которой можно добраться на лодке. С ними поедут двое или трое слуг и приличия ради кто-нибудь из старших. А прогулки по лесу! И сколько удобных случаев для влюбленных – катанье на байдарке по озеру, долгие часы вдвоем! Они будут неразлучны целую неделю!

И хотя события последних дней могли бы заставить Клайда поколебаться, он все же невольно подумал: что бы ни случилось, не лучше ли поехать с ними? Как чудесно, что Сондра его так любит? Да и что ему делать иначе? Это позволит ему уехать отсюда… дальше от места этого… этого… несчастного случая. И если, допустим, кто-то будет искать кого-то похожего на него… что ж, его просто не будет в тех местах, где могли бы его видеть и толковать о нем… *Те трое встречных*.

Но тут же он сообразил, что ни в коем случае нельзя уезжать отсюда, не разузнав возможно точнее, не подозревают ли уже кого-нибудь. Поэтому после гольфа, оставшись на минутку один, он справился в киоске о газетах, но оказалось, что раньше семи или половины восьмого не будет ни газет из Утики и Олбани, ни местной вечерней. Значит, до тех пор он ничего не узнает.

После завтрака все купались, танцевали, потом Клайд вместе с Харлеем Бэготом и Бертиной вернулся на дачу Крэнстонов, а Сондра отправилась на Сосновый мыс, условившись позже встретиться с Клайдом у Гарриэтов. Но все это время Клайд напряженно думал, как бы ему при первом же удобном случае достать газеты. Если не удастся зайти сюда сегодня по дороге от Крэнстонов к Гарриэтам и раздобыть все газеты или хотя бы одну, то надо ухитриться попасть в это «Казино» завтра с утра, до отъезда на Медвежье озеро. Он должен получить газеты. Он должен знать, говорят ли что-нибудь – и что именно – об утонувшей паре и начались ли розыски.

По дороге Клайду не удалось купить газеты: их еще не доставили. И когда он пришел к Гарриэтам, там тоже еще не было ни одной газеты. Но через полчаса, когда он вместе со всеми сидел на веранде и весело разговаривал (впрочем, думая все о том же), появилась Сондра со словами:

– Внимание, друзья! Я вам сейчас кое-что расскажу! Не то вчера, не то сегодня утром на озере Большой Выпи перевернулась лодка и двое утонули. Мне это сейчас сказала по телефону Бланш Лок, она сегодня в Бухте Третьей мили. Она говорит, что девушку уже нашли, а ее спутника еще нет. Они утонули где-то в южной части озера.

Клайд мгновенно окаменел и стал бледен как полотно. Губы его казались бескровной полоской, и глаза, устремленные в одну точку, видели не то, что находилось перед ними, а берег далекого озера, высокие ели, темную воду, сомкнувшуюся над Робертой. Значит, ее уже нашли. Поверят ли теперь, как он рассчитывал, что его тело тоже там, на дне? Но надо слушать! Надо слушать, как ни кружится голова.

– Печально! – заметил Бэрчард Тэйлор, переставая бренчать на мандолине.

– Кто-нибудь знакомый?

– Бланш говорит, что она еще не слышала подробностей.

– Мне это озеро всегда не нравилось, – вставил Фрэнк Гарриэт. – Оно слишком пустынное. Прошлым летом мы с отцом и с мистером Рэнделом ловили там рыбу, но быстро уехали. Уж очень там мрачно.

– Мы были на этом озере недели три назад. Помните, Сондра? – прибавил Харлей Бэгот. – Вам там не понравилось.

– Да, помню, – ответила Сондра. – Ужасно пустынное место. Не представляю, кому и для чего хотелось туда поехать.

– Надеюсь, что это не кто-нибудь из знакомых, – в раздумье сказал Бэрчард. – Это надолго испортило бы все наши удовольствия.

Клайд бессознательно провел языком по сухим губам и судорожно глотнул: у него пересохло в горле.

– Наверно, ни в одной сегодняшней газете об этом еще ничего нет. Кто-нибудь видел газеты? – спросила Вайнет Фэнт, которая не слышала первых слов Сондры.

– Никаких газет нет, – заметил Бэрчард. – И все равно они еще ничего не могли сообщить. Ведь Сондре только что сказала про это по телефону Бланш Лок. Она сейчас в тех краях.

– Ах, верно.

«А все-таки, может быть, в шейронской вечерней газетке – как ее… „Бэннер“, что ли?.. – уже есть какие-нибудь сообщения? Если бы достать ее еще сегодня!» – подумал Клайд.

И тут другая мысль. Господи, только сейчас он впервые подумал об этом: его следы!.. вдруг они отпечатались там в грязи, на берегу? Он даже не обернулся, не посмотрел, так он спешил выбраться оттуда. А ведь они могли остаться. И тогда по ним пойдут… Пойдут за человеком, которого встретили те трое! За Клифордом Голденом! Его утренние странствия… Поездка в автомобиле Крэнстонов… И у них на даче его мокрый костюм! Что, если кто-нибудь в его отсутствие уже побывал в его комнате, все осмотрел, обыскал, всех расспросил… Может быть, открыл чемодан? Какой-нибудь полицейский! Господи! Этот костюм в чемодане! Почему он оставил его в чемодане и вообще при себе? Надо было еще раньше спрятать его… завернуть в него камень и закинуть в озеро хотя бы. Тогда он остался бы на дне. О чем он только думал, находясь в таком отчаянном положении? Воображал, что еще наденет этот костюм?

Клайд встал. Все в нем окоченело, застыло: и душа и тело. Глаза на мгновение остекленели. Надо уйти отсюда. Надо сейчас же вернуться туда и избавиться от этого костюма… забросить его в озеро… спрятать где-нибудь в лесу, за домом!.. Да, но нельзя же уйти так вдруг, сразу после этой болтовни об утонувшей паре. Как это будет выглядеть?

Нет, тотчас подумалось ему. Будь спокоен… старайся не проявить ни малейших признаков волнения… будь холоден… и попробуй сказать несколько ни к чему не обязывающих слов.

И вот, напрягая вся свою волю, он подошел к Сондре и вымолвил:

– Печально, правда?

Его голос звучал почти нормально, но мог в любую минуту сорваться и задрожать, как дрожали его колени и руки.

– Да, конечно, – ответила Сондра, оборачиваясь к нему. – Я ужасно не люблю, когда рассказывают о таких вещах, а вы? Мама вечно так беспокоится, когда мы со Стюартом болтаемся по этим озерам.

– Да, это понятно.

Голос его стал хриплым и непослушным. Он выговорил эти слова с трудом, глухо и невнятно. Губы его еще плотнее сжались в узкую бесцветную полоску, и лицо совсем побелело.

– Что с вами, Клайди? – вдруг спросила Сондра, посмотрев на него внимательнее. – Вы такой бледный! А глаза какие! Что случилось? Вам нездоровится сегодня или это виновато освещение?

Она окинула взглядом остальных, сравнивая, потом снова обернулась к Клайду. И, понимая, как важно ему выглядеть возможно естественнее, Клайд постарался хоть немного овладеть собой и ответил:

– Нет, ничего. Вероятно, это от освещения. Конечно, от освещения. У меня… у меня был тяжелый день вчера, вот и все. Пожалуй, мне не следовало приезжать сюда сегодня вечером. – И он через силу улыбнулся невероятной, невозможной улыбкой.

А Сондра, глядя на него с искренним сочувствием, шепнула:

– Мой Клайди-маленький так устал после вчерашней работы? Почему же мой мальчик не сказал мне этого утром, вместо того чтобы прыгать с нами весь день? Хотите, я скажу Фрэнку, чтобы он сейчас же отвез вас назад, к Крэнстонам? Или, может быть, вы подниметесь к нему в комнату и приляжете? Он и слова не скажет. Я спрошу его, ладно?

Она уже хотела заговорить с Фрэнком, но Клайд, смертельно испуганный ее последним предложением и в то же время готовый ухватиться за подходящий предлог, чтобы уйти, воскликнул искренне, но все же неуверенно:

– Нет, пожалуйста, не надо, дорогая! Я… я не хочу! Это все пройдет. Я подымусь наверх потом, если захочется, или, может быть, уеду пораньше домой, если вы тоже немного погодя уйдете, но только не сейчас. Я чувствую себя не так уж хорошо, но это пройдет.

Сондра, удивленная его неестественным и, как ей показалось, почти раздраженным тоном, сразу уступила.

– Ну, хорошо, милый. Как хотите. Но если вам нездоровится, лучше бы вы позволили мне позвать Фрэнка, чтобы он отвел вас в свою комнату. Он не будет в претензии. А немного погодя – примерно в половине одиннадцатого – я тоже распрощаюсь, и мы вместе доедем до Крэнстонов. Я отвезу вас туда, прежде чем ехать домой, а то кто-нибудь другой соберется уходить и захочет вас подвезти. Разве моему мальчику такой план не нравится?

И Клайд ответил:

– Хорошо, я только пойду чего-нибудь выпить.

И он забрался в одну из просторных ванных комнат дома Гарриэтов, запер дверь, сел и думал, думал… о том, что тело Роберты найдено, что на лице ее, может быть, остались синяки от удара, что следы его ног могли отпечататься на влажном песке и в грязи у берега… думал о мокром костюме на даче у Крэнстонов, о тех троих в лесу, о чемодане Роберты, о ее шляпке и пальто и о своей оставшейся на воде шляпе с выдранной подкладкой… и спрашивал себя, что делать дальше. Как поступить? Что сказать? Пойти сейчас к Сондре и убедить ее уехать немедленно или остаться и переживать новые муки? И что будет в завтрашних газетах? Что? Что? И если есть сообщения, судя по которым можно думать, что его в конце концов станут разыскивать, что заподозрят его причастность к этому происшествию, – благоразумно ли пускаться завтра в эту предполагаемую экскурсию? Может быть, умнее бежать подальше отсюда? У него теперь есть немного денег. Он может уехать в Нью-Йорк, в Бостон, в Новый Орлеан – там Ретерер… Но нет, только не туда, где его кто-либо знает!..

О боже, как глупы были до сих пор все его планы! Сколько промахов! Да и правильно ли он рассчитал с самого начала? Разве он представлял себе, например, что тело Роберты найдут на такой глубине? Но вот оно появилось – и так скоро, в первый же день, – чтобы свидетельствовать против него! И хотя он записался в гостиницах под чужими фамилиями, разве не могут его выследить благодаря указаниям тех трех встречных и девушки на пароходе? Надо думать, думать, думать! И надо выбраться отсюда поскорее, пока не случилось что-нибудь непоправимое из-за этого мокрого костюма.

Его разом охватила еще большая слабость и ужас, и он решил вернуться к Сондре и сказать, что он и вправду чувствует себя совсем больным и, если она не возражает и может это устроить, предпочел бы поехать с нею домой. Поэтому в половине одиннадцатого, задолго до конца вечеринки, Сондра заявила Бэрчарду, что она чувствует себя не совсем хорошо и просит отвезти ее, Клайда и Джил домой; но завтра они все встретятся, как условлено, чтобы ехать на Медвежье озеро.

С тревогой думая, что, может быть, и этот его ранний уход – еще одна злосчастная ошибка из числа тех, которыми до сих пор был отмечен, кажется, каждый его шаг на этом отчаянном и роковом пути, Клайд сел наконец в моторную лодку и мгновенно был доставлен на дачу Крэнстонов. Сойдя на берег, он возможно более непринужденным тоном извинился перед Бэрчардом и Сондрой, и, бросившись в свою комнату, обнаружил, что костюм лежит, как и лежал, на прежнем месте – незаметно было, чтобы кто-либо нарушал без Клайда спокойствие его комнаты. Все же он поспешно и боязливо вынул костюм, завязал в узелок, прислушался и, дождавшись минутного затишья, когда можно было проскользнуть незамеченным, вышел из дому, словно желая немного прогуляться перед сном. Отойдя по берегу озера примерно на четверть мили от дома, он отыскал тяжелый камень, привязал к нему костюм и, размахнувшись, изо всей силы швырнул далеко в воду. Потом так же тихо, мрачный и беспокойный, возвратился к себе и снова сумрачно и тревожно думал, думал… о том, что принесет ему завтрашний день и что он скажет, если явится кто-нибудь, чтобы его допросить.

Глава 8

После почти бессонной ночи, истерзавшей Клайда мучительными снами (Роберта, люди, явившиеся его арестовать, и прочее в том же роде), настало утро. Наконец он поднялся; у него болел каждый нерв, болели глаза. Часом позже он решился сойти вниз, увидел Фредерика (шофера, который накануне привез его сюда), выезжающего на одном из автомобилей, и поручил ему достать все утренние газеты, выходящие в Олбани и Утике. И около половины десятого, когда шофер вернулся, Клайд прошел с газетами к себе, запер дверь и, развернув одну из них, сразу увидел ошеломляющий заголовок.

ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ ДЕВУШКИ.

ТЕЛО НАЙДЕНО ВЧЕРА В ОДНОМ ИЗ АДИРОНДАКСКИХ ОЗЕР.

ТЕЛО СПУТНИКА НЕ ОБНАРУЖЕНО.

Весь побелев от волнения, Клайд опустился на стул у окна и начал читать:

«Бриджбург (штат Нью-Йорк), 9 июля. Вчера около полудня в южной части озера Большой Выпи было извлечено из воды тело неизвестной молодой женщины, как предполагают, жены молодого человека, который записался в среду утром в гостинице на Луговом озере как „Карл Грэхем с женой“, а в четверг в гостинице на озере Большой Выпи как „Клифорд Голден с женой“. В так называемой Лунной бухте обнаружены перевернутая лодка и мужская соломенная шляпа. Ввиду этого там весь день производились поиски при помощи багров и сетей. Однако до семи часов вечера тело мужчины не было найдено, и, как полагает следователь Хейт из Бриджбурга, вызванный к двум часам на место катастрофы, оно вообще вряд ли может быть найдено. Ссадины и кровоподтеки на голове и лице погибшей, а также показания трех человек, прибывших на место происшествия, когда поиски все еще продолжались, и заявивших, что прошлой ночью в лесу южнее озера они встретили молодого человека, похожего по описанию на Голдена или Грэхема, заставляют многих предполагать, что тут имело место убийство и что убийца пытается скрыться.

Коричневый кожаный чемодан погибшей был сдан на хранение на железнодорожной станции Ружейной (пять миль к востоку от озера Большой Выпи), а шляпа и пальто оставлены в гостинице на озере Большой Выпи, тогда как свой чемодан Грэхем или Голден, как говорят, взял с собой в лодку.

Хозяин гостиницы на озере Большой Выпи сообщил, что эта пара записалась по приезде как Клифорд Голден с женой из Олбани. В гостинице они пробыли всего несколько минут; затем Голден пошел на лодочную станцию, находящуюся рядом с гостиницей, нанял маленькую лодку и, захватив свой чемодан, отправился вместе со спутницей кататься по озеру. Они не вернулись, а вчера утром лодка, опрокинутая вверх дном, была найдена в небольшом заливе в южной части озера, так называемой Лунной бухте; здесь же вскоре был разыскан и труп молодой женщины. Поскольку в этой части озера нет подводных камней, а на лице погибшей ясно видны следы ушибов, сразу возникло подозрение, что спутник ее чем-то ударил. Все это вместе с показаниями упомянутых трех человек и тем обстоятельством, что у мужской соломенной шляпы, найденной

вблизи лодки, вырвана подкладка и нет никакой метки, по которой можно было бы опознать ее владельца, дает мистеру Хейту основания заявить, что, если труп молодого человека не будет найден, тут следует предположить убийство.

Голден или Грэхем, как его описывают хозяева и постояльцы гостиниц и проводники на озерах Луговом и Большой Выпи, не старше двадцати четырех – двадцати пяти лет, строен, смугл, ростом не выше пяти футов и восьми или девяти дюймов. Он был в светло-сером костюме, коричневых ботинках и соломенной шляпе и нес коричневый чемодан, к которому был привязан зонтик и еще какой-то предмет, возможно, трость.

Шляпа, оставленная молодой женщиной в гостинице, темно-коричневая, пальто светло-коричневое, платье темно-синее.

По всем окрестным железнодорожным станциям разослано извещение о розысках Голдена или Грэхема, чтобы его могли задержать, если он жив и пытается скрыться. Тело утонувшей будет перевезено в Бриджбург, главный город округа, где в дальнейшем будет вестись следствие».

Клайд сидел, немой и похолодевший, и думал. Известие о столь подлом убийстве (таким оно должно показаться), да еще совершенном совсем поблизости, наверно, вызовет такое возбуждение, что многие, даже все вокруг станут теперь усиленно разглядывать каждого встречного и приезжего в надежде обнаружить преступника, чьи приметы сообщены в газетах. Но раз они уже почти напали на его след, не лучше ли обратиться к властям здесь или на Большой Выпи и откровенно рассказать обо всем: о своем первоначальном плане и о причинах, которые к этому привели, и объяснить, что в конце концов он все же не убил Роберту, так как в последнюю минуту в душе его произошел переворот и он был не в состоянии исполнить то, что задумал… Но нет! Это значило бы открыть Сондре и Грифитсам всю историю своих отношений с Робертой, еще прежде чем он окончательно убедился, что для него здесь действительно все кончено. Да притом поверят ли ему теперь, после его бегства, после этого сообщения о следах удара на лице Роберты? Ведь и вправду все выглядит так, будто он убил ее, сколько бы он ни старался объяснить, что он этого не делал.

С другой стороны, кто-нибудь из тех, кто ему повстречался, может узнать его по приметам, опубликованным в газетах, хотя он уже не в сером костюме и не в соломенной шляпе. Его ищут, – вернее, не его, а Клифорда Голдена или Карла Грэхема, который на него похож, – ищут, чтобы обвинить в убийстве! Но ведь он в точности похож на Голдена, – и вдруг явятся те трое! Клайда охватила дрожь. Хуже того, новая страшная мысль (в эту минуту она впервые, как молния, вспыхнула в его мозгу): инициалы Голдена и Грэхема те же, что и его собственные. Раньше он вовсе не замечал в них ничего плохого, но теперь понял, что они могут его погубить. Почему же он прежде ни разу об этом не подумал? Почему? Почему? О боже!

И как раз в это время Сондра вызвала его по телефону. Ему сказали, что это она. И все же он должен был сделать над собой усилие, чтобы хоть голос его звучал естественно.

Как сегодня с утра чувствует себя ее мальчик? Ему лучше? Что за ужасная болезнь вдруг напала на него вчера? А сейчас он чувствует себя совсем хорошо, это правда? И сможет отправиться с ними в путешествие? Вот это великолепно! Она так испугалась, она всю ночь беспокоилась, что он будет совсем болен и не сможет поехать. Но он едет – значит, теперь опять все хорошо. Милый! Дорогой мальчик! Мальчик любит ее? Очень? Она просто убеждена, что эта поездка будет ему очень полезна. Все утро она будет ужасно занята разными приготовлениями, но в час или в половине второго вся компания должна собраться на пристани «Казино». И тогда – о, тогда! До чего там будет великолепно! Он должен явиться с Бертиной, Грэнтом и прочими, кто там едет от Крэнстонов, а на пристани он перейдет в моторную лодку Стюарта. Им наверняка будет очень весело, страшно весело, но сейчас ей некогда! До свиданья, до свиданья!

И она исчезла, словно яркая птичка.

Значит, нужно ждать: только через три часа он сможет уехать отсюда и избегнет таким образом опасности столкнуться с кем-нибудь, кто может разыскивать Клифорда Голдена или Карла Грэхема! Пройтись пока по берегу, уйти в лес? Или уложить чемодан, сесть внизу и следить за всяким, кто приближается по длинной извилистой дороге, ведущей от шоссе к даче, либо в лодке по озеру? Ведь если появится кто-нибудь слишком подозрительный, еще можно будет убежать…

Так он и сделал: сначала пошел в лес, то и дело оглядываясь, как затравленный зверь; потом вернулся на дачу, но и здесь, сидя или расхаживая взад и вперед, все время настороженно следил за тем, что происходит вокруг. (Что это за человек? Что там за лодка? Куда она направляется? Не сюда ли случайно? Кто в ней? Что, если полицейский… сыщик? Тогда, конечно, бежать… если еще есть время.) Но вот наконец прошли эти три часа, и Клайд вместе с Бертиной, Грэнтом, Харлеем и Вайнет отправился на моторной лодке Крэнстонов к пристани у «Казино». Там к ним присоединились еще участники поездки вместе со слугами. А на тридцать миль севернее, в Рыбачьем заливе на восточном берегу, их встретили автомобили Гарриэтов, Бэготов и других и вместе со всеми припасами и байдарками отвезли на сорок миль к востоку, к Медвежьему озеру, почти такому же своеобразному и пустынному, как озеро Большой Выпи.

Какой радостью была бы для него эта поездка, если бы то, другое, не нависло над ним! Какое наслаждение быть подле Сондры, когда ее глаза непрестанно говорят о том, как она его любит! Она так весела и оживлена оттого, что он с нею. И все же тело Роберты найдено! Идут поиски Клифорда Голдена – Карла Грэхема. Его приметы сообщены повсюду по телеграфу и через газеты. Вся эта компания в лодках и автомобилях, вероятно, уже знает их. Но все они хорошо знакомы с ним, всем известны его отношения с Сондрой и Грифитсами, и поэтому никто его не подозревает, никто даже и не думает об этих приметах. А если бы подумали! Если бы догадались! Ужас! Бегство! Разоблачение! Полиция! Все эти девушки и молодые люди первыми отвернутся от него – все, кроме Сондры, может быть. Нет, и она тоже. Конечно, и она отвернется… Да еще с таким ужасом во взгляде…

В тот же вечер, на закате, вся компания расположилась на западном берегу Медвежьего озера, на открытой лужайке, ровной и гладкой, как хорошо подстриженный газон; пять разноцветных палаток окружали костер наподобие индейской деревни; палатки поваров и слуг стояли поодаль; полдюжины байдарок лежали на поросшем травою берегу, как вытащенные из воды пестрые рыбы. Потом ужин у костра. После ужина Бэгот, Гарриэт, Стюарт и Грэнт стали напевать модные песенки, пока остальные танцевали, а потом уселись играть в покер при ярком свете большой керосиновой лампы. А все остальные запели бесшабашные лагерные и студенческие песни; Клайд не знал ни одной из них, но пробовал подтягивать. И взрывы смеха. И пари: кто выудит первую рыбу, подстрелит первую белку или куропатку, выйдет победителем на первых гонках. И, наконец, торжественно обсуждаемые планы: завтра после завтрака перенести лагерь по крайней мере еще миль на десять восточнее – там идеальный пляж, а в пяти милях гостиница «Метисская», где они смогут пообедать и танцевать до упаду.

И потом тишина и красота этого лагеря ночью, когда предполагается, что все уже спят. Звезды! Загадочные темные воды покрыты едва заметной рябью, загадочные темные ели перешептываются под дуновением ветерка, крики сов и еще каких-то ночных птиц… Все слишком тревожит Клайда, и он прислушивается к ночи с глубокой тоской. Как все было бы чудесно, изумительно, если бы… Если бы не преследовал его, как выходец из гроба, этот ужас, – не только то, что он совершил над Робертой, но и грозное могущество закона, который считает его убийцей… А когда все улеглись в постель или скрылись во тьме, Сондра выскользнула из палатки, чтобы обменяться с ним несколькими словами и поцелуями в мерцании звезд. И он шепчет ей, как он счастлив, как благодарен ей за всю ее любовь и доверие,

– и почти готов спросить: если она когда-нибудь узнает, что он совсем не такой хороший, как ей сейчас кажется, будет ли она все-таки любить его немножко, не возненавидит ли его… Но он сдержался, опасаясь, как бы Сондра не связала его теперешнее настроение со вчерашним (ведь накануне вечером его явно охватил приступ паники!) и не разгадала как-нибудь страшной, гибельной тайны, которая гложет его сердце.

А после он лежит на своей койке в одной палатке с Бэготом, Гарриэтом и Грэнтом и часами беспокойно прислушивается ко всякому шуму снаружи: не слышно ли крадущихся шагов, которые могут означать… могут означать… боже, чего только не означали бы они для него даже здесь? – правосудие! арест! разоблачение! И смерть. Дважды в эту ночь он просыпался от ужасных, убийственных снов – и ему казалось (и это было страшно), что он кричал во сне.

И потом снова сияние утра, желтый шар солнца поднимается над озером, у противоположного берега плещутся в заливе дикие утки. Чуть позже Грэнт, Стюарт и Харлей, полуодетые, захватив ружья, с видом заправских охотников отплывают на байдарках в надежде подстрелить издали парочку уток, но возвращаются ни с чем, вызывая шумное веселье остальных. И юноши и девушки в шелковых халатах, накинутых на яркие купальные костюмы, выбегают на берег и весело, с шумом и криками бросаются в воду. А в девять часов завтрак, после которого веселая, пестрая флотилия байдарок отплывает на восток под звуки гитар, мандолин и банджо… Пение, шутки, смех.

– Что опять с моим малюсеньким? Он такой хмурый. Разве ему не весело здесь с его Сондрой и с этими славными ребятками?

И Клайд разом спохватился: он должен притворяться веселым и беззаботным.

А к полудню Харлей Бэгот, Грэнт и Гарриэт объявляют, что впереди, совсем близко, тот замечательный берег, до которого они и задумали добраться, – мыс Рамсхорн; с его вершины открывается вид на озеро во всю его ширь, а внизу, на берегу, вдоволь места для палаток и всего снаряжения экспедиции. И весь этот жаркий, отрадный воскресный день заполнен по обычной программе: завтрак, купанье, танцы, прогулки, игра в карты, музыка. И Клайд и Сондра – Сондра с мандолиной, – подобно другим парочкам, ускользают далеко на восток от лагеря, к укрывшейся в зарослях скале. Они лежат в тени елей – Сондра в объятиях Клайда – и строят планы на будущее, хотя, как сообщает Сондра, миссис Финчли заявила, что в дальнейшем ее дочь не должна поддерживать с Клайдом столь близкого знакомства, которому благоприятствует, например, обстановка этой экскурсии. Он слишком беден, слишком незначителен, этот родственник Грифитсов. Таков был смысл наставлений матери – Сондра, пересказывая их Клайду, смягчила выражения и тут же прибавила:

– Это просто смешно, милый! Но вы не принимайте все это близко к сердцу. Я только смеялась и ничего не возражала, потому что не хочу ее сейчас сердить. Но все-таки я спросила, как же мне избежать встреч с вами, здесь да и в других местах, ведь вы теперь всеобщий любимец и вас все приглашают. Мой милый – такой красавчик! Все так думают, даже мальчики.

А в этот самый час на веранде гостиницы «Серебряная в Шейроне прокурор Мейсон, его помощник Бэртон Бэрлей, следователь Хейт, Эрл Ньюком и грозный шериф Слэк (человек толстый и хмурый, хотя в обществе обычно довольно веселый) со своими тремя помощниками – Краутом, Сисселом и Суэнком – совещались, стараясь избрать самый лучший и верный способ немедленной поимки преступника.

– Он поехал на Медвежье озеро. Надо двинуться следом и захватить его, пока до него еще не дошел слух, что его ищут.

И они отправились. Бэрлей и Эрл Ньюком обошли весь Шейрон, стараясь собрать всевозможные дополнительные сведения о приезде Клайда сюда и отъезде его в пятницу на дачу Крэнстонов; они разговаривали с каждым, кто мог своими показаниями пролить хоть какой-то свет на передвижения Клайда, и вручили этим людям судебные повестки Хейт отправился в Бухту Третьей мили с таким же поручением: допросить Муни, капитана «Лебедя», и трех человек, встретивших Клайда в лесу, а Мейсон с шерифом и его помощниками на быстроходном катере, зафрахтованном для этого случая, двинулся вдогонку за недавно выехавшей на экскурсию компанией молодежи: сперва в Рыбачий залив, чтобы оттуда, если след окажется верным, отправиться на Медвежье озеро.

И в понедельник утром, когда молодежь снялась со стоянки у мыса Рамсхорн и двинулась к Шелтер-Бичу (в четырнадцати милях к востоку), Мейсон вместе со Слэком и его тремя помощниками явился на то место, откуда лагерь снялся накануне. Здесь шериф и Мейсон посовещались и разделили свой отряд на три части: раздобыв у местных жителей байдарки, Мейсон и первый помощник шерифа Краут поплыли вдоль южного берега, Слэк и второй помощник Сиссел – вдоль северного, а молодой Суэнк, который чуть ли не больше всех жаждал схватить преступника и надеть на него наручники, отправился на своей байдарке прямиком через озеро на восток, разыгрывая роль одинокого охотника или рыбака и зорко присматриваясь, нет ли где-нибудь на берегу предательского дыма костра, или палаток, или праздных, отдыхающих людей. В мечтах он уже изловил преступника: «Именем закона, Клайд Грифитс, вы арестованы!» – но, к его большому огорчению, Мейсон и Слэк назначили его передовым разведчиком. Поэтому, обнаружив что-либо подозрительное, он должен был, чтобы не спугнуть и не упустить добычу, тотчас повернуть назад и, забравшись куда-нибудь подальше, откуда его не сможет услышать преступник, один-единственный раз выстрелить из своего восьмизарядного револьвера. Тогда то звено отряда, которое окажется ближе, даст один ответный выстрел и возможно быстрее направится к нему. Но ни при каких обстоятельствах Суэнк не должен пробовать самостоятельно захватить преступника, разве только если увидит, что подозрительная личность, отвечающая приметам Клайда, пешком или на лодке пытается скрыться.

В этот час Клайд, сидя в одной байдарке с Харлеем, Бэготом, Бертиной и Сондрой, медленно плыл на восток со всей флотилией. Он оглядывался назад и снова и снова спрашивал себя: что, если какой-нибудь представитель власти уже прибыл в Шейрон и последовал за ним сюда? Разве трудно будет выяснить, куда он уехал, если только они знают его имя?

Но ведь они не знают его имени. Это доказывают сообщения в газетах. Зачем непрестанно тревожиться – особенно теперь, во время этого удивительного путешествия, когда они с Сондрой наконец снова вместе? И, кроме того, разве не может он незаметно уйти этими почти безлюдными лесами вдоль берега на восток, к той гостинице на противоположном конце озера, и не вернуться? Еще в субботу вечером он мимоходом спрашивал Харлея Бэгота и других, нет ли какой-нибудь дороги на юг или на восток от восточного берега озера, и ему ответили, что есть.

Наконец в понедельник около полудня флотилия подплыла к Шелтер-Бичу – намеченному заранее живописному месту стоянки. Клайд помогал разбивать палатки, девушки резвились вокруг.

А в этот час молодой агент Суэнк, заметив пепел костров, оставшийся на месте лагеря в Рамсхорне, нетерпеливо и азартно, точно охотящийся зверь, подплыл к берегу, осмотрел следы стоянки и быстро погнал свою лодочку дальше. Еще часом позже Мейсон и Краут, ведя разведку, тоже дошли до этого места; однако им довольно было беглого взгляда, чтобы убедиться: дичь уже улизнула.

Но Суэнк налег на весла и к четырем часам доплыл до Шелтер-Бича. Издали заметив в воде человек шесть купающихся, он тотчас повернул обратно, чтобы подать условный сигнал. Отъехав назад мили на две, он выстрелил. В ответ послышалось два выстрела: Мейсон и шериф Слэк услышали сигнал, и теперь обе партии быстро плыли на восток.

Клайд, плывший рядом с Сондрой, услышал выстрелы и сразу встревожился. Как зловеще прозвучал этот первый выстрел! И за ним еще два – они раздались где-то вдалеке, но, как видно, в ответ на первый. И потом зловещая тишина. Что же это было? А тут еще Харлей Бэгот сострил:

– Слышите, палят? Теперь не охотничий сезон! Это браконьеры!

– Эй, вы! – закричал Грэнт Крэнстон. – Это мои утки! Не трогайте их!

– Если они стреляют вроде тебя, Грэнти, так они их не тронут, – ввернула Бертина.

Силясь улыбнуться, Клайд смотрел в ту сторону, откуда донесся выстрел, и прислушивался, как загнанное животное.

Что за сила побуждает его выйти из воды, одеться и бежать? Спеши! Спеши! К палатке! В лес! Скорее! Под конец он внял этому голосу и, улучив минуту, когда на него не смотрели, торопливо прошел в свою палатку, переоделся в простой синий костюм, взял кепку и скользнул в лес позади лагеря, чтобы вдали от чужих глаз и ушей все обдумать и решить. Он держался все время подальше от берега, чтобы его нельзя было увидеть с озера, из страха… из страха… кто знает, что означали эти выстрелы?

Но Сондра! Ее слова в субботу, и вчера, и сегодня… Можно ли вот так оставить ее, раз он не вполне уверен, что ему грозит опасность? Можно ли? А ее поцелуи! Ее ласковые уверения, ее планы на будущее! Что подумает она

– да и все, – если он не вернется? О его исчезновении, конечно, заговорят шейронские и другие окрестные газеты и, конечно, установят, что он и есть Клифорд Голден и Карл Грэхем, – разве не так?

И потом, рассуждал он, может быть, его страхи напрасны, может быть, это стреляли всего лишь какие-нибудь заезжие охотники на озере или в лесу? И он медлил и спорил сам с собой: бежать или оставаться? А каким спокойствием дышат высокие, могучие деревья, как неслышны шаги по мягкому ковру коричневой хвои, устилающей землю, а в густой чаще кустарника можно спрятаться и лежать, пока вновь не наступит ночь! И тогда – вперед, вперед… И все-таки он повернул назад, к лагерю, чтобы узнать, не побывал ли там кто-нибудь посторонний (он скажет, что пошел пройтись и заблудился в лесу).

Примерно в это же время, укрывшись среди деревьев в двух милях западнее лагеря, сошлись, все вместе и совещались Мейсон, Слэк и остальные. А затем, покуда Клайд мешкал и даже направился было снова к лагерю, Мейсон и Суэнк подплыли в байдарке к молодежи на берегу, и Мейсон осведомился, нет ли здесь мистера Клайда Грифитса и нельзя ли его видеть.

И Харлей Бэгот, который оказался ближе всех, ответил:

– Да, конечно. Он где-нибудь тут, недалеко.

А Стюарт Финчли окликнул:

– Ау, Грифитс!

Но ответа не было.

Клайд был довольно далеко от берега и не мог слышать этого крика, но он все же возвращался к лагерю, правда, медленно и осторожно. А Мейсон, сделав вывод, что он где-то неподалеку и, конечно, ничего не подозревает, решил несколько минут подождать. Все же он поручил Суэнку пойти в глубь леса, – если он случайно встретит там Слэка или еще кого-нибудь из разведчиков, пусть скажет, чтобы одного человека направили вдоль восточного берега, другого – вдоль западного; сам же Суэнк должен на лодке отправиться к гостинице в восточной части озера, – пусть оттуда оповестят всех, что в этой местности находится человек, подозреваемый в убийстве.

А Клайд был в это время в каких-нибудь трех четвертях мили к востоку от них, и что-то все еще подсказывало ему: «Беги, беги, не медли!» – и все-таки он медлил и думал: «Сондра! Эта чудесная жизнь! Неужели так и уйти?» Нет, говорил он себе, пожалуй, будет еще большей ошибкой уйти, чем остаться. А вдруг эти выстрелы ничего не значили, – просто охотники стреляли по дичи, – и из-за этого все потерять? И все-таки наконец он снова повернул, рассудив, что, пожалуй, лучше возвратиться не сейчас, во всяком случае, не раньше темноты: надо выждать, посмотреть, что означали эти странные выстрелы.

И снова он остановился, нерешительно прислушиваясь: щебетали лесные пичуги. Он тревожно осматривался, вглядываясь в чащу.

И вдруг не дальше чем в пятидесяти шагах от него из длинных коридоров, образованных высокими деревьями, навстречу ему бесшумно и быстро вышел рослый, сухощавый человек с бакенбардами и зоркими, проницательными глазами – типичный лесной житель; на нем была коричневая фетровая шляпа, выгоревший, неопределенного цвета мешковатый костюм, свободно висевший на его поджаром теле. И так же внезапно он крикнул (при этом окрике Клайд весь похолодел от страха и остановился как вкопанный):

– Одну минуту, сударь! Ни с места! Ваше имя случаем не Клайд Грифитс?

И Клайд, увидев острый, настойчивый и пытливый взгляд незнакомца и револьвер в его руке, остановился; поведение этого человека было столь решительным и недвусмысленным, что холод пронизал Клайда до мозга костей. Неужели он пойман? Неужели за ним и вправду явились представители закона? Господи! Никакой надежды на бегство! Почему он не ушел раньше, почему? Он сразу обессилел и одно мгновение колебался, не ответить ли «нет», чтобы не выдать себя, но, одумавшись, сказал:

– Да, это я.

– Вы ведь из компании, которая расположилась тут лагерем?

– Да, сэр.

– Отлично, мистер Грифитс. Извините за револьвер. Мне приказано задержать вас при любых условиях, вот в чем дело. Меня зовут Краут, Николас Краут. Я помощник шерифа округа Катараки, и у меня имеется ордер на ваш арест. Надо полагать, вы знаете, в чем дело, и спокойно последуете за мной?

И Краут еще крепче сжал свое тяжелое, грозное на вид оружие и настойчиво и решительно посмотрел на Клайда.

– Но… Но… нет, я не знаю! – бессильно ответил Клайд; но разом побледнел и осунулся. – Разумеется, если у вас есть ордер на арест, я последую за вами. Но я… я не понимаю, – его голос слегка задрожал, – почему вы хотите меня арестовать?

– Вон что, не понимаете? А вы случаем не были на озере Большой Выпи или на Луговом в среду или в четверг? А?

– Нет, сэр, не был, – солгал Клайд.

– И вам, видно, ничего не известно про то, что там утонула девушка, с которой, по-видимому, были вы, – Роберта Олден из Бильца?

– Господи, да нет же! – нервно и отрывисто возразил Клайд: настоящее имя Роберты и ее адрес в устах совершенно чужого человека… это его потрясло. Значит, они узнали! И так быстро! Они нашли ключ. Его настоящее имя и ее тоже! Господи! – Так меня подозревают в убийстве? – прибавил он слабым голосом, почти шепотом.

– А вам неизвестно, что она утонула в прошлый четверг? Разве вы не были с нею в это время?

Краут не отрывал от него жестких, пытливых, недоверчивых глаз.

– Нет, конечно, не был, – ответил Клайд, помня только одно: он должен все отрицать, пока не придумает, что еще говорить и как действовать.

– И вы не встречали троих прохожих в четверг вечером, часов в одиннадцать, когда шли от озера Большой Выпи к Бухте Третьей мили?

– Нет, сэр, конечно, не встречал… Я же сказал вам, что я там не был.

– Прекрасно, мистер Грифитс, мне больше нечего вам сказать. От меня требуется только одно – арестовать вас, Клайда Грифитса, по подозрению в убийстве Роберты Олден. Следуйте за мной.

Главным образом для того, чтобы продемонстрировать свою силу и власть, он вынул пару стальных наручников; при виде их Клайд отшатнулся и задрожал, словно его ударили.

– Вам незачем надевать их на меня, сэр, – сказал он умоляюще. – Пожалуйста, не надо. Мне никогда не приходилось их надевать. Я и без того пойду с вами.

Он тоскливо, с сожалением посмотрел в глубь леса, в спасительную чащу, где еще так недавно мог бы укрыться… Там была безопасность.

– Ну что ж, – ответил грозный мистер Краут, – это можно, если вы пойдете спокойно.

И он взял Клайда за безжизненную руку.

– Можно мне попросить вас еще об одном? – тихо и робко сказал Клайд, когда они двинулись в путь (мысль о Сондре и обо всех остальных ослепила его и отняла последние силы. Сондра! Сондра! Вернуться туда к ним арестантом, убийцей! Чтобы его увидели таким Сондра и Бертина! Нет, нет!). Вы… вы намерены отвести меня обратно в лагерь?

– Да, сэр. Мне так приказано. Там сейчас прокурор и шериф округа Катараки.

– О, понимаю, понимаю! – истерически воскликнул Клайд, потеряв почти все свое самообладание. – Но вы… вы не могли бы… ведь я иду совсем спокойно… понимаете, там все мои друзья, и это будет ужасно!.. вы не можете провести меня как-нибудь мимо лагеря… куда хотите! У меня есть особые причины… то есть… я… о боже! Очень прошу вас, мистер Краут, не ведите меня назад, в лагерь!

Он показался теперь Крауту очень слабым и почти мальчиком… тонкое лицо, вроде бы невинный взгляд, хороший костюм и хорошие манеры… ничуть не похож на грубого, дикого убийцу, какого ожидал встретить Краут. Явно человек того класса, к которому он, Краут, привык относиться с уважением. И в конце концов у этого юноши может оказаться могущественная родня. Из всего, что до сих пор слышал Краут, он ясно понял: этот молодой человек принадлежит к одной из лучших семей Ликурга. И потому Краут решил быть по возможности любезным.

– Ладно, молодой человек, – сказал он, – я не хочу поступать с вами чересчур сурово. В конце концов я не шериф и не прокурор, я обязан только арестовать вас. И без меня есть люди, которые скажут, как с вами быть. Вот мы дойдем до них, и вы попросите, может быть, они скажут, что не обязательно вести вас обратно в лагерь. Только вот как с вашими вещами? Они, верно, остались там?

– Да, но это неважно, – торопливо ответил Клайд. – Их можно будет взять в любое время. Просто я не хотел бы сейчас идти туда, если только можно…

– Ладно, пошли, – ответил мистер Краут.

И вот они молча идут среди высоких деревьев, стволы которых в сумерках возвышаются торжественно, словно колонны храма, – они идут, как молящиеся по нефу собора, и Клайд беспокойным и усталым взглядом следит за багровой полоской, еще сквозящей за деревьями на западе.

Обвинен в убийстве! Роберта умерла! И Сондра умерла – для него! И Грифитсы! И дядя! И мать! И те, в лагере!

Господи, ну почему он не бежал, когда нечто – все равно, что это было,

– твердило ему: беги?

Глава 9

В отсутствие Клайда впечатления Мейсона от общества, в котором тот здесь вращался, подтвердили и дополнили впечатления, полученные прежде в Ликурге и Шейроне. Этого было достаточно, чтобы отрезвить его и поколебать прежнюю уверенность, будто нетрудно будет добиться обвинительного приговора. Из всего, что он тут видел, было ясно: найдутся и средства и желание замять подобного рода скандал. Богатство. Роскошь. Громкие имена и высокие связи, которые, конечно, потребуется оградить от огласки. Разве не могут богатые и влиятельные Грифитсы, узнав об аресте племянника, каково бы ни было его преступление, пригласить самого талантливого адвоката, чтобы оберечь свое доброе имя? Несомненно, так будет, а такой юрист сумеет получить любые отсрочки… И тогда, пожалуй, задолго до того, как он мог бы добиться осуждения преступника, он сам автоматически перестанет быть обвинителем и не будет не только избран, но и намечен кандидатом на столь желанную и необходимую ему должность судьи.

Перед живописным кружком разбитых на берегу озера палаток сидел Харлей Бэгот в ярком свитере и белых брюках тонкого сукна и приводил в порядок свои рыболовные снасти. У некоторых палаток были откинуты передние полотнища – и внутри можно было мельком увидеть Сондру, Бертину и других девушек, занимавшихся туалетом после недавнего купанья. Компания была столь изысканная, что Мейсон усомнился, благоразумно ли с политической и общественной точки зрения напрямик заявить о том, какие причины привели его сюда; он предпочел пока смолчать и погрузился в размышления о контрасте между

юностью Роберты Олден или своей собственной – и жизнью этой молодежи. Понятно, думал он, человек с положением Грифитсов вполне может так подло и жестоко поступить с девушкой вроде Роберты и при этом надеяться на безнаказанность.

И все же, стремясь добиться своего наперекор веем враждебным силам, какие могут преградить ему путь, Мейсон наконец подошел к Бэготу и весьма кисло (хотя и старался казаться возможно благодушнее и общительнее) сказал:

– Милое местечко для лагеря!

– Да-а… мы тоже так думаем, – процедил Бэгот.

– Это все, наверно, компания с дач около Шейрона?

– Да-а… Главным образом с южного и западного берега.

– А тут нет никого из Грифитсов? То есть кроме мистера Клайда?

– Нет. Они, по-моему, все еще на Лесном озере.

– И вы знакомы лично с мистером Клайдом Грифитсом?

– Ну, конечно. Он из нашей компании.

– А вы случайно не знаете, давно ли он здесь, то есть, я хочу сказать, у Крэнстонов?

– Кажется, с пятницы. Во всяком случае, я его увидел в пятницу утром. Но вы можете спросить его самого, он скоро придет, – оборвал Бэгот, подумав, что мистер Мейсон становится несколько навязчивым со своими расспросами; притом он человек не их с Клайдом круга.

В это время появился Фрэнк Гарриэт с теннисной ракеткой под мышкой.

– Куда, Фрэнк?

– Гаррисон сегодня утром расчистил корты – попробую там сыграть.

– С кем?

– С Вайолет, Надиной и Стюартом.

– А там есть место для другого корта?

– Ну да, там их два. Захвати Бертину, Клайда и Сондру и приходите все туда.

– Может быть, когда покончу с этим.

И Мейсон тотчас подумал: Клайд и Сондра. Клайд Грифитс и Сондра Финчли

– та самая девушка, чьи записочки и визитные карточки сейчас у него в кармане. Может быть, он увидит ее здесь с Клайдом и позже сумеет поговорить с нею о нем?

В эту минуту Сондра, Бертина и Вайнет вышли из своих палаток. Бертина крикнула:

– Харлей, не видели Надину?

– Нет, но тут был Фрэнк. Он сказал, что идет на корт играть с нею, Вайолет и Стюартом.

– Вот как! Пойдем, Сондра! Вайнет, пойдем! Посмотрим, что там за корт.

Назвав Сондру по имени, Бертина обернулась и взяла ее под руку, и таким образом Мейсону представился желанный случай взглянуть, хотя бы мельком, на девушку, которая так трагически и, без сомнения, сама того не зная, вытеснила Роберту из сердца Клайда. И Мейсон воочию убедился, что она много красивее и много наряднее, – та, другая, и мечтать не могла, что когда-нибудь сможет так одеваться. И эта жива, а та, другая, лежит мертвая в бриджбургском морге.

Три девушки, взявшись за руки, пробежали мимо смотревшего на них Мейсона, и Сондра на бегу крикнула Харлею:

– Если увидите Клайда, скажите, пускай идет туда, хорошо?

И Харлей ответил:

– Вы думаете, вашей тени нужно об этом напоминать?

Мейсон, пораженный красочностью и драматизмом происходящего, внимательно и даже с волнением следил за всем. Теперь ему было совершенно ясно, почему Клайд хотел отделаться от Роберты, – ясны его истинные, скрытые побуждения. Эта красивая девушка и вся эта роскошь – вот к чему он стремился. Подумать только, что молодой человек в его возрасте и с такими возможностями дошел до такой чудовищной низости! Невероятно! И всего через четыре дня после убийства той несчастной девушки он весело проводит время с этой красавицей, надеясь жениться на ней, как Роберта надеялась выйти за него замуж. Невероятные подлости бывают в жизни!

Видя, что Клайд не показывается, он почти уже решил назвать себя, а затем обыскать и изъять его вещи, но тут появился Эд Суэнк и кивком предложил Мейсону следовать за ним. И, войдя в лес, Мейсон тотчас увидел в тени высоких деревьев не более, не менее, как Николаса Краута и с ним – стройного, хорошо одетого молодого человека, примерно того возраста, какой был указан в приметах Клайда; по восковой бледности его лица Мейсон мгновенно понял, что это и есть Клайд, и набросился на него, как разъяренная оса или шершень. Впрочем, сперва он осведомился у Суэнка, где и кто задержал Клайда, а затем пристально, критически и сурово посмотрел на него, как и подобает тому, кто воплощает в себе могущество и величие закона.

– Итак, вы и есть Клайд Грифитс?

– Да, сэр.

– Так вот, мистер Грифитс, меня зовут Орвил Мейсон. Я прокурор округа, где находятся озера Большой Выпи и Луговое. Я полагаю, вы хорошо знакомы с этими местами, не так ли?

Он сделал паузу, чтобы посмотреть, какой эффект произведет его язвительное замечание. Однако против его ожидания Клайд не вздрогнул в испуге, а только внимательно смотрел на него темными глазами, и этот взгляд выдавал огромное нервное напряжение.

– Нет, сэр, не могу сказать, что знаком.

Пока он шел сюда по лесу под надзором Краута, в нем с каждым шагом крепло глубокое, непоколебимое убеждение, что, каковы бы ни были доказательства и улики, он не смеет говорить ни слова о себе, о своей связи с Робертой, о поездке на озеро Большой Выпи и на Луговое. Не смеет. Это все равно, что признать себя виноватым в том, в чем он на самом деле не виноват. И никто никогда не должен подумать – ни Сондра, ни Грифитсы, ни кто-либо из его светских друзей, – что он мог быть повинен в таких мыслях. А ведь все они здесь, на расстоянии окрика, и в любую минуту могут подойти и узнать, за что он арестован. Необходимо отрицать, что он как-либо причастен к случившемуся, – он ничего об этом не знает, ровно ничего! В то же время им овладел безмерный ужас перед Мейсоном: конечно же, если так себя вести, этот человек будет вне себя от возмущения и негодования. У него такое суровое лицо! Да еще сломанный нос… и большие мрачные глаза.

А Мейсон, обозленный запирательством Клайда, смотрел на него, как на неведомого, но опасного зверя; впрочем, видя растерянность Клайда, он решил, что, без сомнения, быстро заставит его сознаться. И продолжал:

– Вы, конечно, знаете, в чем вас обвиняют, мистер Грифитс?

– Да, сэр, мне только что сказал вот этот человек.

– И вы признаете себя виновным?

– Конечно, нет, сэр! – возразил Клайд.

Его тонкие, теперь побелевшие губы плотно сжались, глаза были полны невыразимого, глубоко затаенного ужаса.

– Что? Какая чепуха! Какая наглость! Вы отрицаете, что в прошлую среду и четверг были на Луговом озере и на Большой Выпи?

– Да, сэр.

– В таком случае, – Мейсон выпрямился, приняв грозный инквизиторский вид, – вы, должно быть, станете отрицать и свое знакомство с Робертой Олден – с девушкой, которую вы повезли на Луговое озеро и с которой потом, в четверг, поехали кататься по озеру Большой выпи? С девушкой, с которой вы встречались в Ликурге весь этот год и которая жила у миссис Гилпин и работала в вашем отделении на фабрике Грифитса? С девушкой, которой вы подарили на рождество туалетный прибор? Пожалуй, вы еще скажете, что вас зовут не Клайд Грифитс, что вы не живете у миссис Пейтон на Тэйлор-стрит и что всех этих писем и записочек от Роберты Олден и от мисс Финчли не было в вашем сундуке?

При этих словах Мейсон вытащил из кармана пачку писем и визитных карточек и стал размахивать ими перед самым носом Клайда. С каждой фразой он все больше приближал к лицу Клайда свое широкое лицо с плоским сломанным носом и выдающимся подбородком, и глаза его сверкали жгучим презрением. А Клайд всякий раз отшатывался, и ледяной холодок пробегал у него по спине, проникая в сердце и в мозг. Эти письма! Вся эта осведомленность! А там, в его палатке в чемодане, все последние письма Сондры, в которых она строит планы побега с ним в эту осень. И почему он их не уничтожил! Теперь этот человек найдет их, – конечно, найдет – и, пожалуй, начнет допрашивать Сондру и всех остальных. Клайд съежился, и все в нем похолодело. Губительные последствия его столь плохо задуманного и плохо выполненного плана придавили его, как мир, легший на плечи слабосильного Атланта.

И однако, чувствуя, что нужно что-то сказать и при этом ни в чем не признаться, он наконец ответил:

– Я действительно Клайд Грифитс, но все остальное неверно. Я ничего об этом не знаю.

– Да бросьте, мистер Грифитс! Не пытайтесь меня провести. Из этого ничего не выйдет. Ваши хитрости вам ни капли не помогут, а у меня нет на это времени. Не забывайте, что все эти люди – свидетели, и они вас слышат. Я был у вас в комнате, и в моем распоряжении ваш сундук, и письма мисс Олден к вам – неопровержимое доказательство, что вы знали эту девушку, что вы ухаживали за нею и обольстили ее минувшей зимой, а позже, весной, когда она забеременела от вас, сперва отправили ее домой, а потом затеяли эту поездку – для того чтобы обвенчаться, как вы ей сказали. Да, что и говорить, вы обвенчали ее! С могилой – вот как вы ее обвенчали! – с водой на дне озера Большой Выпи! И теперь, когда я говорю вам, что у меня в руках все улики, вы заявляете мне в лицо, будто даже не знаете ее! Ах, черт меня подери!

Он говорил все громче, и Клайд боялся, что его услышат в лагере и Сондра услышит и придет сюда. Оглушенный, исхлестанный неистовым смерчем уничтожающих фактов, которыми забрасывал его Мейсон, Клайд чувствовал, как судорога стиснула ему горло, и едва сдерживался, чтобы не ломать руки. И, однако, на все это он ответил только:

– Да, сэр.

– Ах, черт меня подери! – повторил Мейсон. – Теперь мне ясно, что вы вполне могли убить девушку и удрать именно так, как вы это сделали. И еще при ее положении! Отрекаться от ее писем к вам! Да ведь вы с таким же успехом можете отрицать, что вы здесь и что вы живы! Ну, а эти карточки и записки, – что вы скажете о них? Уж, конечно, они не от мисс Финчли? Ну-ка? Сейчас вы станете уверять меня, что это не от нее.

Он помахал ими перед носом Клайда. И Клайд, понимая, что Сондра совсем рядом и, значит, истинное происхождение писем могут мигом установить, ответил:

– Нет, я не отрицаю, что это от нее.

– Прекрасно. А вот эти письма, лежавшие там же, в вашем сундуке, в той же комнате, – они не от мисс Олден?

– Я не желаю об этом говорить, – ответил Клайд, невольно мигая, оттого что Мейсон размахивал перед ним письмами Роберты.

– Ну, знаете ли! – Мейсон в ярости прищелкнул языком. – Какой вздор! Какая наглость! Ну, прекрасно, сейчас не стоит беспокоиться на этот счет. В свое время я без труда это докажу. Но как вы можете все отрицать, зная, что у меня есть доказательства, – вот чего я не пойму! А карточка с вашей собственноручной надписью? Вы забыли вынуть ее из чемодана, который мисс Олден по вашему настоянию оставила на станции Ружейной, хотя свой чемодан вы взяли с собой, мистер Карл Грэхем – мистер Клифорд Голден – мистер Клайд Грифитс! Карточка, на которой вы написали: «Берте от Клайда. – Поздравляю с рождеством!» – припоминаете? Ну, так вот она! – И Мейсон вытащил из кармана карточку и махнул ею перед самым носом Клайда. – Это вы тоже забыли? Ваш собственный почерк! – И, помолчав, но не дождавшись ответа, он прибавил: – Ну и олух же вы! Хорош злоумышленник, у которого даже не хватило ума не брать своих инициалов для фальшивых имен, за которыми вы надеялись укрыться, мистер Карл Грэхем – мистер Клифорд Голден.

Однако Мейсон хорошо понимал, насколько важно получить признание Клайда, и пытался сообразить, как добиться его тут же, на месте. И вдруг застывшее от ужаса лицо Клайда навело прокурора на мысль, что, пожалуй, он запуган до немоты. И Мейсон внезапно переменил тактику – по крайней мере понизил голос и расправил грозные морщины на лбу и у рта.

– Вот что, Грифитс, – начал он гораздо спокойнее и проще. – Обстоятельства таковы, что ни ложь, ни безрассудное и бессмысленное запирательство нисколько вам не помогут. Это только повредит вам, поверьте. Может быть, по-вашему, я был немного резок, но это потому, что у меня ведь тоже нервы натянуты! Я думал, что столкнусь с человеком совсем другого типа. Но теперь я вижу, каково вам и как вы напуганы всем, что произошло, – и вот я подумал: может быть, тут было еще что-нибудь… какие-нибудь смягчающие обстоятельства, и если вы все расскажете, это дело предстанет в несколько ином свете. Я, конечно, ничего не знаю, вам об этом лучше судить, но я просто хочу говорить с вами начистоту. Начать с того, что налицо ваши письма. Далее, когда мы приедем в Бухту Третьей мили, – а мы там завтра будем, я надеюсь, – там будут и те три охотника, которые встретили вас ночью, когда вы уходили с Большой Выпи. И не только они, но и хозяин гостиницы на Луговом озере, и хозяин гостиницы на Большой Выпи, и лодочник, у которого вы брали лодку, и шофер, который вез вас и Роберту Олден со станции Ружейной. Все они опознают вас. Неужели вы думаете, что никто из них вас не узнает, не сумеет сказать, были вы там с нею или не были? Может быть, вы думаете, что, когда придет время, им не поверят присяжные?

И Клайд мысленно отмечал все это, как автомат, который щелкает, когда в него опустят монету, но не произносил ни слова в ответ, – только, весь застыв, неподвижно смотрел куда-то в пространство.

– И это еще не все, – мягко и вкрадчиво продолжал Мейсон. – Есть еще миссис Пейтон. Она видела, как я взял эти письма и карточки в вашей комнате, из вашего сундука и из верхнего ящика вашей шифоньерки. А девушки на фабрике, где работали вы и мисс Олден? Неужели вы думаете, что они не вспомнят ваших с ней отношений, когда узнают, что она умерла? Что за нелепость! Вы должны и сами понять такую простую вещь, как бы вы там ни рассуждали. И напрасно вы надеетесь вывернуться таким образом. Ничего не выйдет. Так что зря вы разыгрываете какого-то дурачка. Могли бы это и сами понять.

Он снова умолк, надеясь, что теперь Клайд сознается. Но Клайд, все еще убежденный, что всякое признание, связанное с Робертой или с озером Большой Выпи, его погубит, по-прежнему молчал. И Мейсон прибавил:

– Ладно, Грифитс, вот что я вам еще скажу. Я не мог бы дать вам лучшего совета, будь вы даже моим сыном или братом, и я хотел бы вызволить вас из этой истории, а не только узнать от вас правду. Если вы хотите как-то облегчить свое положение, вам вовсе незачем все отрицать, как вы сейчас делаете. Вы просто создаете лишние затруднения и вредите себе в глазах других людей. Почему не сказать, что вы ее знали и ездили с нею на озеро и что она вам писала эти письма, – почему не покончить с этим? Этого вам все равно не миновать, если вы и надеетесь доказать свою непричастность к остальному. Всякий разумный человек – и ваша мать, будь она здесь, – сказал бы вам то же самое. Ваше поведение просто смешно и скорее доказывает вину, чем невиновность. Почему бы не выяснить сразу же эти факты, пока не поздно воспользоваться какими-нибудь смягчающими обстоятельствами, если они существуют? А если вы сделаете это *теперь* и я смогу как-либо помочь вам, даю слово, что помогу – и с радостью. Ведь в конце концов я здесь не для того, чтобы затравить человека до смерти или заставить его сознаться в том, чего он не делал, – я хочу только установить истину. Но если вы будете отрицать даже свое знакомство с этой девушкой, когда я говорю вам, что у меня в руках все улики и я могу доказать это, – ну, тогда… – И прокурор воздел руки к небесам в знак бессильного негодования.

Но Клайд был по-прежнему бледен и нем. Несмотря на все, что сказал ему Мейсон, и на этот, по-видимому, дружеский и доброжелательный совет, он все еще не мог отделаться от убеждения, что, признав свое знакомство с Робертой, он себя погубит. А как отнесутся к этому роковому признанию те, в лагере! Конец всем его мечтам о Сондре и о прекрасной, праздничной жизни. И поэтому, несмотря ни на что, – молчание. И Мейсон, окончательно выйдя из себя, закричал:

– Ну, хорошо же! Значит, вы решили вовсе не раскрывать рта? Так, что ли?

И Клайд, подавленный и обессиленный, ответил:

– Я никак не причастен к ее смерти. Это все, что я могу сказать.

И, говоря это, он уже думал, что, пожалуй, ему не следовало говорить так… может быть, лучше было бы сказать… но что? Что он, конечно, знал Роберту и даже был с ней на озере… но никогда не собирался убить ее… она утонула, но это был несчастный случай. И если он и ударил ее, то только нечаянно. Но, может быть, лучше совсем не говорить, что он ее ударил? Ведь при сложившихся обстоятельствах едва ли кто-нибудь поверит, что он ударил ее фотографическим аппаратом случайно. Самое лучшее вовсе не говорить об аппарате, раз ни в одной газете до сих пор не упоминалось, что у него был с собой аппарат.

Он все еще размышлял об этом, когда Мейсон воскликнул:

– Так вы признаете, что знали ее?

– Нет, сэр.

– Ну, прекрасно. – И, повернувшись к своим спутникам, Мейсон прибавил:

– В таком случае, я думаю, нам остается только отвести его назад, в лагерь, и послушать, что им про него известно. Может быть, мы еще что-нибудь вытянем из этого фрукта, устроив ему очную ставку с его друзьями. Его вещи и чемодан, наверно, еще там, в какой-нибудь из палаток. Давайте отведем его туда, джентльмены, и посмотрим, что знают о нем остальные.

И он быстро и хладнокровно повернулся, чтобы идти к лагерю, но тут Клайд, съежившись от ужаса перед тем, что его ожидает, воскликнул:

– Нет, пожалуйста, не надо! Неужели вы поведете меня туда? Нет, нет, пожалуйста, не надо!

И тут заговорил Краут.

– Когда мы с ним шли сюда, он просил меня поговорить с вами насчет того, чтобы не вести его в лагерь, – сказал он Мейсону.

– Так вот откуда ветер дует! – воскликнул Мейсон. – Вы чересчур щепетильны, чтобы появиться в таком виде перед леди и джентльменами с Двенадцатого озера, но вам не угодно признаться в знакомстве с бедной фабричной работницей, своей подчиненной? Прекрасно! Ну нет, мой друг, либо вы сейчас выложите все, что вам на самом деле известно, либо пойдете туда.

– Он помолчал секунду, чтобы посмотреть, как это подействует на Клайда. – Мы созовем всех ваших знакомых и растолкуем им, что к чему. Посмотрим, как вы тогда от всего отопретесь. – И, заметив, что Клайд еще колеблется, он прибавил: – Ведите его, ребята!

Он повернулся и сделал несколько шагов по направлению к лагерю; Краут и Суэнк взяли Клайда с двух сторон за руки и двинулись было Следом, но тут Клайд закричал:

– Нет, нет, не надо! Прошу вас, мистер Мейсон, не ведите меня туда! Пожалуйста! Я не могу туда вернуться! Не потому, что я виновен. Но ведь все мои вещи можно взять оттуда и без меня… а возвращаться туда мне теперь очень тяжело.

Капли пота выступили на его бледном лице, на руках, и он весь похолодел.

– Ах, вы не желаете идти? – воскликнул Мейсон, услышав это, и остановился. – Если они обо всем узнают, пострадает ваше достоинство, не так ли? Ладно, тогда потрудитесь сейчас же ответить на мои вопросы, и отвечайте быстро и начистоту, иначе мы без задержки отправимся в лагерь. Ну, что же, будете вы отвечать?

И он снова подошел вплотную к Клайду – растерянному, с дрожащими губами и блуждающим взором. И Клайд нервно и взволнованно заговорил:

– Да, конечно, я знал ее. Конечно, знал. Безусловно! Это видно из писем. Так что же? Я не убивал ее. И когда поехал с нею туда, вовсе не собирался ее убить. Я вовсе этого не хотел. Не хотел, говорю вам! Это был несчастный случай. Я даже не хотел с нею никуда ехать. Это она хотела, чтобы я поехал… чтобы я увез ее куда-нибудь, потому что… потому что… ну, вы же знаете, это видно по ее письмам. А я только старался уговорить ее, чтобы она уехала куда-нибудь одна и оставила меня в покое, потому что я не хотел на ней жениться. Вот и все. И я повез ее туда совсем не для того, чтобы убить, а чтобы постараться уговорить ее, – вот и все. И я не перевернул лодку, – во всяком случае, я не хотел… Ветер унес мою шляпу, и мы оба сразу поднялись и хотели ее достать, и лодка перевернулась – вот и все. И ее ударило бортом по голове. Я это видел, но она так

сильно билась в воде, что я испугался… я боялся, что, если подплыву ближе, она потащит меня на дно. А потом она пошла ко дну. А я поплыл к берегу. Это чистая правда, клянусь богом!

Пока он говорил, его лицо и даже руки вдруг густо покраснели. Его измученные, испуганные глаза были полны отчаяния. А вдруг в этот день совсем не было ветра и они вспомнят об этом? – думал он. А штатив, спрятанный под упавшим деревом? Если его нашли, могут подумать, что именно штативом он и ударил ее… Он весь дрожал, обливаясь потом.

Но Мейсон уже задавал новый вопрос:

– Так. Одну минуту. Вы говорите, что повезли ее туда без всякого намерения убить?

– Да, сэр.

– Хорошо, но тогда почему же вы записались в гостиницах на озере Большой Выпи и на Луговом под разными именами?

– Просто я не хотел, чтобы кто-нибудь узнал, что я был там с нею.

– А, понимаю! Не желали скандала в связи с ее положением?

– Нет, сэр. То есть да, сэр.

– А вас не беспокоило, что ее имя будет опозорено, если ее потом найдут?

– Но ведь я не мог знать, что она утонет, – находчиво ответил Клайд, вовремя почуяв западню.

– Но вы, конечно, знали, что сами туда не вернетесь?.. Это вы твердо знали, не так ли?

– Что вы, сэр, я вовсе этого не знал! Я думал, что вернусь.

«Ловко, ловко!» – подумал Мейсон, но не произнес этого вслух, а быстро сказал:

– Стало быть, именно для того, чтобы вам было проще и легче возвращаться, вы взяли свой чемодан с собой, а ее чемодан оставили на станции? Разве так делают? Как вы это объясните?

– Но я взял чемодан не потому, что собирался уйти. Мы решили положить туда завтрак.

– «Мы» или вы?

– Мы.

– Значит, вам надо было тащить с собой этот большой чемодан ради небольшого завтрака? Разве вы не могли завернуть его в бумагу или положить в ее сумку?

– Ну, видите ли, ее сумка была полна, а я не люблю носить всякие свертки.

– Так, понимаю. Вы слишком горды и щепетильны, а? Однако гордость не помешала вам тащить ночью тяжелый чемодан добрых двенадцать миль до Бухты Третьей мили и вас не смущало, что это могут увидеть?

– Просто, когда она утонула, я не хотел, чтобы стало известно, что я был там с ней, и мне пришлось пойти…

Он замолчал, а Мейсон смотрел на него и думал, какое множество вопросов он хотел бы еще задать… еще много, очень много вопросов, на которые – он знал – Клайд не сможет дать ясного ответа. Однако становилось уже поздно, а в лагере еще оставались вещи Клайда – чемодан и, может быть, костюм, в котором он был тогда на озере Большой Выпи, – серый, как говорили, а не тот, в котором он сейчас. Этот допрос может еще многое дать, если продолжать его, но к чему делать это здесь, в надвигающейся темноте? Ведь предстоит еще обратный путь, и тогда будет вдоволь времени для дальнейших расспросов.

И потому, как ни досадно было Мейсону прекращать в эту минуту разговор, он напоследок сказал:

– Ну, вот что, Грифитс, пока мы дадим вам передышку. Возможно, что все было так, как вы сказали, не знаю. От души надеюсь, ради вас же самого, что все это правда. Во всяком случае, сейчас вы пойдете с мистером Краутом

– он покажет вам куда.

Затем он обернулся к Суэнку и Крауту:

– Итак, друзья, вот что мы теперь сделаем. Становится поздно, и нам надо поторопиться, если мы хотим сегодня ночевать под крышей. Мистер Краут, вы отведете этого молодого человека к тем двум лодкам и подождете там. По дороге крикнете шерифу и Сисселу: дадите им знать, что мы готовы. А мы с Суэнком подъедем к вам на другой лодке, как только освободимся.

Мейсон и Суэнк в густеющих сумерках двинулись по направлению к лагерю, а Краут и Клайд пошли на запад; Краут усердно аукал, окликая шерифа и его помощника, пока они не отозвались.

Глава 10

Вторично явившись в лагерь, Мейсон сообщил сперва Фрэнку Гарриэту, а затем Харлею Бэготу и Рэнту Крэнстону об аресте Клайда и об уже сделанном им признании в том, что он был с Робертой на озере Большой Выпи, хотя, по его словам, и не убивал ее; Мейсон объяснил также, что они с Суэнком должны забрать все принадлежащие Клайду вещи.

Это известие мгновенно разрушило все очарование веселой экскурсии. Правда, оно вызвало у всех крайнее изумление, недоверие и некоторое замешательство, но перед ними был Мейсон, требовавший показать ему, где находятся вещи Клайда, и уверявший, что только снисходя к просьбе Клайда его не привели сюда, чтобы он сам указал свои пожитки.

Фрэнк Гарриэт, наиболее практичный из всей компании, первым почувствовал силу правды в словах Мейсона и сейчас же провел его в палатку Клайда, где Мейсон приступил к осмотру чемодана и одежды арестованного; тем временем Грэнт Крэнстон и Бэгот, зная об увлечении Сондры, вызвали сначала Стюарта, затем Бертину и, наконец, Сондру, которую увели подальше, чтобы без свидетелей сообщить ей о случившемся. Едва Сондра поняла значение услышанного, она побледнела и без сознания упала на руки Гранта. Ее отнесли в палатку, привели в чувство, и она закричала:

– Не верю ни одному слову! Это неправда! Этого не может быть! Несчастный мальчик! Клайд! Клайд! Где он? Куда его увезли?

Но Стюарт и Грэнт, в которых чувства отнюдь не заглушали рассудка, посоветовали ей быть осторожнее и замолчать. Может быть, все это правда. Что, если так? Тогда все услышат об этом. А если неправда, то Клайд быстро докажет свою невиновность и его освободят, не так ли? Во всяком случае, не следует поднимать шум.

И тут Сондра задумалась: а вдруг это и в самом деле возможно… ту девушку на озере Большой Выпи убил Клайд… его арестовали и увезли… и все – по крайней мере вся ее компания – знают, как она им увлекалась… все это станет известно родителям, а может быть, и широкой публике…

Но нет, Клайд, конечно, ни в чем не виноват! Это просто ошибка… И тут же она вспомнила, как впервые услышала об утонувшей девушке по телефону у Гарриэтов и потом – страшную бледность Клайда… его болезнь… ведь он тогда едва не лишился чувств… Нет, нет! Только не это! Но ведь он приехал из Ликурга с опозданием, только в пятницу. И не писал ей оттуда… И, вновь ощутив весь ужас случившегося, она вдруг опять потеряла сознание. Она лежала в палатке недвижимая, мертвенно-бледная, а тем временем Грэнт и остальные, посовещавшись, решили, что самое разумное сейчас же или в крайнем случае завтра рано утром свернуть лагерь и отправиться назад, в Шейрон.

Немного погодя Сондра пришла в себя и со слезами заявила, что сейчас же уедет отсюда: ей невыносимо оставаться в этом ужасном месте, и она умоляет Бертину и других не оставлять ее одну и никому ничего не говорить о том, как она потеряла сознание и плакала, потому что это только даст повод для лишних разговоров… И все время она думала, каким образом – если все это правда – получить обратно письма, которые она писала Клайду. Господи, какой ужас! Что если они теперь попадут в руки полиции или их напечатают в газетах! Все же она любила его, и впервые за всю ее жизнь неумолимая, суровая действительность нанесла ей такой жестокий удар, ворвавшись в ее веселый, легкомысленный мирок.

Итак, сразу было решено, что Сондра уедет вместе со Стюартом, Бертиной и Грантом в гостиницу «Метисская» в восточной части озера, – оттуда, как объяснил Бэгот, они смогут на заре уехать в Олбани и далее кружным путем в Шейрон.

Тем временем Мейсон, забрав с собой все вещи Клайда, поспешно направился на Запад, к Рыбачьему заливу и к Бухте Третьей мили; он только раз остановился в пути, чтобы провести первую ночь на какой-то ферме, и приехал на место поздно вечером во вторник. По пути он, как и собирался, продолжал допрашивать Клайда – главным образом в связи с тем, что среди его вещей в лагере не оказалось того серого Кострома, в котором, как показывали свидетели, он был на озере Большой Выпи.

И Клайд, обеспокоенный этим новым осложнением, стал отрицать, что на нем был серый костюм, уверяя, будто он и тогда был в том же костюме, который на нем сейчас.

– Но ведь он был насквозь мокрый?

– Да.

– Где же вам его потом вычистили и выгладили?

– В Шейроне.

– В Шейроне?

– Да, сэр.

– Тамошний портной?

– Да, сэр.

– Какой портной?

Увы, Клайд не мог припомнить.

– Значит, от Большой Выпи до Шейрона вы шли в мятом и мокром костюме?

– Да, сэр.

– И, конечно, никто этого не заметил?

– Насколько помню, нет.

– Ах, насколько вы помните! Ну, ладно, мы все это еще выясним.

И Мейсон решил про себя, что Клайд, бесспорно, убил Роберту – и притом с заранее обдуманным намерением – и что после можно будет заставить его признаться, где он спрятал костюм или где отдавал в чистку.

Далее, имеется соломенная шляпа, которую нашли на озере. Что он может сказать о ней? Заявив, будто ветер унес его шляпу, Клайд тем самым признал, что на озере он был в шляпе, хотя и не обязательно в той самой, которая найдена на воде. И теперь Мейсон в присутствии свидетелей настойчиво старался установить принадлежность Клайду найденной шляпы и факт существования второй шляпы, которую Клайд носил позже.

– Вы говорили, что ветер сорвал с вас соломенную шляпу. Что же, она осталась на воде? Вы тогда не пытались достать ее?

– Нет, сэр.

– Надо полагать, в волнении не подумали об этом?

– Да, сэр.

– Однако же на вас была другая соломенная шляпа, когда вы шли потом через лес. Где же вы ее взяли?

И озадаченный Клайд, чувствуя, что попал в ловушку, на минуту замолчал, испуганно соображая, может ли быть доказано, что эта вторая шляпа, которая на нем сейчас, – та самая, в которой он шел через лес, и что первая, оставшаяся на воде, была куплена в Утике. И он решил солгать.

– Но у меня не было второй соломенной шляпы.

Не обращая внимания на эти слова, Мейсон протянул руку, снял с Клайда соломенную шляпу и стал рассматривать фабричную марку на подкладке – «Старк и Кь, Ликург».

– У этой, я вижу, есть подкладка. Куплена в Ликурге, а?

– Да, сэр.

– Когда?

– Еще в июне.

– И вы уверены, что это не та шляпа, в которой вы шли через лес в ту ночь?

– Не та, сэр.

– Ну, а где же была эта?

И опять Клайд замолк, чувствуя, что попал в западню. «Господи, как же мне это объяснить? – думал он. – Зачем я признал, что та шляпа на озере моя?» Но тотчас он понял: отрицает он это, нет ли – все равно на Луговом озере и на Большой Выпи найдутся люди, которые, конечно, вспомнят, что он был тогда в соломенной шляпе.

– Где же была эта? – настаивал Мейсон.

И Клайд сказал наконец:

– Я уже как-то ездил в ней на дачу и забыл ее, когда уезжал отсюда в прошлый раз. А теперь приехал и нашел.

– А, понимаю! Очень удобно получилось, должен признать!

Мейсон начинал думать, что имеет дело с весьма изворотливым субъектом… придется расставлять ловушки похитрее! В то же время он решил спросить Крэнстонов и всех участников поездки на Медвежье озеро: может быть, кто-нибудь вспомнит, была ли на Клайде соломенная шляпа, когда он приехал к ним в пятницу, и не оставлял ли он у них шляпы в прошлый раз. Клайд, конечно, лжет, и его нужно поймать.

И потому всю дорогу до Бриджбурга и до местной окружной тюрьмы у Клайда не было ни минуты покоя. Сколько он ни отказывался отвечать, Мейсон все снова и снова набрасывался на него с вопросами вроде следующих: «Почему, если вы действительно хотели просто-напросто позавтракать на берегу, вам понадобилось плыть в такую даль, в южный конец озера, где вовсе не так живописно, как в других местах?» или: «А где вы провели остаток того дня? ведь не на месте катастрофы, конечно?» Потом он неожиданно возвращался к письмам Сондры, найденным в чемодане. Давно ли Клайд с нею знаком? Так ли сильно он влюблен в нее, как, по-видимому, она в него? Не потому ли, что Сондра обещала осенью выйти за него замуж, он решил убить мисс Олден?

Клайд горячо отрицал это последнее обвинение, но почти все остальное время сидел молча, уныло глядя перед собой измученными, несчастными глазами.

А потом отвратительнейшая ночь на чердаке какой-то фермы в западной части озера, на сеннике, положенном прямо на пол; Сиссел, Суэнк и Краут, чередуясь, стерегли его с револьвером в руке, а Мейсон, шериф и остальные спали внизу, в первом этаже. И так как уже распространились какие-то слухи, к утру явилось несколько местных жителей с вопросом: «Говорят, у вас тут парень, который убил девушку на Большой Выпи, – верно это?» И чтобы посмотреть на него, они дождались здесь рассвета, когда арестованный и его спутники уехали на фордах, добытых Мейсоном.

А в Рыбачьем заливе и в Бухте Третьей мили собрались уже целые толпы – фермеры, дачники, лавочники, лесорубы, дети: очевидно, по телефону заранее сообщили, что везут преступника. В Бухте Третьей мили ждали Бэрлей, Хейт и Ньюком; предупрежденные по телефону, они вызвали в камеру к тощему, желчному и дотошному мировому судье Габриэлю Грэгу всех свидетелей с озера Большой Выпи, необходимых для того, чтобы окончательно установить личность Клайда. И вот перед здешним судьей Мейсон обвиняет Клайда в убийстве Роберты и добивается законного, вынесенного по всей форме решения: заключить подозреваемого в окружную тюрьму в Бриджбурге. А затем Мейсон вместе с Бэртоном и шерифом отвозит Клайда в Бриджбург, где его тотчас сажают под замок.

Войдя в камеру, Клайд бросился на железную койку и схватился за голову в смертельном отчаянии. Было три часа ночи, но когда они подъезжали к тюрьме, там уже собралась толпа по меньшей мере человек в пятьсот – шумная, злобно-насмешливая, угрожающая. Уже распространился слух, будто он, желая жениться на богатой, самым зверским образом убил молодую и красивую работницу, которая была виновата только в том, что слишком его любила. Слышались угрозы и грубые выкрики:

– Вот он, паршивый ублюдок! Ну, погоди, дьявол, ты еще закачаешься на веревке! – Это кричал молодой лесоруб, похожий на Суэнка, с жестокими, свирепыми глазами.

Хуже того: из толпы выскочила девица в ситцевом платье, тощая и вертлявая, – типичная жительница городских трущоб – и закричала:

– Ах ты, змея подколодная! Убийца! Думал удрать, да не вышло?

И Клайд жался к шерифу Слэку и думал: «Они и вправду считают, что я ее убил! Они даже могут меня линчевать!» И так он был измучен, напуган, унижен и несчастен, что при виде железных ворот тюрьмы, распахнувшихся, чтобы его впустить, у него вырвался неподдельный вздох облегчения, ибо они сулили защиту.

Но, оказавшись в камере, он не заснул ни на минуту, и всю ночь напролет его мучили горькие мысли обо всем, что он навсегда утратил. Сондра! Грифитсы! Бертина! Знакомые по Ликургу, которые утром все узнают. И, наконец, его мать и все… Где теперь Сондра? Мейсон, разумеется, все сказал ей и другим, когда возвращался в лагерь за его вещами. И теперь все знают, что он такое на самом деле, – злоумышленник и убийца! Но если бы, если бы кто-нибудь знал, как все это случилось! Если бы Сондра, или его мать, или хоть кто-нибудь мог его понять!

Может быть, следовало бы рассказать все этому Мейсону, прежде чем дело пойдет дальше, объяснить, как именно все произошло. Но ведь это значит – рассказать правду о своих замыслах, о своем первоначальном намерении, о фотографическом аппарате, о том, как он отплыл от нее, вместо того, чтобы помочь. И о нечаянном (но кто этому поверит?) ударе и про то, как он после спрятал штатив. И к тому же, раз это станет известно, он конченый человек и для Сондры и для Грифитсов – для всех. Очень возможно, что его все равно обвинят в убийстве и казнят. О господи, убийство! Его будут судить за убийство Роберты, и это страшное преступление будет доказано. И тогда его все равно казнят, посадят на электрический стул! Так вот что, быть может, у него впереди – смерть… смертная казнь за убийство! Подавленный безмерным ужасом, Клайд застыл на своей койке. Смерть! Боже! Если бы только он не оставил писем Роберты и матери в своей комнате у миссис Пейтон! Если бы перед отъездом он перенес свой сундук куда-нибудь в другую комнату… Почему он об этом не подумал? Впрочем, сейчас же ему пришло в голову, что и это было бы ошибкой: это показалось бы подозрительным. Но каким образом они узнали, откуда он и как его зовут? Тут его мысли снова вернулись к письмам, которые лежали в сундуке. Он припомнил теперь, что мать в одном из своих писем упоминала о той истории в Канзас-Сити – и, значит, Мейсон должен был о ней узнать. Почему, почему он не уничтожил этих писем – от Роберты, от матери – всех! Почему? Он не мог теперь ответить почему, – должно быть, по бессмысленной привычке хранить на память всякие мелочи, каждый полученный им знак внимания, доброты и нежности… Если б он не надел второй соломенной шляпы… и не встретил тех троих в лесу! Господи боже! Он должен был понять, что его так или иначе сумеют выследить. Если бы он сразу ушел в лес из лагеря на Медвежьем озере, захватив свой чемодан и письма Сондры! Кто знает, может быть, в Бостоне, или в Нью-Йорке, или еще где-нибудь он сумел бы скрыться.

Измученный и обессиленный, он никак не мог уснуть и все ходил взад и вперед или присаживался на край непривычно жесткой койки и думал, думал… А на рассвете старый, костлявый, страдающий ревматизмом тюремщик в потертой, мешковатой синей форме принес ему на черном железном подносе кружку кофе, немного хлеба и ломтик ветчины с яйцом. Просовывая поднос сквозь оконце в решетке, старик с любопытством и все же безучастно смотрел на Клайда. Но Клайду было не до еды.

А потом один за другим приходили Краут, Сиссел и Суэнк и, наконец, сам шериф, и каждый заглядывал в камеру и спрашивал: «Ну, Грифитс, как вы себя чувствуете сегодня?» – или: «Здравствуйте! Не надо ли вам чего?» А взгляды их выражали удивление, отвращение, подозрительность и ужас: ведь он – убийца! И все-таки его присутствие вызывало в них еще и другого рода интерес и даже почтительную гордость. Как-никак он все же Грифитс, представитель хорошо известных общественных кругов в большом южном городе. И притом для них, как и для безмерно взбудораженной широкой публики, он зверь, попавшийся в ловушку, пойманный в сети правосудия благодаря их необычайному искусству, – живое доказательство их талантов! И газеты и публика, несомненно, заговорят об этом деле – их ожидает известность! Рядом с портретом Клайда напечатают и их портреты, их имена будут упоминаться вместе с его именем!

А Клайд глядел на них сквозь железные прутья и старался быть вежливым: он теперь в их руках, и они могут делать с ним все, что захотят.

Глава 11

Результаты вскрытия, несомненно, оказались для Мейсона шагом назад, ибо хотя в протоколе, подписанном пятью врачами, говорилось: «Ушибы около рта и носа; кончик носа слегка сплющен; губы распухли; один передний зуб слегка расшатан; на слизистой оболочке внутренней стороны губ имеются ссадины», – однако врачи единодушно утверждали, что все эти повреждения отнюдь не были опасны для жизни. Самое серьезное ранение было на черепе: видимо, по голове был нанесен сильный удар «каким-то тупым инструментом» – очень неудачное выражение, если иметь в виду удар о борт перевернувшейся лодки (именно это утверждал Клайд в своем первом признании), – «обнаружены трещины и внутреннее кровоизлияние, которое могло повлечь за собою смерть».

Но при исследовании легких оказалось, что, погруженные в воду, они тонут, – и это неопровержимо доказывало одно: Роберта не была мертва, когда упала в воду, а была жива и затем утонула, как и утверждал Клайд. И больше никаких признаков насилия или борьбы, хотя, судя по положению рук и пальцев, было похоже, что Роберта к чему-то тянулась и пыталась ухватиться за что-то. За борт лодки? Возможно ли? Может быть, в конце концов рассказ Клайда и таит в себе какую-то долю истины? Конечно, все эти обстоятельства говорят отчасти в его пользу. Однако, как единодушно считали Мейсон и остальные, эти данные ясно доказывали, что если он и не убил ее прежде, чем бросить в воду, то, во всяком случае, ударил, а затем, – может быть, когда она потеряла сознание, – бросил за борт.

Но чем он ее ударил? Если бы только заставить Клайда сказать это!

И вдруг Мейсона осенило: он повезет Клайда на озеро Большой Выпи! Правда, закон охраняет обвиняемых от какого-либо принуждения, но он все-таки заставит его вновь пройти шаг за шагом все стадии преступления. Возможно, и не удастся заставить его полностью выдать себя, а все же, попав снова в ту обстановку, на то место, где совершилось преступление, он может невольно чем-нибудь указать, хотя бы куда он запрятал костюм или то орудие, которым ударил Роберту.

Итак, на третий день – новая поездка на озеро в обществе Краута, Хейта, Мейсона, Бэртона Бэрлея, Эрла Ньюкома и шерифа Слэка с его помощниками и медленное, тщательное обследование всех мест, где Клайд побывал в тот ужасный день. И Краут, следуя инструкции Мейсона, «подмазывался» к Клайду, стараясь втереться к нему в доверие и вызвать его на откровенность. Краут доказывал, что имеющиеся улики слишком бесспорны: «присяжные никогда вам не поверят, будто вы ее не убивали», но «если вы поговорите с Мейсоном начистоту, он потолкует с судьей или с губернатором. Он может сделать для вас больше, чем всякий другой, может вас вызволить – и отделаетесь пожизненным заключением или двадцатью годами… а если будете вот так от всего отпираться, не миновать вам электрического стула, это уж как пить дать».

Но Клайд, охваченный тем же страхом, что и на Медвежьем озере, по-прежнему упорно молчал. К чему говорить, что он ее ударил, раз он этого не делал, по крайней мере он ведь не ударил умышленно? Да и чем? Ведь до сих пор никто не знает о фотографическом аппарате.

Но на озере, когда окружной землемер точно измерил расстояние от того места, где утонула Роберта, до места, где вышел на берег Клайд, Эрл Ньюком неожиданно подошел к Мейсону и сообщил о важном открытии. Под поваленным стволом, недалеко от того места, где Клайд остановился, чтобы переодеться, был обнаружен спрятанный им штатив от фотографического аппарата, немного заржавленный и отсыревший, но, как готовы были поверить Мейсон и прочие, достаточно тяжелый для того, чтобы, ударив им Роберту по голове, можно было оглушить ее, а затем перенести в лодку и, наконец, бросить в воду.

При виде этой находки Клайд еще больше побледнел, однако решительно отрицал, что у него был с собой фотографический аппарат и штатив. Мейсон тут же решил вновь допросить всех свидетелей: может быть, кто-нибудь из них вспомнит, что видел у Клайда аппарат или штатив.

И еще до конца того же дня выяснилось, что и шофер, который вез Клайда и Роберту со станции, и лодочник, видевший, как Клайд бросил свой чемодан в лодку, и молодая служанка из гостиницы на Луговом озере, которая видела, как Клайд и Роберта отправлялись утром на железнодорожную станцию, – все помнили «какие-то желтые палки», привязанные к чемодану Клайда: это, должно быть, и был штатив.

А затем Бэртон Бэрлей решил, что в конце концов удар был, пожалуй, нанесен не штативом, а скорее самим аппаратом, более тяжелым: его острый край объясняет рану на темени, а плоская сторона – ушибы на лице. Поэтому, сохраняя все в тайне от Клайда, Мейсон вызвал кое-кого из местных жителей для дополнительных поисков на дне озера, по соседству с тем местом, где нашли Роберту. Поиски продолжались целый день, и так как за это было обещано солидное вознаграждение, то в конце концов некий Джек Богарт вынырнул со дна, держа в руках тот самый фотографический аппарат, который Клайд упустил в воду, когда перевернулась лодка. Больше того: в аппарате обнаружили катушку с пленками, передали ее специалисту для проявления – и

оказалось, что это ряд снимков Роберты, сделанных на берегу: на одном она была снята сидящей на упавшем дереве, на другом – возле лодки на берегу, на третьем – пыталась дотянуться до ветвей дерева. Все снимки были тусклые, попорченные водой, но все-таки их можно было рассмотреть. И так как размеры наиболее широкой части аппарата точно соответствовали длине и ширине следов ушиба на лице Роберты, то теперь уже казалось бесспорным, что удалось найти орудие, которым Клайд нанес удар.

И, однако, никаких следов крови – ни на самом аппарате, ни на бортах и дне лодки, отправленной для обследования в Бриджбург, ни на коврике, покрывавшем ее дно.

Но тут Бэртон Бэрлей, парень очень и очень себе на уме, каких немало найдется в этой лесной глуши, стал раздумывать о том, что если потребуются неопровержимые улики, он, Бэртон, или кто-нибудь другой вполне свободно может порезать палец и оставить хоть несколько капель крови на борту лодки, или на коврике, или на фотографическом аппарате. Или, скажем, ничего не стоит взять два-три волоса с головы Роберты и намотать их на выступы аппарата или на уключину, за которую зацепилась ее вуаль. И вот, втайне и с должной серьезностью поразмыслив над этим, он решил побывать в морге братьев Луц и достать два-три волоска с головы Роберты. Ведь он был убежден, что Клайд совершенно хладнокровно убил девушку. Неужели из-за недостатка одной пустячной улики дать этому молчаливому, самонадеянному молодому подлецу благополучно вывернуться? Нет, уж лучше Бэрлей сам намотает волосы Роберты на уключину или засунет их в аппарат, а потом обратит внимание Мейсона на эту не замеченную ранее подробность.

И вот в тот же день, когда Хейт и Мейсон еще раз сами измеряли следы ушибов на лице и на голове утопленницы, Бэрлей исподтишка сунул несколько волосков Роберты в аппарат, между крышкой и объективом. Немного позже Мейсон и Хейт неожиданно обнаружили их, и хотя удивились, каким образом не заметили их прежде, но тем не менее сразу же усмотрели в этом окончательное доказательство виновности Клайда. И поэтому Мейсон объявил, что он как прокурор считает дело законченным. Он тщательно проследил каждый шаг преступника и, если понадобится, готов хоть завтра выступить перед судом.

Но как раз ввиду полноты доказательств он решил до поры до времени ничего не говорить об аппарате и, если возможно, закрыть рот всем, кто знал об этой находке. Допустим, Клайд будет все так же упорно отрицать, что имел при себе аппарат, его адвокат и подозревать не будет о существовании такой улики… какое убийственное впечатление – как гром среди ясного неба! – произведет тогда на суде этот аппарат, эти снимки Роберты, сделанные им самим, и полное совпадение размеров аппарата со следами удара на ее лице! Какие ясные, какие неопровержимые улики!

Поскольку Мейсон лично собрал все показания и улики и, следовательно, был самым подходящим человеком для того, чтобы о них доложить, он решил сообщить обо всем губернатору штата и получить разрешение на созыв чрезвычайной сессии Верховного суда для разбора дел этого округа вместе со специальной сессией местного совета присяжных, – тогда он, Мейсон, сможет созвать этот совет в любое время. Получив такое разрешение, он сумеет подобрать состав совета присяжных, и, если Клайда решат предать суду, можно будет через месяц-полтора начать процесс. И только себе одному Мейсон мог признаться, что этот процесс будет для него весьма кстати, принимая во внимание предстоящие в ноябре выборы и его затаенные надежды попасть в список кандидатов. Ведь без чрезвычайной сессии дело может быть рассмотрено лишь очередной сессией Верховного суда в январе, а к тому времени кончатся его прокурорские полномочия, и если даже он и будет избран на пост судьи, то все-таки не сможет сам вести это дело. А между тем жители округа настроены в высшей степени враждебно по отношению к Клайду, и в этих краях вряд ли найдется хоть один человек, которому не покажется справедливым ускорить суд. К чему откладывать? К чему давать такому преступнику отсрочку и возможность обдумать какой-то план спасения? Тем более что это громкое дело, безусловно, создает ему, Мейсону, юридическую, общественную и политическую славу во всей стране.

Глава 12

И вот из глуши северных лесов – уголовная сенсация первой величины. Налицо все волнующие, яркие, но в нравственном и религиозном смысле ужасные атрибуты: любовь, романтика, богатство, бедность, смерть. Издатели из числа тех, что мгновенно улавливают общенациональную значимость и интерес подобных преступлений, сейчас же заказали по телеграфу и напечатали красочные описания – где и как жил Клайд в Ликурге, с кем он был знаком, как ухитрился скрыть свои отношения с одной девушкой, одновременно обдумывая план бегства с другой. Из Нью-Йорка, Чикаго, Филадельфии, Бостона, Сан-Франциско и других больших американских городов на Востоке и на Западе непосредственно Мейсону или местным представителям «Ассошиэйтед пресс» или «Юнайтед пресс» сплошным потоком шли телеграммы с запросами о дальнейших подробностях преступления. Кто та красивая и богатая девушка, в которую, по слухам, влюблен этот Грифитс? Где она живет? Какие, в сущности, отношения были у нее с Клайдом? Однако Мейсон, питавший благоговейное почтение к богатству Финчли и Грифитсов, не желал называть имя Сондры и говорил лишь, что это дочь очень богатого ликургского фабриканта (кого именно – он не считает нужным сообщать); впрочем, он без колебаний показывал пачку писем, которую Клайд тщательно перевязал ленточкой.

Зато письма Роберты излагались очень подробно, и кое-какие выдержки из них, наиболее поэтические и горестные, были даже переданы в газеты для опубликования, ибо кто же мог оградить ее память… Их появление в печати вызвало волну ненависти к

Клайду и жалости к ней: бедная, скромная, одинокая девушка, у нее никого не было – только он, а он оказался жестоким, вероломным убийцей. Виселица – это еще, пожалуй, слишком хорошо для него! Дело в том, что по дороге на Медвежье озеро и обратно и все последующие дни Мейсон был погружен в чтение этих писем. Некоторые особенно трогательные строки, касавшиеся ее жизни дома, ее огорчений, тревог о будущем, ее явного одиночества и душевной усталости глубоко взволновали его, а он быстро заразил этим волнением других – жену, Хейта, местных репортеров, и последние в своих корреспонденциях из Бриджбурга очень живо, хотя и несколько искаженно, обрисовали Клайда – его упорное молчание, его угрюмость и жестокосердие.

Некий весьма романтически настроенный молодой репортер газеты «Стар» из Утики отправился на ферму Олденов и немедленно дал довольно точное описание исстрадавшейся и убитой горем миссис Олден: слишком измученная, чтобы негодовать или жаловаться, она просто и бесхитростно рассказала ему о том, как Роберта любила своих родителей, как она была скромна, добродетельна, набожна; как местный пастор методисткой церкви сказал однажды, что никогда он не встречал девушки разумнее, добрее и красивее; и как все годы, пока она не уехала из дому, она была поистине правой рукой матери. И уж, конечно, только потому, что ей жилось в Ликурге так трудно и одиноко, этот негодяй сумел заговорить ее сладкими речами и, обещая жениться, вовлек ее в недозволенные отношения (просто не верится, что это с нею все-таки было) – в связь, которая привела ее к смерти. Ведь она всегда была честная, чистая, нежная, добрая. «И подумать только, что она умерла! Никак не могу этому поверить».

Рассказ матери передавался так:

«Только в прошлый понедельник наша Роберта была здесь. Мне показалось, какая-то она грустная, но она улыбалась. Я тогда удивилась, почему это она и днем и вечером все ходит по ферме, разглядывает каждую вещицу, собирает цветы. А потом подошла, обняла меня и говорит; „Знаешь, мамочка, я хотела бы опять стать маленькой и чтобы ты взяла меня на руки и убаюкала, как когда-то“. А я ей говорю: „Что с тобой, Роберта? Почему ты сегодня такая грустная?“ А она отвечает: „Нет, ничего. Ты же знаешь, я завтра утром уезжаю. Поэтому у меня сегодня как-то смутно на душе“. И подумать только, что у нее на уме была эта поездка! Мне кажется, у нее было предчувствие, что все выйдет не так, как она ожидала. И подумать только, что он ударил мою девочку, которая никогда и мухи не обидела!»

Тут миссис Олден не удержалась и стала тихо плакать, а поодаль стоял безутешный Тайтус.

Но Грифитсы и другие представители высших кругов местного общества хранили упорное молчание. Что касается Сэмюэла Грифитса, то он сперва никак не мог понять и поверить, что Клайд оказался способен на такое страшное дело. Как?! Такой вежливый, робкий и, безусловно, приличный юноша обвинен в убийстве? Сэмюэл в это время находился довольно далеко от Ликурга – в Верхнем Саранаке, куда Гилберт с трудом дозвонился ему по телефону, и от неожиданности едва мог осмыслить услышанное, не говоря уже о том, чтобы действовать. Да нет же, это невозможно! Тут, наверно, какая-то ошибка. Наверно, Клайда приняли за кого-то другого.

Тем не менее Гилберт продолжал объяснять, что все это, безусловно, правда, поскольку девушка работала на фабрике в том отделении, которым заведовал Клайд, и у прокурора в Бриджбурге (Гилберт уже с ним беседовал) имеются письма, написанные погибшей девушкой Клайду, и Клайд даже и не пытается от них отречься.

– Ну, хорошо! – сказал Сэмюэл. – Но только ничего не предпринимай, не подумав, а главное, не говори об этом никому, кроме Смилли или Готбоя, пока я не приеду. Где Брукхарт? (Он говорил о Дарра Брукхарте, юрисконсульте фирмы «Грифитс и Кь»).

– Он теперь в Бостоне, – отвечал Гилберт. – Как будто он рассчитывал вернуться в понедельник или во вторник, не раньше.

– Телеграфируй ему, чтобы вернулся немедленно. Кстати, пускай Смилли попробует договориться с редакторами «Стар» и «Бикон», чтобы они до моего возвращения воздержались от всяких комментариев. Я буду завтра утром. Скажи ему еще, пускай возьмет машину и, если можно, сегодня же съездит туда (он подразумевал Бриджбург). Я должен знать из первых рук, в чем дело. Пусть он повидается с Клайдом, если удастся, и с этим прокурором и выяснит все, что можно. И пусть подберет все газеты. Я хочу сам посмотреть, что уже появилось в печати.

Примерно в то же время на даче Финчли на Двенадцатом озере Сондра, проведя два дня и две ночи в томительном и горьком раздумье о внезапной катастрофе, оборвавшей все ее девические грезы о Клайде, решила наконец признаться во всем отцу, к которому она была больше привязана, чем к матери. И она пошла в кабинет, где он обычно проводил время после обеда, читая или обдумывая свои дела. Но, не успев подойти к отцу, она стала всхлипывать: ее по-настоящему потрясло и крушение ее любви и страх, что скандал, готовый разразиться вокруг нее и ее семьи, может погубить ее тщеславные надежды и положение в обществе. Что скажет теперь мать, которая столько раз ее предостерегала? А отец? А Гилберт Грифитс и его невеста? А Крэнстоны, которые, за исключением Бертины, находившейся под ее влиянием, никогда не одобряли такой близости с Клайдом?

Услышав всхлипывания, отец изумленно поднял голову, совершенно не понимая, в чем дело. Но тотчас почувствовал, что случилось нечто очень страшное, поспешно обнял дочь и, стараясь утешить, зашептал:

– Ну, тише, тише! Бога ради, что случилось с моей девочкой? Кто ее обидел? Чем? Как?

И в полнейшей растерянности выслушал исповедь Сондры обо всем, что произошло: о ее первой встрече с Клайдом, о том, как он ей понравился, как к нему относились Грифитсы, о ее письмах, о ее любви… и, наконец, об этом ужасном обвинении и аресте. И вдруг все это правда! Повсюду станут трепать ее имя и имя ее папочки! И Сондра снова зарыдала так, точно сердце ее разрывалось… Но она хорошо знала, что в конце концов ей обеспечено и сочувствие отца и его прощение, как бы ни был он расстроен и огорчен.

Мистер Финчли, привыкший в своем доме к спокойствию, порядку, такту и здравому смыслу, удивленно и неодобрительно, хотя и не без участия, посмотрел на дочь и воскликнул:

– Ну и ну, вот так история! Ах, черт возьми! Я потрясен, дорогая моя. Я в себя не могу прийти. Это уж слишком, должен сказать. Обвинен в убийстве! И у него письма, написанные твоей рукой! Даже и не у него, а уже у прокурора, насколько можно понять. Ну и ну! Глупо, Сондра, черт знает, до чего глупо! Я еще несколько месяцев назад слышал об этом знакомстве от твоей матери и тогда поверил тебе больше, чем ей. А теперь смотри, как скверно вышло! Почему ты мне ничего не сказала? И почему не послушалась матери? Ты могла бы поговорить со мной обо всем раньше, а не ждать, пока это зайдет так далеко. А я думал, что мы с тобой понимаем друг друга. Твоя мать и я всегда делали все для твоего блага, ты же знаешь. И к тому же, честное слово, я думал, что у тебя больше здравого смысла. Но чтобы ты была замешана в деле об убийстве! Боже мой!

Он порывисто поднялся – красивый блондин в безукоризненном костюме – и начал расхаживать взад и вперед, с досадой пощелкивая пальцами, а Сондра продолжала плакать. Вдруг он остановился и снова заговорил:

– Ну, будет, будет! Что толку плакать? Слезами тут не поможешь. Конечно, мы это как-нибудь переживем. Не знаю, не знаю… не представляю, как это на тебе отразится. Ясно одно: мы должны что-то предпринять в связи с этими письмами.

Сондра все плакала, а мистер Финчли начал с того, что вызвал жену, чтобы объяснить ей, какого рода удар нанесен их положению в обществе; удар этот оставил в памяти миссис Финчли неизгладимый след до конца ее дней. Потом мистер Финчли позвонил Легеру Эттербери – адвокату, сенатору штата, председателю центрального комитета республиканской партии в штате и постоянному своему личному юрисконсульту, – объяснил ему, в каком крайне затруднительном положении оказалась Сондра, и попросил посоветовать, что теперь следует предпринять.

– Дайте-ка сообразить, – ответил Эттербери. – На вашем месте я бы не слишком беспокоился, мистер Финчли. Я думаю, что смогу уладить это дело, прежде чем оно получит неприятную огласку. Дайте подумать… Кто у них там в Катараки прокурор? Я это выясню, переговорю с ними и сразу вам позвоню. Но вы не беспокойтесь, будьте уверены, – я сумею кое-что сделать. Во всяком случае, обещаю вам, что эти письма не попадут в газеты. Может быть, они даже не будут предъявлены суду, – хотя в этом я не уверен. Но я, безусловно, сумею устроить, чтобы имя вашей дочери не упоминалось, – так что вы не беспокойтесь.

А затем Эттербери позвонил Мейсону, фамилию которого нашел в юридическом адрес-календаре, и условился о личном свидании; по мнению Мейсона, письма эти были чрезвычайно важны для дела, однако голос Эттербери произвел на него сильнейшее впечатление, и он поспешил объяснить, что вовсе и не собирался предавать огласке имя Сондры или ее письма, а думал лишь сохранить их для рассмотрения при закрытых дверях в том случае, если Клайд не предпочтет сознаться и избегнуть предварительного разбора дела советом присяжных.

Эттербери вторично переговорил с Финчли-отцом, убедился, что тот решительно против какого бы то ни было использования писем дочери или упоминания ее имени, и пообещал ему завтра же или послезавтра лично отправиться в Бриджбург с некоторыми политическими сообщениями и планами, которые заставят Мейсона всерьез подумать, прежде чем он решится в какой-либо форме упомянуть о Сондре.

А затем, после надлежащего обсуждения, на семейном совете было решено, что миссис Финчли, Стюарт и Сондра немедленно, без всяких объяснений и прощальных слов уедут на побережье, куда-нибудь подальше от знакомых. Сам мистер Финчли предполагал вернуться в Ликург и Олбани. Неблагоразумно кому-либо из них оставаться там, где их могли бы застигнуть репортеры или расспрашивать друзья. И затем – бегство семьи Финчли в Наррагансет, где они скрывались полтора месяца под фамилией Уилсон. И по той же причине срочный отъезд Крэнстонов на один из тысячи островов, где, по их мнению, можно было сносно провести остаток лета. Гарриэты и Бэготы делали вид, что они не настолько скомпрометированы, чтобы им стоило беспокоиться, и продолжали оставаться на Двенадцатом озере. Но все толковали о Сондре и Клайде, о его ужасном преступлении и о том, что репутация всех, кто так или иначе, без всякой своей вины, запятнан каким-то касательством к этому делу, может погибнуть безвозвратно.

А тем временем Смилли, по указанию Грифитсов, отправился в Бриджбург и после двухчасовой беседы с Мейсоном получил разрешение навестить Клайда в тюрьме и переговорить с ним наедине в его камере. Смилли пояснил, что Грифитсы пока не намерены организовать защиту Клайда, а хотят лишь выяснить, возможна ли вообще при данных обстоятельствах какая-либо защита. И Мейсон настойчиво посоветовал Смилли убедить Клайда сознаться, ибо, утверждал он, нет ни малейших сомнений в его виновности, а длительный судебный процесс только будет стоить округу больших денег, без всякой пользы для Клайда; между тем, если он во всем признается, могут найтись какие-нибудь смягчающие обстоятельства, и во всяком случае удастся предотвратить появление этого общественного скандала в раздутом виде на страницах газет.

Итак, Смилли направился в камеру, где Клайд мрачно и безнадежно раздумывал, как ему быть дальше. При одном упоминании имени Смилли его передернуло, словно от удара; Грифитсы – Сэмюэл Грифитс и Гилберт! Их личный представитель. Что же теперь говорить? Без сомнения, рассуждал он, Смилли, поговорив с Мейсоном, считает его, Клайда, виновным. Что же сказать? Правду или нет? Но пока он пытался что-то обдумать и сообразить, Смилли уже входил в дверь.

Облизнув сухие губы, Клайд с усилием выговорил:

– Здравствуйте, мистер Смилли!

И тот ответил с деланной сердечностью:

– Добрый день, Клайд! Грустно, что вас засадили в такое место. – И затем продолжал: – Газеты и здешний прокурор не скупятся на всевозможные россказни о вас, но, я думаю, все это не так страшно. Тут, конечно, какая-то ошибка. Я для того и приехал, чтобы это выяснить. Ваш дядя сегодня утром по телефону поручил мне повидаться с вами и узнать, почему вас вздумали засадить. Вы и сами понимаете, каково сейчас вашим родственникам. Они поручили мне все точно узнать и, если возможно, прекратить дело. Поэтому, если вы расскажете мне все подробно… понимаете ли… я хочу сказать…

Смилли остановился. И по всему, что он сейчас слышал от прокурора, и по тому, как замкнуто держался Клайд, он понял: вряд ли тот может многое сообщить в свое оправдание.

А Клайд, еще раз облизнув запекшиеся губы, начал:

– Похоже, что все складывается очень плохо для меня, мистер Смилли. Я никак не думал, когда познакомился с мисс Олден, что попаду в такую беду. Но я не убивал ее: бог свидетель, это чистая правда. У меня никогда не было желания убить ее, и я не хотел вести ее на это озеро. Это правда, и я говорил это прокурору. Я знаю, у него есть ее письма ко мне, но они доказывают только то, что она хотела уехать со мной, а вовсе не то, что я хотел с ней ехать…

Он замолчал, ожидая, что Смилли как-либо обнаружит доверие к его словам. А Смилли, видя, что объяснение Клайда совпадает со словами Мейсона, но стараясь успокоить его, сказал только:

– Да, знаю, Мейсон мне сейчас показывал их.

– Я знал, что он покажет, – тихо продолжал Клайд. – Но знаете, мистер Смилли, как иной раз получается. – Опасаясь, как бы шериф или Краут не подслушали его, он совсем понизил голос. – Можно попасть в такую историю с девушкой, даже если сначала вовсе об этом и не думаешь. Вы сами знаете. Я сперва любил Роберту, это правда, и я был с ней в связи, – это видно из ее писем. Но вы ведь знаете, какое правило на фабрике: заведующий отделением не может иметь ничего общего с работницами. Ну вот, мне кажется, с этого и начались все мои неприятности. Понимаете? Я боялся, как бы кто-нибудь об этом не узнал.

– Да, понятно.

И вот, видя, что Смилли как будто слушает его сочувственно, Клайд постепенно успокоился, напряженный тон его стал более естественным, и он рассказал почти всю историю своей близости с Робертой и постарался оправдаться. Но ни слова о

фотографическом аппарате, о двух шляпах, об исчезнувшем костюме – обо всем, что непрестанно, безмерно волновало его. В самом деле, как он мог бы все это объяснить? В заключение Смилли, знавший обо всем от Мейсона, спросил:

– А как насчет этих двух шляп, Клайд? Мейсон говорит, вы признали, что у вас было две шляпы: та, которую нашли на озере, и та, в которой вы шли оттуда.

Он ждал ответа, а отвечать было нечего – и Клайд сказал:

– Они ошибаются, мистер Смилли. Когда я шел оттуда, на мне была не соломенная шляпа, а кепка.

– Понимаю. Но он говорит, что на Медвежьем озере у вас все-таки была соломенная шляпа.

– Да, была, но ведь я сказал ему, это была другая шляпа, я в ней приезжал к Крэнстонам в первый раз. Я ему говорил. Я тогда забыл ее у них.

– Так, понятно. Потом тут еще что-то с костюмом, – серый костюм, кажется. Мейсон говорит, что вас тогда видели в нем, а теперь его не могут найти. Был у вас такой костюм?

– Нет. Я был в синем костюме, в котором меня привезли сюда. Потом его у меня забрали и дали мне вот этот.

– Но, по его словам, вы сказали, что в Шейроне отдавали синий костюм в чистку, а он никого не мог там найти, кто бы об этом знал. Как это получилось? Вы действительно отдавали его чистить?

– Да, сэр.

– Кому же?

– Ну, я просто не помню теперь. Но, наверно, я мог бы найти этого портного, если бы попал туда опять. Это около вокзала.

Но при этих словах он опустил глаза, чтобы не встретиться взглядом со Смилли.

Потом Смилли, как прежде Мейсон, стал спрашивать о чемодане, который Клайд взял с собой в лодку, и о том, почему, если Клайд сумел доплыть до берега в башмаках и костюме, он не подплыл к Роберте и не помог ей уцепиться за перевернутую лодку? Клайд объяснил, как и раньше, что боялся, как бы она не потащила его ко дну. Но теперь он впервые прибавил, что крикнул ей, чтобы она ухватилась за лодку, а прежде он говорил, будто лодку отнесло от них, и Смилли знал об этом от Мейсона. А в связи с рассказом Клайда, будто ветер сорвал с него шляпу, Мейсон выразил готовность доказать при помощи свидетелей, а также и правительственных метеорологических бюллетеней, что день был тихий, без малейшего намека на ветер. Итак, очевидно, Клайд лгал. Вся эта его история была шита белыми нитками. Но Смилли, не желая его смущать, только повторял: «Ага, понимаю», или: «Ну конечно», или: «Значит, вот как это было!»

Наконец Смилли спросил о следах ударов на лице и голове Роберты. Мейсон обратил на них его внимание, утверждая, что один удар бортом лодки не мог бы нанести повреждений в обоих местах. А Клайд уверял, что, опрокидываясь, лодка ударила Роберту только один раз и от этого все раны и ушибы, – иначе он просто не представляет, откуда они взялись. Но он и сам начал понимать, как безнадежно жалко звучит это объяснение. По огорченному и смущенному виду Смилли было ясно, что он ему не поверил. Смилли явно и несомненно считает подлой трусостью со стороны Клайда, что он не пришел на помощь Роберте. Он дал ей погибнуть – и трусость в этом случае весьма слабое оправдание.

Наконец Клайд замолчал, – он слишком измучился и пал духом, чтобы лгать дальше. А Смилли, настолько огорченный и расстроенный, что у него не было ни малейшего желания приводить Клайда в замешательство дальнейшими расспросами, беспокойно ерзал на стуле, мялся и наконец заявил:

– Ну, Клайд, боюсь, что мне пора. Дорога отсюда до Шейрона препаршивая. Очень рад, что услышал всю эту историю в вашем освещении. Я в точности передам вашему дяде все, что вы мне рассказали. Но пока что я на вашем месте по возможности ничего больше не стал бы говорить, – подождите, пока не получите от меня дальнейших известий. Мне поручено найти здесь адвоката, который мог бы вести ваше дело. Но так как уже поздно, а мистер Брукхарт – наш главный юрисконсульт – завтра вернется, я думаю, лучше подождать и поговорить с ним. Так что, если хотите послушать моего совета, просто-напросто ничего больше не говорите, пока не получите известий от меня или от него. Либо он приедет сам, либо пришлет кого-нибудь; тот, кто к вам явится, привезет от меня письмо и даст вам указания насчет дальнейшего.

После этих наставлений он распрощался, представив Клайда его одиноким мыслям. Но у самого Смилли не осталось ни малейшего сомнения в виновности Клайда и в том, что лишь грифитсовские миллионы – если Грифитсы пожелают тратить их на это – могут спасти Клайда от несомненно заслуженной им роковой участи.

Глава 13

А на следующее утро в просторной гостиной своего особняка на Уикиги-авеню Сэмюэл Грифитс в присутствии Гилберта выслушал подробный отчет Смилли о его свидании с Клайдом и с Мейсоном. Смилли доложил обо всем, что видел и слышал. И Гилберт Грифитс, неимоверно взволнованный и разъяренный всем этим, воскликнул:

– Вот мерзкая тварь! Гаденыш! Видишь, отец, говорил я тебе! Я ведь тебя предупреждал, чтобы ты не брал его сюда!

И Сэмюэл Грифитс после некоторого размышления над этим намеком на свою прежнюю безрассудную симпатию к Клайду посмотрел на Гилберта выразительным и глубоко огорченным взглядом, говорившим: «Для чего мы собрались здесь, что нам следует обсудить, – неразумность моих первоначальных, хоть и нелепых, но добрых намерений или создавшееся критическое положение?» А Гилберт думал: «Убийца! А эта несчастная зазнайка Сондра Финчли хотела что-то из него сделать, больше всего – чтобы позлить меня, – и только сама себя запятнала. Вот дура! Ну, так ей и надо. Теперь и на ее долю хватит грязи». Но и у него, и у отца, и у всех тоже будут бесконечные неприятности. Весьма вероятно, что этот скандал ляжет несмываемым пятном на всех – на него, на его невесту, на Беллу, Майру и родителей, и, пожалуй, будет стоить им положения в ликургском обществе. Трагедия! Может быть, казнь! И это в их семье!

А Сэмюэл Грифитс, со своей стороны, припоминал все, что произошло с тех пор, как Клайд приехал в Ликург.

Сначала его заставили работать в подвале, и семья Грифитс не обращала на него никакого внимания. Целых восемь месяцев он был предоставлен самому себе. Не могло ли это быть по меньшей мере одной из причин всего этого ужаса? А потом его сделали начальником над двадцатью молодыми девушками! Разве это не было ошибкой? Теперь Сэмюэл ясно это понимал, хотя, конечно, ни в коей мере не прощал того, что сделал Клайд – отнюдь нет. Какая низменная натура! Какая невоздержанность в плотских желаниях! Какое не знающее удержу зверство: обольстить ту девушку и потом из-за Сондры, из-за прелестной маленькой Сондры задумать от нее отделаться! А теперь он в тюрьме и, по словам Смилли, не может придумать ничего лучшего для объяснения всех этих поразительных обстоятельств, кроме уверений, что он вовсе не намерен был убивать ее, даже и не думал об этом, и что от ветра у него слетела шляпа! До чего жалкая выдумка! И никакого правдоподобного объяснения насчет двух шляп или исчезнувшего костюма или насчет того, почему он не пришел на помощь утопающей девушке. А следы удара на ее лице

– откуда они? С какой силой все это доказывает его виновность!

– Боже мой! – воскликнул Гилберт. – Неужели он не мог выдумать ничего лучшего, болван!

И Смилли ответил, что это все, чего он добился от Клайда, и что мистер Мейсон безоговорочно и вполне беспристрастно убежден в его виновности.

– Ужасно! Ужасно! – твердил Сэмюэл. – Я просто не могу этого понять, не могу! Не представляю, как человек, близкий мне по крови, мог совершить подобное преступление!..

В страхе и отчаянии он поднялся и зашагал из угла в угол. Семья! Гилберт и его будущее! Белла со всеми ее честолюбивыми мечтами! И Сондра! И все семейство Финчли!

Он сжал кулаки. Нахмурил брови и закусил губы. По временам он взглядывал на Смилли – тот, безупречный и вылощенный, обнаруживал все же крайнее душевное напряжение и мрачно покачивал головой всякий раз, как Грифитс смотрел на него.

Еще добрых полтора часа Грифитс-старший спрашивал и переспрашивал Смилли, возможно ли какое-либо другое истолкование сообщенных им фактов; и наконец, помолчав, заявил:

– Ну, должен сказать, выглядит это прескверно. Однако, несмотря на все, что вы рассказали, я не могу бесповоротно его осудить, имеющихся у меня данных для этого недостаточно. Может быть, есть еще какие-нибудь факты, которые пока не всплыли на поверхность, – ведь вы говорите, что он о многих вещах не сказал ни слова… может быть, есть какие-то неизвестные нам подробности… какое-то, хоть слабое, оправдание… иначе все это приобретает вид самого чудовищного преступления. Мистер Брукхарт приехал из Бостона?

– Да, сэр, он здесь, – ответил Гилберт. – Он говорил с мистером Смилли по телефону.

– Хорошо. Пусть он придет сюда ко мне сегодня в два часа. Я слишком устал и сейчас больше не могу об этом говорить. Расскажите ему все, что вы рассказали мне, Смилли. А к двум часам возвращайтесь с ним сюда. Может быть, он подскажет нам что-нибудь стоящее, хотя я просто не представляю, что именно. Одно хочу сказать: я надеюсь, что Клайд не виновен. И я хочу сделать все возможное, чтобы выяснить, виновен он или нет, и, если нет, – защищать его, насколько допускает закон. Но не больше. Никаких попыток спасти того, кто виновен в подобном преступлении, – нет, нет и нет! – даже если он и мой племянник. Это не по мне! Я не такой человек! Будь что будет

– любые неприятности, любой позор, – я сделаю все возможное, чтобы помочь ему, если он не виновен, если есть хоть малейшее основание в это верить. Но если виновен – нет! Никогда! Если этот малый действительно виновен, он должен получить по заслугам. Ни доллара, ни одного пенни я не потрачу ради того, кто мог совершить подобное преступление, даже если он мне и племянник!

Сэмюэл Грифитс повернулся и медленно, тяжелой походкой направился к лестнице в глубине комнаты, а Смилли, широко раскрыв глаза, почтительно смотрел ему вслед. Какая сила! Какая решительность! Какая справедливость в столь критических обстоятельствах! И Гилберт, тоже пораженный, сидел неподвижно, уставясь в пространство. Да, отец – это человек. Он может быть жестоко оскорблен и огорчен, но, в отличие от него, Гилберта, отнюдь не мелочен и не мстителен.

А затем явился мистер Дарра Брукхарт: крупный, прекрасно одетый, упитанный, тяжеловесный и осторожный адвокат; один глаз его был наполовину закрыт опустившимся веком, брюшко изрядно выпячивалось, и создавалось впечатление, что мистер Брукхарт, наподобие воздушного шара, если не телом, то духом витает в выси в некоей весьма разреженной атмосфере, где малейшее веяние любых юридических прецедентов, толкований или решений легко перебрасывает его то туда, то сюда. При отсутствии дополнительных фактов виновность Клайда казалась ему очевидной. Даже если и не так, решил он, внимательно выслушав отчет. Смилли обо всех подозрительных и уличающих Клайда обстоятельствах, все равно построить сколько-нибудь удовлетворительную защиту будет очень трудно, разве что существуют какие-нибудь до сих пор не обнаруженные факты, благоприятные для обвиняемого. Эти две шляпы, чемодан… Бегство… И эти письма… Но он предпочел бы сам их прочитать. Судя по уже известным обстоятельствам дела, публика, безусловно, будет настроена против Клайда и в пользу погибшей девушки. За нее – ее бедность, ее принадлежность к рабочему классу. Все это делает почти невозможным благоприятный приговор присяжных в таком глухом лесном округе, как Бриджбург. Ведь хотя сам Клайд и беден, он племянник богатого человека и до сих пор занимал известное положение в высшем обществе Ликурга. Это, несомненно, восстановит против него весь здешний люд. Поэтому следовало бы хлопотать об изменении места подсудности, чтобы такого рода предубеждение не повлияло на приговор.

Но, с другой стороны, сначала он должен послать опытного в перекрестных допросах юриста, который взял бы на себя защиту и сумел бы выпытать у Клайда все факты, сославшись на то, что от его правдивых ответов зависит его жизнь, – без этого никак нельзя сказать, есть ли какая-нибудь надежда. Среди его помощников имеется некто Кетчумен, очень способный человек, которого можно направить с подобной миссией, и на основании его донесения можно будет сделать разумные выводы по делу Клайда. Однако в этом деле имеются еще и другие обстоятельства, которые, на его взгляд, следует тщательно взвесить, прежде чем принять какое-либо решение. Как мистеру Грифитсу и его сыну, разумеется, известно, в Утике, Нью-Йорке и Олбани есть адвокаты, весьма сведущие во всяких тонкостях и каверзах уголовного права (в частности, ему приходят на память братья Кэнаван из Олбани, очень способные, хотя и несколько подозрительные личности). Без сомнения, любой из них, – как бы он в первую минуту ни посмотрел на это дело, – за соответствующее вознаграждение возьмет на себя защиту. И, без сомнения, перенеся разбирательство в другой округ и прибегнув ко всякого рода запросам, апелляциям и прочее, они могли бы затянуть дело и в конечном счете добиться менее сурового решения, нежели смертный приговор, если это угодно главе достопочтенного семейства Грифитс. С другой стороны, безусловно, столь бурный и спорный процесс вызовет огромную газетную шумиху, – а желательно ли это мистеру Сэмюэлу Грифитсу? Ведь обстоятельства таковы, что, вероятно, станут говорить, – несправедливо, разумеется, – будто он, пользуясь своим богатством, старается обойти правосудие. Публика в подобных случаях бывает крайне предубеждена против богатых людей. И, однако, она наверняка будет ждать, что Грифитсы так или иначе постараются защитить Клайда, хотя потом, может быть, и станет критиковать их за это.

Следовательно, мистеру Грифитсу и его сыну необходимо теперь же решить, как именно они предпочитают действовать: пригласить ли выдающихся юристов, вроде тех двоих, о которых он упоминал, или же не столь крупных адвокатов, или обойтись без этого. Ведь, разумеется, можно, не возбуждая особого внимания, обеспечить Клайду толкового и осторожного юриста, выступающего обычно защитником на процессах, – скажем, кого-нибудь из живущих и практикующих в Бриджбурге, – и он обязан будет позаботиться о том, чтобы в газетах появлялось возможно меньше крикливых, непозволительных выпадов по адресу семьи Грифитс.

И, наконец, после трехчасового совещания Сэмюэл решил, что мистер Брукхарт немедленно отправит своего мистера Кетчумена в Бриджбург: пусть тот побеседует с Клайдом, а затем, каковы бы ни были его выводы относительно, виновности или невиновности Клайда, пусть выберет из числа местных юридических талантов, хотя бы на первое время, такого адвоката, который наилучшим и наичестнейшим образом сможет защитить его интересы. Однако мистеру Кетчумену не следует давать никаких гарантий относительно размеров вознаграждения, и он должен только заставить Клайда сказать правду в связи с

предъявленным ему обвинением – не больше. А потом нужно будет позаботиться о такой защите, которая добросовестно стремилась бы установить все факты, действительно благоприятные для Клайда, – но только факты: короче говоря, никаких юридических хитростей, казуистики или плутовства в какой-либо форме, никаких попыток объявить невинным виновного и обмануть правосудие.

Глава 14

Мистер Кетчумен, однако, сумел узнать от Клайда ничуть не больше, чем Мейсон и Смилли. Весьма искусный там, где надо было по чьим-то путаным показаниям составить наиболее верное представление о факте, он не столь успешно разбирался в области чувств, что было необходимо в случае с Клайдом. Он был слишком строгим законником, холодным и бесстрастным. А потому, промучив Клайда четыре долгих часа в жаркий июльский день, он под конец вынужден был отступиться, убежденный, что свет еще не видал злоумышленника, столь жалкого, неумелого и неловкого, как этот Клайд Грифитс.

В свое время, после отъезда Смилли, Мейсон отправился с Клайдом на озеро Большой Выпи и там разыскал штатив и фотографический аппарат, а кроме того, выслушал от Клайда еще немало лжи. Теперь он сообщил Кетчумену, что хотя Клайд и утверждает, будто у него не было фотографического аппарата, однако он, Мейсон, имеет доказательства противного: аппарат у Клайда был, и он взял его с собою, когда уезжал из Ликурга. Однако на вопрос Кетчумена Клайд только и сумел ответить, что аппарата он с собою не брал и что найденный штатив вовсе не от его аппарата; ложь эта безмерно возмутила Кетчумена, и он решил больше ни о чем с ним не спорить.

Однако Брукхарт поручил Кетчумену, каковы бы ни были его личные выводы насчет Клайда, выбрать для него адвоката, – это необходимо, поскольку речь идет по меньшей мере о милосердии Грифитсов, если не об их чести, а Грифитсы западные, как уже объяснил ему Брукхарт, не имеют ни гроша и вообще нежелательно впутывать их в это дело. Поэтому Кетчумен решил найти защитника до своего отъезда. И, совершенно не разбираясь в местной политической ситуации, он отправился к Айре Келлогу, директору национального банка округа Катараки; Келлог (Кетчумен этого не знал) был одним из видных деятелей местной организации демократической партии. В силу своих религиозных и моральных воззрений этот Келлог был крайне возмущен преступлением, в котором обвиняли Клайда. Но, с другой стороны, он прекрасно знал, что дело это прокладывает путь для новых успехов республиканской партии на приближающихся выборах, и, поразмыслив, решил: не следует упускать возможность как-то противодействовать Мейсону. Судьба в образе Клайда и совершенного им преступления явно благоприятствовала республиканской партийной машине.

Суть в том, что с тех пор, как было обнаружено это убийство, Мейсон стал пользоваться такой широкой известностью чуть ли не по всей стране, какой с незапамятных времен не знавал ни один прокурор в этих краях. Корреспонденты газет, репортеры, художники из таких отдаленных городов, как Буффало, Рочестер, Чикаго, Нью-Йорк и Бостон, приезжали сюда, чтобы проинтервьюировать, зарисовать или сфотографировать Клайда, Мейсона, оставшихся в живых членов семьи Олден и прочих, – и все это знали и видели. А в местном обществе Мейсон стал объектом единодушного восхваления, и даже избиратели-демократы по всей провинции присоединялись в этом отношении к республиканцам, утверждая, что Мейсон человек правильный, что он обращается с убийцей в точности так, как тот заслуживает, и что все деньги и положение Грифитсов и семьи той богатой девушки, которую, как видно, преступник пытался покорить, нимало не повлияли на этого народного трибуна. Вот это настоящий прокурор! «Уж, будьте уверены, этот время зря терять не станет!»

И действительно, перед приездом Кетчумена следователь и понятые в присутствии и даже под руководством Мейсона рассмотрели обстоятельства смерти Роберты и порешили, что девушка умерла в результате преступления, задуманного и осуществленного неким Клайдом Грифитсом, находящимся в настоящее время в бриджбургской тюрьме, где он и должен оставаться в ожидании решения окружного совета присяжных, на рассмотрение которого должно быть представлено в ближайшем будущем его дело. И Мейсон, как уже всем было известно, намеревался просить губернатора о созыве чрезвычайной сессии Верховного суда, а следовательно, и о немедленном созыве сессии окружного совета присяжных, с тем чтобы совет рассмотрел все показания и улики и решил вопрос о предании Клайда суду или о его освобождении. И тут-то является Кетчумен и спрашивает, нельзя ли подыскать способного адвоката, которому можно поручить защиту Клайда. Радуясь случаю нейтрализовать деятельность Мейсона, Келлог сразу подумал о некоем Элвине Белнепе («Белнеп и Джефсон, адвокаты»); он уже дважды был сенатором штата, три раза представителем демократической партии в совете округа, и в последнее время многие видные демократы считали, что его следует выдвинуть на один из самых высоких постов, как только демократической партии удастся взять в свои руки административный аппарат округа. В самом деле, всего три года назад в борьбе за пост прокурора этот Белнеп был самым опасным соперником Мейсона из всех кандидатов демократического списка. В политическом отношении он был настолько подходящий человек, что в этом году его собирались выдвинуть кандидатом на то самое место окружного судьи, на которое рассчитывал Мейсон. И если бы не неожиданные и поразительные события, связанные с Клайдом, Белнеп, по общему мнению, попав в списки кандидатов, был бы избран. Мистер Келлог не потрудился объяснить Кетчумену все сложные детали этой весьма любопытной политической ситуации, но сообщил, что в качестве оппонента Мейсону Белнеп – человек исключительно подходящий, почти идеальный.

После этого небольшого предисловия Келлог предложил лично проводить Кетчумена в контору «Белнеп и Джефсон», которая помещалась напротив.

Они постучались к Белнепу; их впустил очень симпатичный с виду человек, лет сорока восьми, подвижный, среднего роста; его серо-голубые глаза сразу показались Кетчумену окнами, из которых смотрел явно проницательный, хотя, может быть, и не слишком могучий и разносторонний ум.

Белнеп умел так себя держать, что все окружающие уважали его. Он окончил университет. В юности благодаря своей внешности, состоянию и общественному положению (его отец был судья и сенатор) он вдоволь насладился тем, что можно назвать жизнью искателя приключений, и «потому вся эта неловкость и связанность, страстные порывы и тяготение к другому полу – то, что все еще волновало Мейсона и нередко решающим образом влияло на его поведение, – для Белнепа давно отошло в прошлое; душевная уравновешенность и терпимость позволяли ему недурно разбираться в морально и социально запутанных (но не чересчур уж из ряда вон выходящих) случаях, которые встречались ему в жизни.

Конечно, этот человек по самой природе своей способен был подойти к такому делу, как дело Клайда, без неистовой страстности Мейсона. Он сам, когда ему было двадцать лет, попал в трудное положение, оказавшись между двумя девушками: с одной он только играл, а в другую был серьезно влюблен. Соблазнив первую и оказавшись перед нелегким выбором – жениться или бежать, – он выбрал бегство. Но прежде рассказал обо всем отцу, и тот посоветовал ему уехать в отпуск, а тем временем обратились к услугам домашнего врача; в результате, затратив тысячу долларов и оплатив необходимые расходы на устройство беременной подружки сына в Утике, отец в конце концов выручил Элвина из затруднительного положения и сделал возможным его возвращение, а затем и женитьбу на другой девушке.

Поэтому, хотя Белнеп отнюдь не сочувствовал более жестокому и решительному образу действий, при помощи которого Клайд, если верить обвинению, пытался избежать ответственности (никогда за все годы своей юридической практики Белнеп не мог постичь психологию убийцы), все же он склонялся к мысли, что Клайд был ослеплен и околдован любовью. Ходили же слухи о его романе с какой-то богатой девушкой, чье имя пока не предавалось огласке. И разве не был он беден, тщеславен и честолюбив? По слухам, так оно и было, и Белнеп подумывал даже, что при создавшемся в округе политическом положении он мог бы, к немалой выгоде для себя и, пожалуй, к большому разочарованию мистера Мейсона, неплохо построить защиту или по крайней мере создать ряд судебных препирательств и отсрочек, ввиду которых мистеру Мейсону будет не так легко заграбастать должность судьи округа, как он воображает. Разве нельзя сейчас при помощи энергичных юридических приемов, несмотря на нарастающую враждебность общества и даже именно из-за нее, ходатайствовать о перенесении разбора дела в другой округ или же об отсрочке, нужной для подбора новых показаний? В этом случае процесс начнется только тогда, когда Мейсон уже не будет прокурором. Белнеп вместе со своим компаньоном, молодым юристом Рубеном Джефсоном, недавно переехавшим из штата Вермонт, уже думал об этом.

И вот явился мистер Кетчумен в сопровождении мистера Келлога. И затем совещание с мистером Кетчуменом и Келлогом, причем последний, ссылаясь на политическую ситуацию, доказывал, что Белнеп поступил весьма благоразумно, взяв на себя защиту. И поскольку Белнеп сам был крайне заинтересован этим делом, он, посовещавшись со своим молодым компаньоном, быстро согласился. В конечном счете это не может повредить его политической карьере, как бы ни была сейчас настроена публика.

А после того, как Кетчумен вручил Белнепу задаток и рекомендательное письмо к Клайду, Белнеп попросил Джефсона вызвать по телефону Мейсона и сообщить ему, что «Белнеп и Джефсон», как адвокаты, которым Сэмюэл Грифитс поручил защиту своего племянника, ожидают от него, Мейсона, подробного письменного сообщения обо всех предъявленных Клайду Грифитсу обвинениях, равно как и обо всех свидетельских показаниях и уликах, и просят познакомить их с протоколами вскрытия трупа и донесением следователя. Их интересует также, возбуждено ли ходатайство о внеочередной сессии Верховного суда, и если таковая состоится, то какой назначен судья и где и когда соберется совет присяжных. Кстати, прибавил Белнеп, они слышали, что тело мисс Олден уже отправлено на ее родину для погребения, – так вот, он и его коллега Джефсон просят о немедленном разрешении вырыть тело из земли, чтобы его могли теперь осмотреть врачи, приглашенные защитой.

Мейсон сперва запротестовал, но в конце концов согласился, так как ему все равно пришлось бы подчиниться соответствующему распоряжению председателя Верховного суда.

Когда все это было улажено, Белнеп заявил, что он отправляется в тюрьму для свидания с Клайдом. Час был поздний, а он еще не обедал, и ему теперь негде было пообедать, но он хотел потолковать по душам с этим юношей, от которого, по словам Кетчумена, ничего не удавалось добиться. Белнепа подгоняло желание потягаться с Мейсоном и убеждение, что благодаря особенностям своего характера он наилучшим образом поймет Клайда, и его профессиональное любопытство было возбуждено до предела. Сколько романтики и драматизма в этом преступлении! Что за девушка эта Сондра Финчли, о которой ему уже рассказали под большим секретом? Нельзя ли как-нибудь привлечь ее к защите Клайда? Ему уже сообщили, что ее имя не должно быть упомянуто, – этого требуют интересы высокой политики. Ему и в самом деле не терпелось поговорить с этим хитрым, честолюбивым и легкомысленным юношей.

Придя в тюрьму и показав шерифу Слэку письмо от Кетчумена, Белнеп попросил, чтобы его в виде особого одолжения провели в такое место подле камеры Клайда, откуда он мог бы сперва, оставаясь незамеченным, понаблюдать за арестованным. Поэтому Белнепа потихоньку повели во второй этаж, открыли дверь в коридор, куда выходила камера Клайда, и позволили войти туда

одному. Подойдя к камере на расстояние нескольких шагов, он увидел Клайда, который в эту минуту лежал на железной койке лицом вниз, охватив голову руками; все его тело безвольно обмякло; рядом стоял поднос с нетронутой едой. Дело в том, что после ухода Кетчумена и второй безуспешной попытки убедить кого-то своей пустой и бессмысленной ложью Клайд совсем приуныл. Он настолько пал духом, что лежал на койке, заливаясь слезами, и плечи его вздрагивали от беззвучных рыданий. Увидев это и вспомнив свои собственные юношеские проделки, Белнеп ощутил острую жалость. Бездушный убийца не станет плакать, решил он.

Он подошел к двери камеры и, немного помедлив, заговорил:

– Ну, ну, Клайд! Это совсем ни к чему. Нельзя так падать духом. Ваше дело, может быть, не так уж безнадежно, как вы думаете. Садитесь-ка и потолкуйте с адвокатом, которому кажется, что он может для вас кое-что сделать, – хотите? Меня зовут Белнеп, Элвин Белнеп. Я живу тут, в Бриджбурге, и меня прислал к вам этот парень, который недавно был у вас, – как его, Кетчумен, что ли? Вам он как будто не очень пришелся по душе? Ну, мне тоже. Он, я думаю, человек не нашего склада. Но вот письмо, которым он уполномочивает меня быть вашим защитником. Хотите взглянуть?

Он сказал все это весело и уверенно и протянул письмо сквозь железную решетку, к которой нерешительно и с любопытством подошел Клайд. Голос этого человека звучал как-то очень искренне, непривычно, в нем было как будто и сочувствие и понимание, и это придало Клайду храбрости. Он без колебаний взял письмо, просмотрел его и вернул с улыбкой.

– Ну вот, я так и думал, – продолжал Белнеп ободряюще, очень довольный произведенным эффектом, который он целиком приписал своему личному обаянию. – Так-то лучше. Я знаю, мы с вами поладим. Я это чувствую. Вы можете говорить со мной так же свободно и доверчиво, как с собственной матерью. И вам нечего опасаться, что хоть одно сказанное мне слово дойдет еще до чьих-либо ушей, если вы сами этого не захотите, понятно? Ведь я буду вашим защитником, Клайд, если вы согласны, а вы будете моим клиентом. Мы с вами сядем вдвоем завтра или когда хотите, и вы расскажете мне все, что, по-вашему, мне следует знать, а я скажу вам, что мне, по-моему, следует знать и могу ли я вам помочь. И я намерен доказать вам, что, так или иначе помогая мне, вы помогаете сами себе. Понятно? И, черт возьми, я сделаю все, что только в моих силах, чтобы вытащить вас из этой истории. Ну, что вы на это скажете?

Он улыбнулся ободряюще и сочувственно, даже ласково. И Клайд впервые за время своего пребывания здесь почувствовал, что нашелся кто-то, кому можно довериться без риска, и уже думал, что, пожалуй, самое лучшее – рассказать этому человеку все, решительно все… Он не мог бы сказать – почему, но Белнеп ему нравился. Клайд тотчас, хотя и смутно, почувствовал, что этот человек понимает его и, может быть, даже отнесется к нему с сочувствием, если узнает все или почти все. Белнеп разъяснил Клайду, как его врагу – Мейсону – хочется непременно добиться его осуждения и как, если только он, Белнеп, составит приемлемый план защиты, он наверняка сумеет оттянуть рассмотрение дела, а к тому времени этот тип перестанет быть прокурором. И Клайд заявил, что если мистер Белнеп даст ему ночь на размышление, то завтра или в любое время, когда мистер Белнеп пожелает прийти снова, он расскажет ему все.

А на следующий день Белнеп сидел на стуле, напротив Клайда, грыз плитку шоколада и слушал, а Клайд, сидя на железной койке, выкладывал свою историю, – все подробности своей жизни со времени приезда в Ликург: о том, как и почему он приехал сюда, о девочке, убитой в Канзас-Сити (но он не упомянул о газетной вырезке забыв, что сохранил ее); о встрече с Робертой, о своем страстном влечении к ней, о ее беременности и о том, как он старался выручить ее из беды, – и далее о том, как она грозила выдать его, и тут ему попалась та заметка в газете, – и он наконец, в безмерном отчаянии и страхе, попытался проделать то же. Но сам он никогда не додумался бы до такого – мистер Белнеп должен это понять. И ведь он же не убил ее. Нет, не убил. Что бы там ни думал мистер Белнеп, но в этом он должен ему поверить. Он вовсе не хотел ее ударить. Нет, нет, нет! Это была несчастная случайность. У него был фотографический аппарат, и штатив, найденный Мейсоном, это, конечно, его штатив. Он спрятал его под поваленным деревом, после того как нечаянно ударил Роберту аппаратом, и потом видел, как аппарат потонул, – без сомнения, он и сейчас лежит на дне вместе с пленкой, где сняты сам Клайд и Роберта, если только пленка не размокла в воде. Но он ударил ее не намеренно. Нет! Он этого не хотел. Она потянулась к нему, и он толкнул ее, но это вышло нечаянно. Лодка перевернулась… И Клайд постарался возможно точнее описать, как перед этим он словно оцепенел, был в каком-то столбняке, потому что, зайдя так далеко, не мог дойти до конца.

А между тем Белнепа под конец и самого утомил и смутил этот странный рассказ; он понимал, что все это просто невозможно изложить обычному составу присяжных в здешней глуши, не говоря уже о том, чтобы убедить их в безобидности столь мрачных и жестоких планов и поступков. Наконец, усталый, растерянный и недоумевающий, он встал и положил руки на плечи Клайда.

– Ну, вот что, Клайд, – сказал он. – Я думаю, на сегодня хватит. Я понимаю, что вы пережили и как все это произошло, и я вижу, как вы устали. Я очень рад, что вы рассказали мне все начистоту, – я ведь знаю, это вам было нелегко. Но сейчас, по-моему, вам не следует больше говорить. У нас еще будет время, а пока я должен кое-что уладить. Завтра или послезавтра мы с вами обсудим некоторые подробности этого дела. Ложитесь-ка сейчас спать и отдохните. Вам понадобятся силы для той работы, которую нам с вами скоро придется проделать. А пока что не волнуйтесь, это совершенно ни к чему, понятно? Я вас вытащу из этой истории, вернее, мы вдвоем – мой компаньон и я. Как-нибудь на днях я приведу его к вам. Он вам тоже

понравится. Но я хочу, чтобы вы подумали над двумя условиями и твердо их соблюдали. Во-первых, никому не позволяйте ничем запугать себя и помните, что я или мой коллега будем по крайней мере раз в день навещать вас, и если вам надо будет что-нибудь сказать или спросить, вы всегда сможете поговорить об этом с нами. И, во-вторых, ни с кем ни о чем не разговаривайте: ни с Мейсоном, ни с шерифом, ни с тюремщиками – ни с кем, если только я вам не скажу, что это нужно. Ни с кем, слышите! И главное – не плачьте больше. Потому что, будь вы чисты, как ангел, или черны, как сам дьявол, наихудшее, что вы можете сделать, – это плакать перед кем бы то ни было. Ни публика, ни тюремщики этого не понимают; по их мнению, слезы всегда означают слабость или признание вины. А мне не хотелось бы, чтобы они думали о вас что-либо подобное, особенно когда я знаю, что вы действительно невиновны. Теперь я знаю это. Я верю в это, понятно? Так что не вешайте носа перед Мейсоном и прочими.

В самом деле, я хотел бы, чтобы вы впредь начали понемножку смеяться или хоть улыбаться. Держитесь веселее, когда здороваетесь с ними со всеми. Знаете, у юристов есть старая пословица, что сознание собственной невиновности придает человеку спокойствие. Помните, что вы не виновны, и не смотрите как виноватый. Не сидите с таким видом, будто вы потеряли последнего друга, – ничего такого не случилось. С вами я и мой коллега – мистер Джефсон. Через день-два я его к вам приведу. Относитесь к нему так же, как ко мне. Можете ему довериться: он в некоторых отношениях даже более умелый законник, чем я. Завтра я принесу вам парочку книг, журналы, газеты – почитайте, поглядите иллюстрации. Это вас отвлечет от тревожных мыслей.

Клайд слабо улыбнулся и кивнул.

– Да, еще одно: я не знаю, верующий ли вы? Но так или иначе, если только вам это предложат, советую исправно посещать здесь воскресное богослужение. Народ у нас тут набожный, и я хотел бы, чтобы вы производили возможно лучшее впечатление. Не обращайте внимания на то, что люди скажут и как посмотрят, – делайте, как я говорю. А если этот Мейсон или еще кто-нибудь из здешней публики станет и дальше к вам приставать, напишите мне записочку. Ну, а теперь я пошел, так что улыбнитесь мне повеселее на прощанье и потрудитесь встретить меня улыбкой, когда я приду в следующий раз. И не болтайте, поняли?

Он встряхнул Клайда за плечи, похлопал по спине и вышел из камеры, но про себя подумал: «А вправду ли я верю, что этот парень так невинен, как он говорит? Можно ли неумышленно так ударить девушку? И потом отплыть прочь, потому что, как он говорит, он боялся, что она может его потопить? Скверно! Скверно! Какие двенадцать человек этому поверят? А этот чемодан, а две шляпы, а пропавший костюм! И, однако, он клянется, что ударил ее нечаянно. Но как же со всеми его планами – с намерением, которое не менее преступно в глазах закона? Правду он говорит или лжет даже теперь, быть может, стараясь обмануть не только меня, но и себя? И этот фотографический аппарат… Надо бы раздобыть его, пока его не нашел и не предъявил Мейсон. И этот костюм. Я должен найти его и, пожалуй, упомянуть о нем, чтобы опровергнуть мнение, что он был спрятан… сказать, что он все время был у нас… что он был отправлен в Ликург в чистку. Но нет, нет… минуточку… об этом еще надо подумать.

И так далее, пункт за пунктом… И в то же время он устало думал, что лучше, пожалуй, вовсе и не пробовать использовать рассказ Клайда, а сочинить что-нибудь другое, какой-то измененный и смягченный вариант, который кажется не таким жестоким и будет в глазах закона не столь близок к убийству.

Глава 15

Рубен Джефсон ничуть не походил ни на Белнепа, ни на Кетчумена, ни на Мейсона, ни на Смилли – словом, ни на кого из тех, кто до сих пор видел Клайда и интересовался его делом. Это был высокий, худой и смуглый молодой человек, жесткий, невозмутимый, холодно-рассудительный; воля и решимость у него были поистине стальные. Его отличал острый ум, а профессиональная изворотливость и эгоизм придавали ему сходство с рысью или хорьком. На смуглом лице еще светлей казались проницательные светло-голубые глаза со стальным отливом; длинный нос указывал на энергию и любознательность. У этого человека были сильные руки и сильное тело. Узнав, что им (конторе «Белнеп и Джефсон»), возможно, поручат защищать Клайда, он, не теряя ни минуты, во всех подробностях изучил материалы дознания, произведенного следователем, заключение врачей и письма Роберты и Сондры. И теперь, выслушав объяснения Белнепа о том, что Клайд признался в намерении убить Роберту, но уверяет, будто не исполнил этого намерения, так как в критическую минуту был охвачен каким-то душевным столбняком или раскаянием и только нечаянно ударил ее, – выслушав все это, Джефсон лишь пристально посмотрел на Белнепа и заметил без каких-либо комментариев и без тени улыбки:

– Но он не был в столбняке, когда отправился с нею на озеро?

– Нет.

– И когда потом поплыл прочь?

– Нет.

– И когда шел по лесу, и менял шляпу и костюм, и прятал штатив?

– Нет.

– Вы, конечно, понимаете, что если мы воспользуемся этими объяснениями, в глазах закона он будет в такой же мере виновен, как если бы ударил ее умышленно, и судья должен будет предупредить об этом присяжных.

– Да, я знаю. Я уже думал об этом.

– Ну, тогда…

– Вот что, Джефсон. Это, несомненно, трудный случай. По-моему, у Мейсона все козыри на руках. Если мы сумеем выручить этого малого, значит, мы можем отстоять кого угодно. Только, мне кажется, нам не стоит упоминать об этом столбняке, разве что мы решим сослаться на невменяемость, на эмоциональную неуравновешенность или что-нибудь в этом роде, как было с Гарри Тоу, помните?

Белнеп умолк и с сомнением почесал свой слегка седеющий висок.

– Вы, конечно, считаете, что он виновен? – сухо заметил Джефсон.

– Представьте, как ни странно, нет! По крайней мере я в этом не уверен. По правде говоря, это один из самых запутанных случаев, с какими я когда-либо сталкивался. Этот парень далеко не так жесток и хладнокровен, как вы думаете, – он скорее простой и мягкий юноша, вы и сами увидите, – то есть судя по его манере держать себя. Ему только двадцать один или двадцать два года. И при всем родстве с Грифитсами он очень беден – простой служащий, в сущности. И он сказал мне, что его родители тоже бедны. У них какая-то миссия на Западе, в Денвере, кажется, а раньше была в Канзас-Сити. Он уже четыре года не был дома. Дело в том, что он оказался замешанным в какой-то дурацкой мальчишеской истории, когда работал рассыльным в отеле в Канзас-Сити, и ему пришлось оттуда удрать. Нам надо быть поосторожнее с Мейсоном, – выяснить, знает ли он что-нибудь на этот счет. Похоже, что компания мальчишек-рассыльных, в том числе и Грифитс, воспользовалась автомобилем какого-то состоятельного человека без ведома владельца, а потом они боялись опоздать на работу, стали гнать машину и задавили насмерть девочку. Нам надо узнать все это поподробнее, и подготовиться, потому что если Мейсон в курсе дела, он вытащит эту историю на суде именно в такую минуту, когда решит, что мы этого меньше всего ожидаем.

– Ну, нет, это у него не выйдет, хотя бы даже мне пришлось съездить в Канзас-Сити, чтобы разобраться в этом деле, – возразил Джефсон, и его холодные голубые глаза сверкнули.

А Белнеп продолжал рассказывать Джефсону все, что он узнал о жизни Клайда до настоящего времени: как он мыл посуду, прислуживал в ресторане, торговал содовой водой, был возчиком, брался за любую работу, какая только попадалась, пока не переехал в Ликург, и как он всегда увлекался девушками, и как познакомился сначала с Робертой, а потом с Сондрой. И как, наконец, он запутался с одной и до безумия влюбился в другую, чьей руки не мог добиться, не отделавшись от той, первой.

– И, несмотря на все это, вы еще сомневаетесь, что он ее убил? – спросил затем Джефсон.

– Да, я уже сказал вам, я в этом не уверен. Но я твердо знаю, что он все еще вздыхает по другой. Он менялся в лице, когда ему или мне случалось в разговоре упомянуть о ней. К примеру, я спросил его: не был ли он с нею в близких отношениях, – и хотя его обвиняют в обольщении и убийстве другой девушки, он так посмотрел на меня, как будто я сказал нечто непозволительное, оскорбил его или ее.

Тут Белнеп криво улыбнулся; а Джефсон сидел, упираясь длинными, костлявыми ногами в стоявший перед ним стол орехового дерева, и все так же спокойно смотрел на собеседника.

– Вот так, – сказал он наконец.

– Мало того, – продолжал Белнеп. – Он сказал: «Нет, конечно, нет! Она бы не допустила ничего подобного, и потом…» – и остановился. «Что потом, Клайд?» – спрашиваю. «Ну, не забывайте, кто она!» Понимаю, говорю. И потом, представьте, он интересовался, нельзя ли как-нибудь оберечь имя этой девушки и ее письма к нему от огласки в печати и на суде, чтобы ее родные не узнали об этом и чтобы репутация ее и ее семьи не слишком пострадала.

– В самом деле? Ну, а как со второй девушкой?

– Вот в этом-то я и стараюсь разобраться. Он мог задумать убийство этой девушки и, пожалуй, даже в самом деле убил ее, причем, насколько я понимаю, сперва обольстил. Но, в сущности, он был совершенно одержим мечтами о другой и просто не соображал, что делает. Понимаете? Вы же знаете, как это бывает с юнцами его возраста, да еще с такими, которые не привыкли ни к девушкам, ни к деньгам и при этом мечтают о блестящей карьере.

– Вы думаете, он на этом немного свихнулся? – вставил Джефсон.

– Ну да, возможно… он был не в себе, во власти гипноза… легкое помешательство, знаете, кризис сознания, как выражаются в Нью-Йорке. И он, безусловно, все еще помешан на той, другой. Право, мне кажется, что в тюрьме он плачет главным образом из-за нее. Знаете, он плакал, когда я пришел к нему, рыдал так, как будто у него сердце разрывалось. – Белнеп в раздумье почесал правое ухо. – Нет, как ни говорите, в этой идее, безусловно, есть смысл: все это повлияло на его рассудок… С одной стороны, эта Олден требует, чтобы он женился на ней, а тут другая обещает выйти за него замуж… Я знаю, я и сам раз попал в такой переплет. – И он рассказал Джефсону этот случай. – Кстати, – продолжал он затем, – он говорит, что мы можем найти сообщение о той утонувшей паре в «Таймс юнион» не то от восемнадцатого, не то от девятнадцатого июня.

– Ладно, – сказал Джефсон, – я разыщу.

– Мне хотелось бы, – продолжал Белнеп, – чтобы вы завтра пошли со мной к нему. Посмотрим, какое впечатление он на вас произведет. Мы пойдем вместе, любопытно, расскажет ли он вам все это так же, как рассказывал мне. Я хочу знать ваше мнение о нем.

– Узнаете, будьте уверены, – отрезал Джефсон.

На другой день Белнеп и Джефсон вместе посетили Клайда. И Джефсон после беседы с ним и новых размышлений над его странной повестью все же не мог решить, был ли Клайд действительно столь неповинен в намерении ударить Роберту, как он говорит… Если это правда, как же он мог потом уплыть и дать ей утонуть? И, уж конечно, присяжным будет куда труднее поверить в это, чем ему, Джефсону.

Есть еще предположение Белнепа, что Клайд, возможно, был выведен из душевного равновесия и не вполне нормален психически, когда взялся за осуществление плана, внушенного ему газетной заметкой. Конечно, могло быть и так, однако, на взгляд Джефсона, теперь Клайд был достаточно разумен и нормален. Джефсон считал Клайда более черствым и гораздо более хитрым, чем хотелось думать Белнепу; правда, это впечатление сглаживалось благодаря его мягким и обаятельным манерам, так что трудно было относиться к нему неприязненно. Впрочем, Клайд далеко не так охотно и доверчиво говорил с Джефсоном, как с Белнепом, и это на первых порах не могло вызвать у Джефсона симпатии к нему Но Джефсон держался так решительно и серьезно что Клайд быстро убедился: может быть, юрист ему и не сочувствует, но по крайней мере относится к его делу с профессиональным интересом. И немного погодя он стал возлагать на молодого адвоката даже большие надежды, чем на Белнепа.

– Вы, конечно, понимаете, что письма, которые писала вам мисс Олден, сильно осложняют дело? – начал Джефсон, когда Клайд повторил ему свою историю.

– Да, сэр.

– Они покажутся очень печальными каждому, кто незнаком со всеми обстоятельствами дела, и, наверно, восстановят присяжных против вас, особенно когда их сопоставят с письмами мисс Финчли.

– Да, я понимаю, – ответил Клайд. – Но ведь она не всегда была такая. Она стала писать так только после того, как попала в беду, а я хотел, чтобы она меня отпустила.

– Знаю, знаю. Об этом еще надо подумать, может быть, мы сумеем заявить об этом на суде. Если б только можно было каким-нибудь способом добиться, чтобы эти письма не фигурировали на суде! – воскликнул Джефсон, обращаясь к Белнепу, а затем снова к Клайду: – Вот что я хотел спросить: вы были с ней близки около года, так?

– Да.

– И за все это время или еще до этого у нее не было дружеских, близких отношений ни с каким другим молодым человеком? Вы ничего не знаете?

И Клайд понял, что Джефсон не слишком пуглив и щепетилен и готов предложить любую идею, любую хитрость, при помощи которой, на его взгляд, можно будет вывернуться. Но Клайд не обрадовался этому намеку, а искренне возмутился. Было бы подло, зная характер Роберты, прибегнуть к подобной лжи! Он не мог и не хотел допустить даже намека на подобную неправду и потому ответил:

– Нет, сэр. Я никогда не слышал, чтобы она водила знакомство с кем-нибудь еще. Я просто знаю, что этого не было.

– Прекрасно, пусть так, – отчеканил Джефсон. – Судя по ее письмам, я думаю, что это верно. Но мы должны знать все факты. Все получилось бы совсем иначе, если бы тут был замешан еще кто-то другой.

Клайд был не совсем уверен, действительно ли Джефсон пытается заставить его оценить эту идею, но все равно, решил он, не следует даже допускать такую мысль. И все же он говорил себе: «Только бы этот человек, мог придумать, как по-настоящему защитить меня! Он, кажется, очень ловкий».

– А теперь, – продолжал Джефсон все так же сурово и испытующе (Клайду казалось, что в его словах нет ни капли сочувствия или жалости), – есть еще одна вещь, о которой я хотел вас спросить: за все время, что вы были знакомы с ней, до вашего сближения или после, не писала ли она вам когда-нибудь каких-либо пошлых, издевательских или угрожающих писем, не предъявляла ли каких-нибудь требований?

– Нет, сэр, не припомню, – ответил Клайд. – Она никогда так не писала. Нет… Кроме, пожалуй, последних писем… кроме самого последнего.

– А вы ей как будто ни разу не писали?

– Нет, сэр. Я никогда не писал ей никаких писем.

– Почему?

– Ну, видите ли, она была тут же, на фабрике, рядом со мной. А в последнее время, когда она уехала к родителям, я боялся ей писать.

– Ага, понятно…

И, однако, совершенно искренне стал объяснять Клайд, Роберта по временам была вовсе не такой уж мягкой и сговорчивой… Она бывала очень решительной и даже упрямой. Она не обращала ни малейшего внимания на его слова, когда он объяснял, что, настаивая на свадьбе, она губит его положение в обществе и все его будущее, а ведь он готов был работать и помогать ей деньгами. Вот это ее упрямство, по словам Клайда, и привело к несчастью… А между тем мисс Финчли (и тут в голосе Клайда зазвучали нотки благоговения и восторга, что тотчас отметил Джефсон) для него была готова на все.

– Так вы в самом деле очень любили мисс Финчли?

– Да, сэр.

– И вы не могли больше оставаться с Робертой после того, как встретились с мисс Финчли?

– Нет, нет! Я просто не мог!

– Понимаю, – заметил Джефсон, многозначительно покачивая головой и в то же время размышляя о том, что было бы бесполезно и даже опасно сообщать все это присяжным. Может быть, самое лучшее, как предложил Белнеп, основываясь на обычной в наше время судебной практике, говорить о невменяемости, о душевном потрясении, которое было вызвано создавшимся отчаянным положением (таким оно казалось Клайду). Оставив пока этот вопрос в стороне, Джефсон продолжал: – Когда вы были с ней в лодке в тот последний день, с вами, по вашим словам, что-то случилось и вы, в сущности, не знали, что делали в тот момент, когда ударили ее?

– Да, сэр, это правда.

И Клайд снова попытался объяснить, каково было тогда его состояние.

– Хорошо, хорошо, я вам верю, – ответил Джефсон, как будто принимая за чистую монету все, что говорил Клайд, хотя в действительности не мог себе представить подобного состояния. – Но вы, конечно, понимаете, – заявил он,

– что никакие присяжные, ввиду всех остальных обстоятельств, вам не поверят. Слишком много в этом деле такого, что требует объяснения, а при существующем положении мы не в силах все это как следует объяснить. Не знаю, как тут быть (теперь он обращался к Белнепу). Эти две шляпы, чемодан… разве что мы будем доказывать, психическое расстройство или что-нибудь в этом роде. Я не совсем уверен, что это получится. Вы не знаете, у вас в семье не было когда-нибудь случаев сумасшествия? – прибавил он, снова обращаясь к Клайду.

– Нет, сэр, ничего такого мне неизвестно.

– У какого-нибудь дяди, двоюродного брата или дедушки не бывало никаких припадков или странностей?

– Нет, сэр, никогда ни о чем таком не слышал.

– И вашим богатым родственникам в Ликурге, надо полагать, не очень-то понравится, если я возьму и попробую доказать что-нибудь в этом роде?

– Боюсь, что они будут недовольны, сэр, – ответил Клайд, думая о Гилберте.

– Так… дайте сообразить… – сказал Джефсон после паузы. – Все это очень сложно. Но я не вижу другого сколько-нибудь верного пути.

Тут он обратился к Белнепу с вопросом, не считает ли тот приемлемой теорию самоубийства, поскольку письма Роберты указывают на склонность к меланхолии, которая легко могла привести к решению покончить с собой. Нельзя ли сказать, что, когда Роберта осталась с Клайдом на озере и стала просить его жениться на ней, а он отказался, она бросилась в воду? А он был настолько поражен и потрясен, что не попытался ее спасти.

– А как же с его собственной версией о том, что ветер сорвал с него шляпу, а он старался поймать ее и перевернул лодку? – возразил Белнеп таким тоном, словно Клайда здесь не было.

– Да, конечно, это тоже верно… А нельзя ли сказать, что он чувствовал моральную ответственность за состояние, которое заставило ее покончить с собой, и поэтому не хотел сказать правду о самоубийстве?

Клайда передернуло, но ни тот, ни другой уже не обращали на него внимания. Они разговаривали так, точно его здесь не было или он не мог иметь своего мнения по этому вопросу. Это его удивило, но он не думал протестовать: таким беспомощным он себя чувствовал.

– Да, но, запись под вымышленными именами! Две шляпы, костюм, чемодан!

– отрывисто напоминал Белнеп тоном, по которому Клайд понял, насколько серьезным Белнеп считает его положение.

– Ну, эти вещи придется как-то объяснить, все равно, какую бы теорию мы ни выдвинули, – в раздумье ответил Джефсон. – Я считаю, что мы ни в коем случае не можем использовать подлинную историю его замысла, не ссылаясь на невменяемость. А если мы ею не воспользуемся, нам неминуемо придется иметь дело с этими уликами.

И он устало всплеснул руками, словно говоря: «Право, не знаю, как с этим быть!»

– Но учтите все обстоятельства, – настаивал Белнеп. – Он отказался жениться на ней, а по письмам видно, что он ей это обещал… да ведь это только повредит ему, еще больше восстановит против него публику. Нет, так не годится, – заключил он. – Надо придумать что-нибудь такое, что вызовет хоть какую-то симпатию к нему.

Они опять обернулись к Клайду, словно этого разговора и не было, и посмотрели на него взглядом, ясно говорящим: «Ну, и задал ты нам задачу!»

Потом Джефсон заметил:

– Ах да, еще этот костюм, который вы бросили в озеро, где-то возле дачи Крэнстонов… Объясните мне поточнее, в каком месте вы его бросили, далеко это от дома?

Он ждал, пока Клайд с усилием припоминал все подробности.

– Если бы я мог поехать туда, я, наверно, быстро нашел бы это место.

– Да, я знаю, но вам не дадут поехать туда без Мейсона, – возразил Джефсон. – А может быть, даже и с ним не пустят. Вы в тюрьме, и вас нельзя вывести отсюда без разрешения властей штата, понятно? Но нам необходимо добыть этот костюм. – И затем, повернувшись к Белнепу и понизив голос, он прибавил: – Нужно найти его, отдать в чистку и потом представить дело так, будто он был отослан в чистку самим Грифитсом, а не спрятан, понятно?

– Да, правильно, – небрежно одобрил Белнеп, а Клайд с любопытством слушал, немного удивленный откровенной программой плутовства и обмана, затеваемого в его интересах.

– Теперь насчет этого фотографического аппарата, который упал в воду, – надо попробовать найти и его тоже. Я думаю, Мейсон знает о нем или подозревает, что он там. Во всяком случае, нам очень важно найти его, пока его не нашел Мейсон. Как вам показалось, когда вы с ним ездили туда, у них там правильно отмечено место, где перевернулась лодка?

– Да, сэр.

– Ладно, посмотрим; нельзя ли разыскать аппарат, – продолжал Джефсон, обращаясь к Белнепу. – Надо постараться, чтобы он не всплыл на суде. Тогда они станут клясться, что он ударил ее штативом или чем-нибудь еще, и тут мы подставим ножку.

– Тоже верно, – ответил Белнеп.

– А теперь насчет чемодана, который сейчас у Мейсона. Я еще не видел его, но завтра посмотрю. Вы, что же, когда вышли из воды, сунули тот костюм в чемодан мокрым, как он был?

– Нет, сэр, я сперва выжал его, постарался высушить, как мог. А потом завернул в бумагу, в которой раньше был наш завтрак, в чемодан сначала наложил сухой хвои и поверх костюма тоже насыпал хвои.

– И когда вы его потом вынули, никаких пятен от сырости в чемодане не осталось, вы не заметили?

– Нет, сэр, кажется, не осталось.

– Но вы не уверены?

– Теперь, когда вы спросили, не вполне уверен.

– Ну, я это завтра сам увижу. Теперь насчет синяков у нее на лице. Вы никому не признавались, что ударили ее чем-нибудь?

– Нет, сэр.

– А рана у нее на голове – это действительно ее ударило бортом лодки, как вы говорили?

– Да, сэр.

– Но все остальные, по-вашему, могут быть следами удара фотографическим аппаратом?

– Да, сэр, думаю, что так.

– Ну, вот что, – Джефсон снова обратился к Белнепу: – Я полагаю, в свое время мы смело сможем сказать, что эти синяки и ссадины вовсе не его рук дело, а просто следы крюков и багров, которыми шарили по дну, когда старались ее найти, понимаете? Во всяком случае, можно попробовать эту версию. Ну, а если крюки и багры не виноваты, – прибавил он довольно хмуро и сухо, – тогда, конечно, тело неосторожно перевозили от озера к станции и потом по железной дороге.

– Да, я думаю, Мейсону не так-то просто будет доказать, что следы ушибов появились не от этого, – ответил Белнеп.

– А что касается штатива, нужно будет вырыть тело из могилы и самим сделать все измерения, и толщину борта лодки тоже надо измерить. В конце концов, хоть штатив и попал в руки Мейсона, нашему прокурору будет нелегко использовать эту улику в своих интересах.

При этих словах голубые холодные глаза Джефсона сузились и посветлели. Формой головы и всей своей поджарой фигурой он смахивал на хорька. И Клайду, который, слушая их разговор, почтительно за ними наблюдал, казалось, что именно этот младший из юристов может ему помочь. Он так проницателен и практичен, так прямолинеен, холоден и равнодушен и, однако, внушает доверие к себе, совсем как мощная машина, производящая энергию.

Когда же наконец эти двое собрались уходить, Клайд огорчился: пока они были рядом и обдумывали всевозможные ухищрения и планы его спасения, он чувствовал себя гораздо спокойнее и сильнее, больше надеялся и верил, что, может быть, когда-нибудь, хоть и не скоро, выйдет на свободу.

Глава 16

В конце концов после всех переговоров было решено, что, пожалуй, всего легче и вернее – если только ликургские Грифитсы на это согласятся, – построить защиту, ссылаясь на невменяемость или приступ помешательства, на временное психическое расстройство, вызванное любовью Клайда к Сондре Финчли и страхом, что Роберта разрушит все его мечты и надежды на блестящее будущее. Но после того, как защитники посоветовались с Кетчуменом и Брукхартом в Ликурге, а те, в свою очередь, побеседовали с Сэмюэлом и Гилбертом Грифитсами, этот план был отвергнут. Чтобы установить невменяемость или временное помешательство, требовалось подобрать свидетелей, которые показали бы, что Клайд всегда обладал не слишком здравым рассудком и всю жизнь был неуравновешен; понадобилось бы подтвердить его странности наглядными примерами; его родственникам (в том числе, быть может, и самим ликургским Грифитсам) пришлось бы подтверждать это под присягой. Словом, тут требовалась прямая ложь и клятвопреступление со стороны многих свидетелей, и при этом мог быть запятнан весь род Грифитсов. Понятно, что ни Сэмюэл, ни Гилберт ничего подобного не желали. И Брукхарт должен был заявить Белнепу, что от этого способа защиты придется отказаться.

Таким образом, Белнепу и Джефсону снова пришлось сидеть друг против друга и размышлять. Ибо всякий другой способ защиты, какой приходил им в голову, казался сейчас совершенно безнадежным.

– Вот что я вам скажу, – заметил упрямец Джефсон, заново перелистав Письма Роберты и Сондры. – Письма этой Олден – самое серьезное из всего, с чем нам придется иметь дело на суде. Стоит только их как следует прочесть, и наверняка заплачут какие угодно присяжные, а если после них станут читать письма второй девушки, это будет просто катастрофа. Я думаю, лучше нам вовсе не упоминать о переписке с мисс Финчли, если Мейсон промолчит о ней. Это только создало бы впечатление, что он убил Роберту Олден, чтобы от нее избавиться. Мейсону это было бы очень на руку, как я понимаю.

И Белнеп от души с ним согласился.

Однако нужно было немедля изобрести какой-то план защиты. И вот наконец после нескольких совещаний Джефсон (считавший, что на этом процессе вполне можно сделать карьеру) пришел к следующему выводу: наиболее надежный способ защиты, которому не будут противоречить самые подозрительные и странные поступки Клайда, один – утверждать, что Клайд никогда и не замышлял убийства. Наоборот, будучи если не физически, то морально трусом (на это указывает вся история, рассказанная им самим), он боялся, что может быть разоблачен и изгнан из Ликурга и из сердца Сондры, и в то же время надеялся, что Роберта, которой он никогда не говорил о Сондре, узнав о его безмерной любви к этой девушке, возможно, его отпустит. И потому он наспех, без всякого злого умысла, решил убедить Роберту поехать с ним куда-нибудь за город (но совсем не обязательно на Луговое озеро или на озеро Большой Выпи), для того чтобы рассказать ей все и получить свободу, и, конечно, он собирался предложить ей посильную для него денежную поддержку на предстоящий трудный период ее жизни.

– Все это прекрасно, – заметил Белнеп, – но ведь тут подразумевается его отказ жениться на ней, не так ли? Какие присяжные посочувствуют ему в этом и поверят, что он не хотел ее убить?

– Погодите, погодите, – ответил Джефсон не без раздражения, – все это, конечно, так. Но ведь вы не дослушали до конца. Говорю вам, у меня есть план.

– Ну-ну, какой же? – с интересом спросил Белнеп.

– Сейчас объясню. Мой план – оставить все факты так, как они есть: как о них рассказал Клайд и как их рисует Мейсон, разумеется, кроме того, что Клайд ее ударил. И затем объяснить все это – письма, кровоподтеки, чемодан, две шляпы – все, никоим образом ничего не отрицая.

Тут он замолчал, нетерпеливо провел длинной, узкой рукой, покрытой веснушками, по своим светлым волосам и взглянул через площадь на тюрьму, где находился Клайд, а затем снова на Белнепа.

– Прекрасно, но как это сделать? – спросил Белнеп.

– Другого способа нет, вот что, – продолжал Джефсон, словно обращаясь к самому себе и не замечая своего старшего коллеги. – И я думаю, это может выйти. – Он снова обернулся к окну и, казалось, говорил теперь с кем-то стоящим на улице. – Понимаете, он едет туда, потому что напуган и потому что необходимо что-то предпринять, иначе ему грозит разоблачение. И записывается в гостиницах под чужими именами, потому что боится, как бы в Ликурге не стало известно об этом путешествии. И собирается признаться ей, что любит другую. Но… – Джефсон чуть помолчал и пристально посмотрел на Белнепа, – и это важнейшая наша опора, если она не выдержит, нам крышка! Слушайте! Он едет туда с нею, перепуганный, не затем, чтобы жениться на ней или убить ее, а затем, чтобы уговорить ее дать ему свободу. Но тут он видит, какая она больная, измученная, печальная, – ну, вы же знаете, она все еще очень любит его, – и он проводит с нею две ночи, понятно?

– Да, понимаю, – вставил Белнеп с любопытством и на этот раз уже с меньшим сомнением. – И это, пожалуй, может объяснить, почему он провел с ней эти ночи.

– Пожалуй? Безусловно, объяснит! – насмешливо и спокойно ответил Джефсон; его бледно-голубые глаза выражали одну только холодную, напористую, практическую логику и ни тени волнения или хоть какого-то сочувствия. – Ну-с, и пока он был там с нею в таких условиях… в условиях, понимаете ли, такой близости (выражение лица Джефсона ничуть не изменилось при этих словах), в его душе произошел перелом. Вы улавливаете мою мысль? Ему жаль ее. Ему стыдно за себя – ведь он грешен перед нею. На нашу публику, на всех этих набожных и добропорядочных провинциалов, это должно подействовать, правда?

– Возможно, – негромко подтвердил Белнеп; теперь он был очень заинтересован, и у него появилась некоторая надежда на успех.

– Он понимает, что поступил с ней дурно, – продолжал Джефсон, поглощенный своим планом, как паук, ткущий паутину, – и, несмотря на всю свою привязанность к другой девушке, он готов теперь искупить свою вину перед этой мисс Олден, потому что ему жаль ее и стыдно за себя, понимаете? Это снимает с него обвинение, что он замышлял убить ее, проводя с нею ночи в Утике и на Луговом озере.

– Но он все-таки любит ту, другую? – переспросил Белнеп.

– Ну конечно. Во всяком случае, она ему очень нравится, и вообще, когда он попал в светское общество, это вскружило ему голову, он совсем преобразился, почувствовал себя другим человеком. Но теперь он готов жениться на Роберте – в том случае, если она все-таки пожелает стать его женой даже после того, как он признается ей, что любит другую.

– Понимаю. Но как же все-таки быть с лодкой, с чемоданом и с тем фактом, что он после всего поехал к этой Финчли? – спросил Белнеп.

– Минуточку, минуточку! Сейчас я вам все растолкую, – продолжал Джефсон, сверля пространство взглядом голубых глаз, словно мощным лучом прожектора. – Разумеется, он поехал с нею на лодке, разумеется, взял с собой этот чемодан и записался в гостиницах под вымышленными именами и пошел лесом к другой девушке, после того как Роберта утонула. Но почему? Почему! Хотите знать, почему он это сделал? Я вам скажу! Он почувствовал жалость к ней, понимаете ли, и хотел на ней жениться или по крайней мере в последнюю минуту захотел искупить свою вину перед нею. Но запомните, все это не прежде, а после того, как он провел с нею ночь в Утике и другую – на Луговом озере. Но когда она утонула, – конечно, только случайно, как он и говорит, – тогда в нем опять заговорила любовь к той, другой девушке. Да он и не переставал ее любить даже тогда, когда собирался пожертвовать ею, чтобы искупить свою вину перед Робертой. Понимаете?

– Понимаю.

– А как они докажут, что он не испытал такого душевного переворота, если он заявит, что испытал, и будет твердо стоять на своем?

– Да, но ему придется рассказать эту историю очень убедительно, – сказал несколько озабоченный Белнеп. – А как быть с двумя шляпами? Их тоже придется как-то объяснить.

– Сейчас дойдет дело и до шляп. Его шляпа немного запачкалась. Поэтому он решил купить другую. А насчет того, что он сказал Мейсону, будто на нем была кепка, – ну, просто он перепугался и соврал, думая, что так он скорее выпутается. Ну и, конечно, до того как он уходит к другой девушке, – то есть пока Роберта еще жива, – остаются его отношения к той, второй, и его намерения на ее счет. Понимаете, у него происходит объяснение с Робертой, и это надо как-то обыграть. Но, по-моему, это несложно: ведь после того как в его душе происходит переворот и он хочет поступить с Робертой по-честному, ему остается просто написать другой девушке или пойти к ней и сказать о том, как он виноват перед Робертой.

– Так.

– Я теперь вижу, что о ней все-таки нельзя совершенно умолчать в этом деле. Боюсь, придется ее потревожить.

– Раз надо, так потревожим, – сказал Белнеп.

– Понимаете ли, Роберта все же считает, что он должен на ней жениться; значит, он должен сперва поехать к этой Финчли и сказать, что не может на ней жениться, так как уходит к Роберте… Это все в том случае, если Роберта не возражает, чтобы он на некоторое время ее оставил, понимаете?

– Так.

– А если она этого не захочет, он обвенчается с нею в Бухте Третьей мили или где-нибудь еще.

– Так.

– Но не забудьте, пока она жива, он растерян и подавлен. И только после второй ночи на Луговом озере он начинает понимать, как скверно поступал с нею, ясно? Между ними что-то происходит. Может быть, она плачет или говорит ему о том, что хочет умереть, знаете, вроде того, как в письмах.

– Так.

– И вот у него является желание поехать с нею в какое-нибудь тихое местечко, где они могли бы спокойно поговорить, чтобы никто их не видел и не слышал.

– Так, так… продолжайте.

– Ну вот, и он вспоминает об озере Большой Выпи. Он как-то раньше там был, или просто они оказались неподалеку оттуда. А там рядом, всего в двенадцати милях. Бухта Третьей мили, где они смогут обвенчаться, если порешат на этом.

– Понимаю.

– А если нет, если, выслушав его исповедь, она не захочет выйти за него замуж, он может отвезти ее назад в гостиницу, верно? И, может быть, один из них останется там на время, а другой сразу уедет.

– Так, так.

– А кстати, чтобы не терять время и не застревать в гостинице – ведь это довольно дорого, знаете, а у него не так уж много денег, – он захватывает с собой в чемодане завтрак. И фотографический аппарат тоже, потому что хочет сделать несколько снимков. Понимаете, если Мейсон сунется с этим аппаратом, надо будет как-то объяснить его существование, так лучше, чтобы объяснили мы, а не он, верно?

– Понимаю, понимаю! – воскликнул Белнеп; теперь он был живо заинтересован, улыбался и даже стал потирать руки.

– И вот они отправляются на прогулку.

– Так.

– И катаются по озеру.

– Так.

– И, наконец, они позавтракали на берегу, он сделал несколько снимков…

– Так…

– И он решается рассказать ей всю правду. Он полон готовности…

– Понимаю.

– Но прежде чем заговорить, он хочет еще раз или два снять ее в лодке, около берега.

– Так.

– А потом он ей скажет, понимаете?

– Так.

– И они опять ненадолго отплывают от берега, так ведь и было, понимаете?

– Да.

– Но так как они собирались еще вернуться, чтобы нарвать цветов, то он оставляет на берегу свой чемодан, понимаете? Это объясняет историю с чемоданом.

– Так.

– Однако, прежде чем фотографировать ее в лодке, он начинает говорить ей о своей любви к другой девушке и о том, что, если Роберта хочет, он все-таки обвенчается с ней, а этой Сондре напишет письмо. Но если теперь, узнав о его любви к другой девушке, она не пожелает выйти за него замуж…

– Так, так! Дальше! – оживленно поторопил Белнеп.

– Ну, тогда, – продолжал Джефсон, – он сделает все возможное, чтобы позаботиться о ней и поддержать ее, ведь после женитьбы на богатой девушке у него будут деньги.

– Так.

– Ну, а она хочет, чтобы он женился на ней и расстался с мисс Финчли.

– Понимаю.

– И он соглашается.

– Конечно!

– А она так благодарна, что в волнении вскакивает и бросается к нему, понимаете?

– Так?

– И тут лодка накреняется немного, и он вскакивает, чтобы поддержать Роберту, потому что боится, как бы она не упала, понимаете?

– Да, да.

– Ну теперь в нашей воле оставить у него в руках фотографический аппарат или не оставлять – это как вы найдете удобным.

– Да, теперь мне ясно.

– Словом, с аппаратом ли, нет ли, он – или, может быть, она – делает какое-то неосторожное движение, именно так, как он рассказывает, – или просто из-за того, что они оба встали, – тут лодка переворачивается, и он наносит Роберте удар или нет – это как вам угодно, – но если да, то, конечно, нечаянно.

– Понимаю, понимаю, черт возьми! – воскликнул Белнеп. – Прекрасно, Рубен! Великолепно! Просто замечательно!

– И борт лодки ударяет ее и его тоже – слегка, понимаете? – продолжал Джефсон, поглощенный своим хитроумным планом; он не обратил никакого внимания на этот взрыв восторга. – Удар слегка оглушает его.

– Понимаю.

– Он слышит ее крики и видит ее, но он сам немного оглушен, понимаете? А когда он приходит в себя и готов ей помочь…

– Ее уже нет, – спокойно заключил Белнеп. – Утонула. Понимаю.

– А тут все эти подозрительные обстоятельства, фальшивые записи… А она уже погибла, и он все равно больше ничего не может для нее сделать… И вы понимаете, ее родным едва ли будет приятно узнать, в каком положении она была…

– Ясно.

– И поэтому он в испуге удирает. Он ведь по природе своей трус – мы это будем доказывать с самого начала. Он непременно хочет сохранить хорошие отношения с дядек и свое положение в обществе. Разве этим нельзя все объяснить?

– По-моему, это очень недурно все объясняет. В самом деле, Рубен, я думаю, что это очень удачное объяснение, и поздравляю вас. Вряд ли можно надеяться найти что-нибудь лучшее. Если это не приведет к оправданию или к разногласиям среди присяжных, то в крайнем случае он получит, скажем, двадцать лет, как вы думаете? – Очень довольный, Белнеп встал и, посмотрев с восхищением на своего длинного и тощего коллегу, прибавил: – Великолепно!

А Джефсон только невозмутимо смотрел на него голубыми глазами, похожими на зеркальные тихие омуты.

– Но вы, разумеется, понимаете, что это означает? – сказал он спокойно и мягко.

– Что он должен будет давать показания под присягой как свидетель? Конечно, конечно. Прекрасно понимаю. Но это его единственный шанс.

– Боюсь, что он покажется не очень серьезным и уверенным в себе свидетелем. Он чересчур нервный и чувствительный.

– Да, знаю, – быстро сказал Белнеп. – Его легко запугать. А Мейсон будет наскакивать на него, как бешеный бык. Но мы подготовим его к этому, как следует натаскаем. Заставим его понять, что это для него единственная возможность спастись, что от этого зависит его жизнь. Будем натаскивать его все эти месяцы.

– Если он не сумеет этого проделать, он погиб. Если бы только мы могли как-то придать ему храбрости, обучить его вести себя как надо! – Перед устремленным куда-то в пространство взором Джефсона, казалось, предстал зал суда и на свидетельском месте – Клайд лицом к лицу с Мейсоном. Затем Джефсон взял письма Роберты (точнее, копии, переданные Мейсоном). – Если бы только не это! – сказал он, взвешивая их на ладони, и закончил мрачно:

– Проклятие! Вот дело! Но мы еще не разбиты, черта с два! Мы еще и не начинали бороться! И уж во всяком случае это принесет нам известность. Да, кстати, – прибавил он, – один мой знакомый паренек сегодня ночью попробует отыскать в озере Большой Выпи утонувший аппарат. Пожелайте мне удачи.

– Как не пожелать! – только и ответил Белнеп.

Глава 17

Сколько борьбы и волнений вызывает дело об убийстве! Брукхарт и Кетчумен заявили Белнепу и Джефсону, что считают план Джефсона, «пожалуй, единственным выходом из положения», но что при этом следует возможно меньше ссылаться на Грифитсов.

И сейчас же господа Белнеп и Джефсон передали в печать предварительное сообщение, составленное в таком духе, чтобы показать, что они уверены в невиновности Клайда: в действительности он жертва клеветы, и его совершенно неправильно поняли, ибо намерения и поступки этого юноши в отношении мисс Олден столь же отличаются от всего, что приписывает ему Мейсон, как белое от черного. Был тут и намек на то, что неподобающая торопливость прокурора, настаивающего на чрезвычайной сессии Верховного суда, возможно, вызвана соображениями скорее политического, нежели чисто юридического порядка. Иначе к чему такая спешка? Особенно теперь, когда в округе приближаются выборы? Уж не намерены ли некоторые лица или группа лиц воспользоваться результатами этого процесса в интересах собственного политического честолюбия? Господа Белнеп и Джефсон надеются, что это не так.

Но каковы бы ни были планы, предубеждения или политические стремления какого-либо отдельного лица или группы лиц, защита не намерена допустить, чтобы невинный юноша, оказавшийся (адвокаты это докажут) жертвой несчастного стечения обстоятельств, был скоропалительно отправлен на электрический стул только ради победы республиканской партии на ноябрьских выборах. Для того чтобы разоблачить это странное и притом порождающее ложные выводы стечение обстоятельств, защитникам необходимо длительное время. Поэтому они вынуждены будут официально опротестовать в Олбани ходатайство прокурора перед губернатором штата о созыве чрезвычайной сессии Верховного суда. Притом такая экстренность вовсе ни к чему, поскольку очередная сессия по разбору такого рода дел должна состояться в январе, а подготовка материалов по данному делу потребует не меньшего срока.

Это энергичное, хотя и несколько запоздалое заявление было выслушано с должной серьезностью представителями прессы, но Мейсон весьма пренебрежительно отнесся к «легковесному» утверждению защиты насчет политических интриг, так же как и к разговорам, о невиновности Клайда.

«С какой стати я, представитель населения целого округа стал бы куда-либо отправлять этого человека или предъявлять ему хоть одно обвинение, если бы обвинения не возникали сами собою? Разве не очевидно, что он убил девушку? И разве он сумел сказать или сделать что-нибудь такое, что разъяснило бы хоть одно из подозрительных обстоятельств дела? Нет! Молчание или ложь. И покуда эти обстоятельства не опровергнуты высококомпетентными господами защитниками, я твердо намерен продолжать то, что начал. У меня в руках уже есть все необходимые улики, доказывающие виновность молодого преступника. И отсрочка до января, когда, как им известно, истечет срок моих полномочий и новому человеку придется изучать с самого начала все материалы, с которыми я уже полностью ознакомился, повлечет за собою огромные расходы для округа. Ведь все собранные мною по этому делу свидетели сейчас под рукой, их нетрудно без особых затрат доставить в Бриджбург. А где они будут в январе или в феврале, особенно после того, как защита приложит все старания к тому, чтобы они разъехались? Нет, господа! Я не согласен. Но если в ближайшие десять или даже пятнадцать дней они сумеют представить мне какие-либо данные, хотя бы косвенно указывающие на ошибочность хоть некоторых из моих обвинений, тогда я готов пойти вместе с ними к председателю суда, и если они могут сообщить ему о каких-то доказательствах, которые они получили или рассчитывают получить, или о каких-то известных им свидетелях, которых нужно вызвать издалека и которые могут подтвердить невиновность этого малого, – что ж, прекрасно! Я охотно попрошу судью предоставить им столько времени, сколько он сочтет нужным, даже если из-за этого процесс должен будет состояться тогда, когда мои полномочия уже окончатся. Но если он состоится раньше, а я искренне на это надеюсь, то я вложу в обвинение все свои силы и способности, – не потому, что я добиваюсь какой-либо государственной должности, но потому, что сейчас я окружной прокурор и это мой долг. Что же касается моей политической карьеры, – ну, а мистер Белнеп разве не пытается сделать политическую карьеру? Он состязался со мною на прошлых выборах и, как я слышал, хочет проделать это снова».

В полном соответствии с этим своим заявлением Мейсон отправился в Облани, чтобы убедить губернатора штата, что необходимо созвать чрезвычайную сессию и предать Клайда суду. И губернатор, выслушав доводы и Мейсона и Белнепа, решил вопрос в пользу Мейсона, поскольку разрешение на созыв чрезвычайной сессии не помешает в случае надобности отложить самый процесс и поскольку все, чем до сих пор оперировала защита, никак не указывало на то, что созыв чрезвычайной сессии воспрепятствует защите получить все отсрочки, необходимые ей для ведения процесса. И, кроме того, рассматривать подобного рода аргументы – дело не его, губернатора, а специально на то уполномоченного члена Верховного суда. Итак, было дано указание о созыве чрезвычайной сессии Верховного суда, председателем которой был назначен некий Фредерик Оберуолцер, судья одиннадцатого округа. Мейсон явился к нему, прося назначить день для созыва чрезвычайного заседания совета присяжных, согласно решению которого Клайд мог быть предан суду, и это заседание было назначено на пятое августа.

А затем, когда совет присяжных собрался, со стороны Мейсона не потребовалось уже никаких усилий для того, чтобы было вынесено решение предать Клайда суду.

После этого Белнеп и Джефсон могли лишь явиться к Оберуолцеру, демократу, который был обязан своим назначением предыдущему губернатору, и добиваться от него перенесения судебного разбирательства в другой округ. Они доказывали, что, даже обладая самым смелым воображением, нельзя себе представить, чтобы в округе Катараки можно было найти двенадцать

человек, которые, вследствие публичных и частных высказываний Мейсона, не относились бы к Клайду крайне враждебно и не были бы заранее убеждены в его виновности, а значит, он, в сущности, будет осужден любым составом присяжных еще прежде, чем защита сможет сказать свое слово.

– Но куда же вы думаете перенести разбирательство? – спросил судья Оберуолцер, который был достаточно беспристрастен. – Одни и те же материалы были опубликованы повсюду.

– Но, ваша честь, это преступление, которое окружной прокурор так усердно преувеличивает… (Мейсон долго и с жаром протестует.)

– И все же мы утверждаем, – продолжал Белнеп, – что публику понапрасну волновали и вводили в заблуждение. Вы не найдете теперь и двенадцати человек, способных отнестись к обвиняемому беспристрастно.

– Какая чепуха! – с досадой воскликнул Мейсон. – Пустая болтовня! Да ведь газеты сами собрали и опубликовали больше материалов, чем я. Если тут и возникло какое-то предвзятое отношение, то оно вызвано именно опубликованием фактических данных по этому делу. И я утверждаю, что здесь это предубеждение не сильнее, чем в любом другом месте. К тому же, если суд будет перенесен в отдаленный округ, тогда как большинство свидетелей находится здесь, наш округ будет обременен непомерными издержками, которых он не может себе позволить и которые не оправдываются обстоятельствами.

Судья Оберуолцер, человек с трезвым умом и прочными нравственными устоями, медлительный и осторожный, предпочитал всегда и во всем соблюдать установленный порядок и склонен был согласиться с Мейсоном. И через пять дней – все это время он не спеша обдумывал создавшееся положение – он отклонил ходатайство защиты. Если он не прав, зашита может подать апелляцию в высшие инстанции. А пока, назначив слушание дела на пятнадцатое октября (до тех пор, рассудил он, у защиты будет вполне достаточно времени, чтобы подготовиться), он отправился на остаток лета на свою дачу у озера Синих гор; представители обвинения и защиты всегда смогут найти его там, если возникнут какие-нибудь особо запутанные и сложные вопросы, которые нельзя будет разрешить без его личного участия.

Когда в дело Клайда вмешались господа Белнеп и Джефсон, Мейсон счел нужным удвоить усилия, чтобы по возможности наверняка обеспечить вынесение обвинительного приговора Клайду. Он опасался молодого Джефсона не меньше, чем Белнепа, поэтому, взяв с собою Бэртона Бэрлея и Эрла Ньюкома, он еще раз побывал в Ликурге и там, помимо всего прочего, сумел выяснить: 1) где именно Клайд купил фотографический аппарат; 2) что за три дня до отъезда на озеро Большой Выпи он сказал миссис Пейтон о своем намерении взять с собой аппарат и купить для этого пленки; 3) что в Ликурге имеется торговец галантереей по имени Орин Шорт, который хорошо знает Клайда и к которому всего лишь четыре месяца назад Клайд обращался за советом в связи с беременностью жены одного рабочего, а также (это Шорт доверил как величайшую тайну откопавшему его Бэртону Бэрлею), что он, Шорт, рекомендовал Клайду некоего доктора Глена, живущего неподалеку от Гловерсвила; 4) когда разыскали самого доктора Глена и предъявили ему фотографии Клайда и Роберты, он смог опознать Роберту, но не Клайда и припомнил, в каком настроении она к нему пришла и что именно рассказывала; этот рассказ ни в коей мере не бросал тени ни на Клайда, ни на нее, и потому Мейсон решил пока что им не заниматься. И, наконец, 5) благодаря тем же героическим усилиям на сцене появился тот самый торговец в Утике, у которого Клайд купил шляпу: он случайно наткнулся в газете на интервью, данное Бэрлеем во время пребывания в Утике, и, узнав Клайда, портрет которого помещен был тут же вместе с портретом Барлея, поспешил разыскать Мейсона, который в результате увез с собою его показания, отпечатанные на машинке и надлежащим образом заверенные.

Вдобавок девушка, ехавшая на пароходе «Лебедь» и обратившая внимание на Клайда, припомнила и написала Мейсону, что Клайд был в соломенной шляпе и сошел на берег в Шейроне. Этими сведениями целиком подтверждались показания капитана «Лебедя», и Мейсон почувствовал, что провидение или судьба с ним заодно. И последним, но самым важным для Мейсона оказалось сообщение, полученное от одной жительницы Бедфорда (штат Пенсильвания). Она писала, что они с мужем провели неделю, с третьего по десятое июля, на озере Большой Выпи – жили в палатке на восточном берегу озера, в южной его части. И вот восьмого июля, часов в шесть вечера, когда они катались на лодке, она услышала жалобный, печальный крик – казалось, женщина или девушка взывала о помощи. Этот крик доносился откуда-то очень издалека, как будто из-за острова, расположенного к юго-западу от залива где они ловили рыбу.

Мейсон решил умолчать об этом сообщении, так же как и об аппарате и пленках и о проступке Клайда в Канзас-Сити, и скрывать эти данные, если удастся, до самого процесса, когда защита уже не сумеет как-либо опровергнуть или смягчить их.

А Белнеп и Джефсон не могли придумать, что можно было бы еще сделать: оставалось только натаскивать Клайда, чтобы он сумел полностью отрицать свою вину, ссылаясь на душевный кризис, пережитый им по приезде на Луговое озеро; следовало также дать какие-то разъяснения по поводу двух шляп и чемодана. Правда, был еще костюм, брошенный в озеро близ дачи Крэнстонов, но после того как там побывал некий весьма усердный рыболов, костюм был выужен, вычищен, выглажен и теперь висел в запертом шкафу в конторе Белнепа и Джефсона. Оставался еще и аппарат, попавший на дно озера Большой Выпи, но все розыски его оказались безуспешными, и Джефсон сделал вывод, что аппаратом, должно быть, завладел Мейсон, а потому следует возможно раньше, при первом же удобном случае, упомянуть о нем на суде. Но то обстоятельство, что Клайд, пусть

нечаянно, ударил им Роберту, пока что решено было отрицать, хотя при вторичном обследовании тела – для чего пришлось извлечь его из могилы в Бильце – на лице покойной были обнаружены еще сохранившиеся следы, которые в какой-то мере соответствовали размерам и форме аппарата.

Начать с того, что Белнеп и Джефсон очень мало полагались на Клайда как на свидетеля. Сумеет ли он рассказать о том, как все это случилось, настолько откровенно, с такой силой и искренностью, чтобы убедить присяжных, что он ударил Роберту, совсем того не желая? Ведь именно от этого зависит, поверят ли ему присяжные, все равно, есть ли следы удара или нет. А если не поверят, что удар был неумышленным, значит, наверняка обвинительный приговор.

Итак, они готовились к процессу, а пока что старались исподволь подобрать благоприятные сведения и показания насчет прежнего поведения Клайда. Но им изрядно мешало то обстоятельство, что в Ликурге, разыгрывая роль примерного юноши, он на самом деле вел себя совсем не примерно и что его первые шаги на деловом поприще в Канзас-Сити окончились скандалом.

Было и еще одно очень серьезное осложнение – это понимали как Белнеп и Джефсон, так и прокурор: за все время, пока Клайд сидел в тюрьме, ни один человек из его семьи или семьи его дяди не явился, чтобы вступиться за него, и сам он никому, кроме Белнепа и Джефсона, не говорил, где живут его родители. Но ведь если вообще возможно отстоять и обелить Клайда, крайне важно было бы – об этом не раз толковали Белнеп и Джефсон, – чтобы его мать, или отец, или хотя бы сестра, или брат замолвили за него словечко! Иначе сложится впечатление, что он всегда был паршивой овцой, разнузданным бродягой, и потому все, кто его знал, теперь сознательно его избегают.

Поэтому, совещаясь с Дарра Брукхартом, адвокаты заговорили о родителях Клайда и узнали, что ликургские Грифитсы решительно возражают против появления на сцене кого-либо из их западных родичей. Две ветви этой семьи, пояснил Брукхарт, принадлежат к совершенно разным слоям общества, их разделяет глубокая пропасть, и ликургским Грифитсам были бы весьма неприятны всякие разговоры на этот счет. Кроме того, нельзя ручаться, что, попав в Ликург, родители Клайда не окажутся игрушкой в руках желтой прессы. Брукхарт сообщил Белнепу, что, по мнению Сэмюэла и Гилберта Грифитсов, самое лучшее (если Клайд не возражает) оставить его ближайших родственников в тени. В сущности, от этого в какой-то мере будет зависеть их материальная помощь Клайду.

Клайд разделял желание Грифитсов, хотя все, кто часто с ним разговаривал и слышал, как он жалеет о случившемся, – ведь это такой удар для матери, – не сомневались, что он связан с матерью узами горячей любви. Истина заключалась в том, что Клайда теперь мучили страх и стыд перед матерью: как она отнесется к положению, в котором он очутился, к его нравственному, если не общественному падению? Поверит ли она выдумке Белнепа и Джефсона о нравственном перевороте, который он будто бы пережил? Но даже помимо этого, – подумать только, что она придет сюда и посмотрит на него, такого жалкого, сквозь эти железные прутья, и надо будет выдержать ее взгляд, и придется разговаривать с нею изо дня в день! Ох, уж эти ясные, вопрошающие, измученные глаза! И она будет сомневаться в его невиновности – ведь вот даже Белнеп и Джефсон, хоть и составляют всякие планы для его защиты, все-таки сомневаются, действительно ли он ударил Роберту нечаянно, а не намеренно. Они не совсем этому верят и, пожалуй, так и скажут матери. Так неужели его набожная, богобоязненная, ненавидящая всякое злодеяние мать поверит ему больше, чем они?

И когда Клайда снова спросили, следует ли, по его мнению, вызывать его родителей, он ответил, что пока ему лучше не видеться с матерью, – это бесполезно и будет только мучительно для обоих.

К счастью, думал он, никакие сведения обо всем, что с ним случилось, по-видимому, еще не дошли до его родных в Денвере. В силу их особых религиозных и моральных воззрений, мирские, исполненные разврата газеты никогда не допускались в их дом и миссию. А ликургские Грифитсы не желали им ничего сообщать.

Но однажды вечером (примерно в то время, когда Белнеп и Джефсон весьма серьезно обсуждали вопрос об отсутствии родителей Клайда и о том, не следует ли что-то предпринять на этот счет) Эста, которая вскоре после переезда Клайда в Ликург вышла замуж и жила в юго-восточной части Денвера, случайно прочитала в «Роки маунтейн ньюс» следующую заметку, напечатанную сразу после того, как совет присяжных в Бриджбурге решил, что дело Клайда должно быть передано в суд:

«УБИЙЦА РАБОТНИЦЫ ПРЕДАН СУДУ Бриджбург, штат Нью-Йорк, 8 августа. Состоялось экстренное заседание совета присяжных, назначенное губернатором Стаудербеком для рассмотрения дела Клайда Грифитса, племянника богатого фабриканта воротничков в Ликурге (штат Нью-Йорк), носящего ту же фамилию. Клайд Грифитс был недавно обвинен в убийстве мисс Роберты Олден из Бильца (штат Нью-Йорк), совершенном на озере Большой Выпи в Адирондакских горах 8 июля сего года. Сегодня совет присяжных подтвердил обвинительное заключение по делу Клайда Грифитса, обвиняемого в убийстве с заранее обдуманным намерением.

В соответствии с этим решением Грифитс, упорно утверждающий, несмотря на почти неоспоримые улики, что предполагаемое убийство было фактически несчастным случаем, в сопровождении своих адвокатов Элвина Белнепа и Рубена Джефсона

предстал перед судьей Верховного Суда Оберуолцером и заявил, что он невиновен. Он оставлен под стражей до суда, который назначен на 15 октября.

Грифитсу всего 22 года; вплоть до дня ареста он был в Ликурге признанным членом светского общества. Предполагают, что он оглушил и затем утопил свою возлюбленную, молодую работницу, которую он обольстил и собирался оставить ради девушки со средствами. Защитники по этому делу приглашены богатым дядей обвиняемого, фабрикантом из Ликурга, который до сих пор держится в стороне. Помимо этого, как здесь утверждают, никто из родных не выступил в его защиту».

Эста тотчас бросилась к матери. Несмотря на точность и ясность этого сообщения, она не хотела верить, что речь идет о Клайде. И все же в упоминании о месте происшествия и в именах была роковая, неопровержимая правда: богатые Грифитсы из Ликурга, отсутствие родных.

Несколько минут езды на трамвае, и она уже в доме на Бидуэл-стрит – здесь находились меблированные комнаты и миссия, известная под названием «Звезда упования»; вряд ли эта миссия была много лучше той, что существовала прежде в Канзас-Сити, Правда, здесь было довольно много комнат, где приезжие за двадцать пять центов находили приют на ночь (считалось, что таким образом окупается содержание дома), однако все это требовало большого труда и приносило очень мало дохода. К тому же Фрэнк и Джулия, которым уже давно опостылело тоскливое однообразие окружающего, теперь всерьез старались освободиться от всего этого и всю тяжесть работы в миссии переложили на плечи отца и матери. Джулия, которой уже минуло девятнадцать лет, служила кассиршей в ресторане, а Фрэнк – ему скоро должно было исполниться семнадцать – нашел недавно работу в фруктово-овощном магазине. Теперь в доме оставался днем только один из детей – незаконный сын Эсты, маленький Рассел (ему шел четвертый год); дедушка с бабушкой из осторожности выдавали его за сироту, усыновленного ими в Канзас-Сити. Это был темноволосый мальчик, несколько напоминавший Клайда, в уже в столь раннем возрасте его, как прежде Клайда, обучали всем основным истинам, которые так раздражали Клайда в пору его детства.

Когда пришла Эста (ныне очень скромная и степенная замужняя женщина), миссис Грифитс была занята уборкой: подметала, вытирала пыль, приводила в порядок постели. Но, взглянув на бледную, растерянную дочь, которая явилась в необычный час и кивком позвала мать в соседнюю пустующую комнату, миссис Грифитс, за годы всевозможных испытаний более или менее привыкшая к подобным неожиданностям, прервала работу, и глаза ее внезапно затуманились предчувствием недоброго. Что за новая беда грозит им всем? Ибо робкие серые глаза Эсты и весь ее вид предвещали несчастье. Развернув газету, которую она держала в руках, и с тревожной заботой глядя на мать, Эста указала на заметку. Миссис Грифитс стала просматривать газетные строки. Но что это?

«УБИЙЦА РАБОТНИЦЫ ПРЕДАН СУДУ»

«ОБВИНЕН В УБИЙСТВЕ МИСС РОБЕРТЫ ОЛДЕН… НА ОЗЕРЕ БОЛЬШОЙ ВЫПИ, В АДИРОНДАКСКИХ ГОРАХ, 8 ИЮЛЯ СЕГО ГОДА»

«ОБВИНЯЕМОГО В УБИЙСТВЕ С ЗАРАНЕЕ ОБДУМАННЫМ НАМЕРЕНИЕМ»

«НЕСМОТРЯ НА ПОЧТИ НЕОСПОРИМЫЕ УЛИКИ, ЗАЯВИЛ, ЧТО ОН НЕВИНОВЕН»

«ОСТАВЛЕН ПОД СТРАЖЕЙ ДО СУДА, КОТОРЫЙ НАЗНАЧЕН НА 15 ОКТЯБРЯ»

«ОГЛУШИЛ И ЗАТЕМ УТОПИЛ СВОЮ ВОЗЛЮБЛЕННУЮ»

«НИКТО ИЗ РОДНЫХ НЕ ВЫСТУПИЛ В ЕГО ЗАЩИТУ»

Так ее глаза и мозг автоматически выхватывали важнейшие строки. И снова так же быстро пробегали по ним:

«КЛАЙД ГРИФИТС, ПЛЕМЯННИК БОГАТОГО ФАБРИКАНТА ВОРОТНИЧКОВ В ЛИКУРГЕ (ШТАТ НЬЮ-ЙОРК)»

Клайд, ее сын! И совсем недавно, – нет, уже больше месяца… (они с Эйсой даже стали беспокоиться, что он не…) восьмого июля! А сегодня одиннадцатое августа! Значит – да! Но нет, это не ее сын! Невозможно! Клайд – убийца девушки, которая была его возлюбленной! Но он совсем не такой! Он писал ей, что делает успехи: он заведующий большим отделением на фабрике, у него прекрасное будущее. Но ни слова ни о какой девушке! И вдруг! Да, но была же та девочка в Канзас-Сити… Боже милостивый! И Грифитсы в Ликурге, брат ее мужа, – они знают все и не написали! Конечно, им стыдно и противно. Или все равно. Хотя нет, ведь Сэмюэл пригласил двух адвокатов. Но какой ужас! Эйса! Другие дети! Что будет в газетах! А миссия! Придется снова бросить все и уехать куда-нибудь в другой город. Однако виновен он или нет? Она должна это знать, прежде чем осудить его. В газете говорится, что он не признал себя виновным. О, этот мерзкий, грешный, блестящий отель в Канзас-

Сити! Эти испорченные юноши – друзья Клайда. Эти два года, когда он блуждал неизвестно где, не писал родителям, жил под именем Гарри Тенета! Что он делал? Чему учился?

Она стояла неподвижно, преисполненная безмерного страдания и ужаса, от которых ее в эту минуту не могла защитить даже вера в откровение и утешение, в божественные истины и божественное милосердие и спасение, вера, которую она всегда проповедовала. Ее мальчик! Ее Клайд! В тюрьме, обвиняемый в убийстве! Она должна телеграфировать, написать, может быть, поехать туда. Но как достать денег? И что делать там, когда она приедет? Где взять мужество и веру, чтобы все это вынести? И опять-таки: ни Эйса, ни Фрэнк, ни Джулия не должны знать. Эйса с его воинствующей и все же как бы бессильной верой, с усталыми глазами и слабеющим телом… И почему Фрэнк и Джулия, едва вступающие в жизнь, должны нести на себе такое бремя, такое клеймо?

Боже милостивый! Неужели ее несчастья никогда не кончатся?

Она обернулась; большие, огрубевшие от работы руки ее дрожали, и в них дрожала газета. Эста стояла рядом; она в последнее время особенно сочувствовала матери, понимая, как много тяжелого ей пришлось пережить. Мать порою казалась такой усталой, а теперь еще этот удар! Однако Эста знала, что мать сильнее всех в семье – такая крепкая, широкоплечая, смелая; пусть на свой лад – упрямая, негибкая, – она все же настоящий кормчий душ.

– Мама, я просто не могу поверить, что это Клайд! – только и сумела сказать Эста. – Это просто невозможно, правда?

Но миссис Грифитс все смотрела на зловещий газетный заголовок, потом быстро обвела своими серо-голубыми глазами комнату. Широкое лицо ее побледнело, словно облагороженное безмерным напряжением и безмерным страданием. Ее грешный, заблудший и, конечно, несчастный сын так безумно мечтал выдвинуться, сделать карьеру, и вот ему грозит смерть, казнь на электрическом стуле за преступление, за убийство! Он убил кого-то – бедную работницу, говорится в газете.

– Шш!.. – прошептала она, многозначительно приложив палец к губам. – Он (это значило – Эйса) пока не должен знать. Нужно прежде всего телеграфировать или написать. Пусть ответят на твой адрес. Я дам тебе денег. Но мне надо на минутку присесть. Ослабела немного. Я сяду здесь. Дай мне Библию.

Миссис Грифитс присела на край простой железной кровати, взяла со столика Библию и инстинктивно раскрыла ее на псалмах 3 и 4.

«Господи, как умножились враги мои».

«Когда я взываю, услышь меня, боже правды моей».

И затем про себя, внешне даже спокойно, она прочитала 6, 8, 10, 13, 23, 91 псалмы, а Эста стояла рядом в безмолвном и горестном удивлении.

– О мама, я не могу этому поверить! Это так ужасно!

Но миссис Грифитс продолжала читать. Казалось, она наперекор всему сумела укрыться в каком-то тихом пристанище, где хотя бы в эти минуты ничто человеческое, злое и греховное не могло ее настигнуть. Наконец она совершенно спокойно закрыла книгу и поднялась.

– Теперь мы должны подумать, что написать в телеграмме и кому ее послать. Я хочу сказать, Клайду, конечно… в этот… как его… в Бриджбург, – прибавила она, заглянув в газету, и тут же процитировала из Библии: «Страшный в правосудии, услышь нас, боже». – Или, может быть, этим двум адвокатам, тут есть их имена. Я боюсь телеграфировать брату Эйсы, вдруг он ответит Эйсе. («Ты – оплот мой и сила моя. На тебя уповаю»). Но, я думаю, Клайду передадут телеграмму, если послать ее на имя судьи или этих адвокатов, как по-твоему? Нет, пожалуй, пошлем лучше прямо Клайду. («Он водит меня к водам тихим»). Нужно просто написать, что я прочла о нем в газете, и все же любовь моя с ним, и я верю в него, но он должен сказать мне всю правду и написать, что мы должны делать. Если ему нужны деньги, надо будет подумать, как их достать («Он укрепляет душу мою»).

И тут, утратив кратковременное внешнее спокойствие, она вновь стала ломать своя большие огрубевшие руки.

– Нет, этого не может быть. Боже мой, нет? Ведь он мой сын. Все мы любим его и верим в него. Мы должны сказать ему об этом. Бог освободит его. Бодрствуй и молись! Не теряй веры. Под сенью крыл его обретешь покой душевный…

Она была вне себя и едва сознавала, что говорит. Эста, стоя рядом, повторяла:

– Да, мама! Да, конечно! Я напишу, телеграфирую! Конечно, ему передадут?

Но в то же время она думала: «Господи, господи! Обвинен в убийстве – что может быть хуже! Нет, конечно, это неправда. Этого не может быть. Что, если он узнает! (Она думала о муже.) И это – после истории с Расселом. И после неприятностей, которые были у Клайда в Канзас-Сити… Бедная мама! У нее столько горя…»

Немного погодя, стараясь, чтобы их не заметил Эйса, помогавший прибирать в соседней комнате, они обе спустились в зал миссии, где стояла тишина и многочисленные надписи на стенах возвещали милосердие, мудрость и вечную справедливость господа бога.

Глава 18

Телеграмма, составленная в вышеописанном духе, была немедленно отправлена на имя Белнепа и Джефсона, и они посоветовали Клайду сейчас же ответить, что у него все в порядке: он имеет прекрасных защитников, не нуждается в денежной помощи, и, пока его защитники не посоветуют, лучше никому из родных не приезжать сюда, поскольку все, что можно для него сделать, уже делается. В то же время они и сами написали миссис Грифитс, заверяя ее в своем желании помочь Клайду и рекомендуя пока не вмешиваться в ход событий.

Таким образом, опасность появления западных Грифитсов на Востоке была устранена; однако Белнеп и Джефсон отнюдь не возражали бы, чтобы кое-какие сведения о родителях Клайда, об их занятиях, местонахождении, верованиях и привязанности к сыну просочились в газеты, которые упорно подчеркивали, что близкие не проявляют к нему ни малейшего интереса. Поэтому для адвокатов вышло очень удачно, что телеграмма матери, полученная в Бриджбурге, немедленно была прочитана людьми, которые особенно интересовались этим делом и поспешили по секрету сообщить ее содержание кое-кому из публики и из представителей печати; в результате все семейство в Денвере тотчас было разыскано и проинтервьюировано. И вскоре во всех западных и восточных газетах появились более или менее полные отчеты о теперешнем положении семьи Клайда, о деятельности его родителей в качестве руководителей миссии, об их крайней набожности, граничащей с фанатизмом, о своеобразии их религиозных верований; говорилось даже о том, что в ранней юности Клайда тоже заставляли ходить вместе со всей семьей по улицам и петь псалмы, – разоблачение, которое почти так же неприятно поразило общество в Ликурге и на Двенадцатом озере, как и самого Клайда.

А миссис Грифитс, честная и глубоко искренняя в своей вере и деятельности, без колебаний сообщала репортерам, которые являлись к ней один за другим, все подробности о миссионерских трудах своих и мужа в Денвере и других местах. Рассказала она и о том, что ни Клайд, ни остальные дети никогда не знали обычных детских радостей и развлечений. Однако ее мальчик, в чем бы его теперь не обвиняли, не был дурным по природе своей, и она не верит, что он действительно виновен в таком преступлении. Тут какое-то несчастное стечение обстоятельств, и он, конечно, объяснит это на суде. Но если он и совершил что-нибудь безрассудное, во всем виновата несчастная случайность, прервавшая несколько лет назад деятельность миссии в Канзас-Сити и заставившая всю семью переехать в Денвер, так что Клайд был предоставлен самому себе. И это по ее совету он написал богатому брату ее мужа в Ликург, что и повлекло за собою его переезд туда.

Клайд у себя в камере читал эти сообщения, и его мучило жгучее чувство унижения и досады. Наконец он написал матери о своем неудовольствии: зачем она рассказывает так много о прошлом и об их миссионерской деятельности, ведь она знает, что он никогда не любил этого и терпеть не мог ходить по улицам. Очень многие смотрят на это совсем иначе, чем она и отец, в частности, его дядя и двоюродный брат и все те богатые люди, с которыми ему довелось познакомиться и которые сумели устроить свою жизнь совсем по-иному и с несравненно большим блеском. Теперь, говорил он себе, Сондра, конечно, прочтет все это, все, что он надеялся скрыть.

Однако, несмотря ни на что, он невольно думал о матери с нежностью и уважением – так много было в ней силы и искренности, а ее неизменная и непоколебимая любовь к нему глубоко его трогала. В ответ на его письмо она написала, что ей очень жаль, если она сделала ему больно или оскорбила его чувства. Но разве не следует всегда говорить правду? Пути господни ведут к добру, и никакое зло не может, конечно, возникнуть из служения делу господа. И Клайд не должен просить ее лгать. Но если он скажет хоть слово, она с радостью попытается достать денег и приедет, чтобы ему помочь… она будет сидеть с ним в камере и думать вместе с ним о его спасении и держать его руки в своих… Но Клайд хорошо знал, что она будет ждать от него правды, неотступно глядя ему прямо в глаза своими ясными голубыми глазами. И потому, подумав, он решил, что ей пока не нужно приезжать. Сейчас он бы этого не вынес.

Ибо перед ним, подобно огромной базальтовой скале над бурным разгневанным морем, стоял суд, а это означало свирепое нападение Мейсона, на которое он сможет отвечать главным образом небылицами, сочиненными для него Джефсоном и Белнепом. Хотя он и старался успокоить свою совесть мыслью о том, что в последнюю минуту у него не хватило мужества ударить Роберту, тем не менее рассказать эту новую историю и стоять на своем было для него бесконечно трудной задачей. Это понимали оба адвоката, и поэтому Джефсон все чаще появлялся у двери в камеру Клайда, приветствуя его словами:

– Ну, как сегодня наши делишки?

Как странно выглядели грубые, неряшливые, небрежно сшитые костюмы Джефсона! И его истрепанная темно-коричневая мягкая шляпа, низко надвинутая на глаза! И длинные, костлявые узловатые руки, в которых чувствовалась огромная сила! И холодные, маленькие голубые глаза – проницательные, полные хитрости и непреклонной решимости, которую он старался передать Клайду, – и это ему отчасти удавалось!

– Ну, кто еще являлся сегодня? Проповедники, деревенские девчонки или парни Мейсона?

Он спрашивал так потому, что Клайда все время осаждала самая разнообразная публика, жадная до уголовных сенсаций и скандальных любовных историй; печальная гибель Роберты и существование ее красивой и богатой соперницы не давали покоя любопытным. Приходили мелкие провинциальные адвокаты, врачи, лавочники, сельские евангелисты или пасторы – все народ тупой и неотесанный, друзья и знакомые разных городских чиновников; они появлялись у двери камеры Клайда спозаранку, часто в самые неожиданные минуты, и, осмотрев его любопытными, или злыми, или испуганными глазами, задавали вопросы вроде следующих: «Молитесь ли вы, брат? Преклоняете ли колена для молитвы?» (При этом Клайд всегда вспоминал отца и мать.) И далее: «Примирился ли он с богом? Неужели он и вправду отрицает, что убил Роберту Олден?» Девицы спрашивали: «Говорят, вы влюблены? А как ее зовут? А где она сейчас? Расскажите, нам, пожалуйста! Мы никому не скажем! Она будет на суде?» Клайд старался не обращать внимания на такие вопросы или отвечал так двусмысленно, уклончиво и безразлично, как только мог. Они его раздражали, но ведь и Белнеп и Джефсон постоянно внушали ему, что ради собственной пользы он должен казаться возможно более веселым, бодрым и приветливым. Потом являлись журналисты и журналистки в сопровождении художников или фотографов, интервьюировали его, снимали и зарисовывали. Но с этими людьми, по совету Белнепа и Джефсона, он обычно отказывался разговаривать или отвечал только заранее подсказанными ему, заученными фразами.

– Говорите, что хотите, – весело поучал его Джефсон, – лишь бы ничего не сказать. Не вешайте носа. И чтобы с лица не сходила улыбка, понятно? Вы не забываете зубрить свою шпаргалку? (Джефсон снабдил Клайда отпечатанным на машинке длинным списком вопросов, которые наверняка зададут ему на суде; на каждый вопрос он должен будет дать именно такой ответ, какой заготовлен в этой шпаргалке, – или пусть теперь же сочинит и выучит что-нибудь получше. Все вопросы касались поездки на озеро Большой Выпи, причины, заставившей его купить вторую шляпу, пережитого им душевного перелома: почему, когда, где?) Для вас это «Отче наш», понимаете? – А потом он закуривал папиросу, но никогда не предлагал Клайду: чтобы прослыть воздержанным юношей, Клайд не должен был курить здесь.

И после каждого визита Джефсона Клайд некоторое время сам верил, что сумеет вести себя в точности так, как наставлял его адвокат: быстро и уверенно войдет в зал суда, стойко выдержит все взгляды – даже взгляд самого Мейсона, забудет (даже давая показания как свидетель) о своем страхе перед ним, о том, как ужасны все эти известные Мейсону факты, которые он должен объяснить с помощью напечатанных в шпаргалке ответов… забудет Роберту и ее последний крик и душевную боль и муку, вызванную потерей Сондры и всего ее веселого, блестящего мирка.

Но когда вновь наступала ночь или когда приходилось проводить весь долгий день в обществе сухопарого, бородатого Краута или хитрого, изворотливого Сиссела (они вечно околачивались поблизости и часто подходили к двери камеры, чтобы окликнуть его: «Как живем?» – и завести разговор о городских происшествиях или сыграть в шашки или шахматы), Клайд все больше и больше мрачнел и начинал думать, что в конце концов, пожалуй, у него нет никакой надежды на спасение. Ведь он совсем одинок, если не считать адвокатов, матери, брата и сестер! От Сондры, разумеется, ни слова. Оправившись немного от первого потрясения и ужаса, она теперь несколько иначе думала о Клайде: в конце концов, быть может, он убил Роберту и сделался отверженным, жертвой, только из-за любви к ней. И все же общество относилось к нему так враждебно, с таким ужасом, что она не отважилась даже думать о том, чтобы написать ему хоть слово. Ведь он убийца! И вдобавок эта его жалкая семья! В газетах пишут, что его родители, живущие на Западе, – просто уличные проповедники и сам Клайд мальчиком распевал псалмы на улицах!

Но порою она невольно опять вспоминала о его пылкой, безрассудной и, очевидно, всепожирающей страсти. Как горячо он, должно быть, ее любил, если мог решиться на такое ужасное дело! Быть может, когда-нибудь, много позже, когда об этой истории немного забудут, можно будет как-нибудь осторожно, не подписываясь, ему написать? Пусть он знает, что не совсем забыт, ведь он так горячо ее любил. Но нет, нет… родители… если они узнают или заподозрят… и общество… и все ее прежние приятели… Нет! Во всяком случае, не теперь. Быть может, после, когда он будет освобожден или… или… осужден… она сама не знает. И все же она очень страдала, каким бы мерзким и отвратительным ни казалось ей ужасное преступление, при помощи которого Клайд хотел ее завоевать.

А Клайд в это время ходил взад и вперед по камере, или смотрел сквозь тяжелые решетки окна на мрачную площадь, или читал и перечитывал газеты, или нервно перелистывал страницы журналов и книг, которые доставлял ему адвокат, или играл в шашки и шахматы, или обедал: Белнеп и Джефсон специально договорились с тюремным начальством (таково было желание дяди Клайда), чтобы его меню состояло из лучших блюд, чем те, что обычно подаются рядовым заключенным.

И все снова и снова – из-за того, что Сондра, по-видимому, была безвозвратно, навсегда потеряна для него – он спрашивал себя, хватит ли у него сил продолжать эту, как ему порой казалось, почти бесполезную борьбу.

Но по временам, среди ночи или перед рассветом, когда вся тюрьма затихала, – сны… призрачные видения того, что больше всего страшило его и лишало последнего мужества… – он вскакивал на ноги, расширенными глазами глядя в одну точку. Сердце его неистово колотилось, холодный пот выступал на лбу и ладонях. Электрический стул – где-то там, в тюрьме штата

– Клайд прежде читал о нем, о том, как умирают на нем люди… И он начинал ходить взад и вперед и думал, думал… если все пойдет не так, как уверяет Джефсон… если он будет осужден и в новом судебном разбирательстве откажут… тогда… Нельзя ли тогда как-нибудь вырваться из этой тюрьмы и бежать? Эти старые кирпичные стены… Какой они толщины? Может быть, все-таки можно при помощи молотка, камня, чего-нибудь, что могли бы ему принести… хотя бы брат Фрэнк, или сестра Джулия, или Ретерер, или Хегленд… если б только он мог списаться с кем-нибудь из них и уговорить их принести ему что-нибудь подходящее… Если бы добыть пилку, чтобы перепилить решетку! И потом бежать, бежать, как он должен был бежать тогда, в тех лесах…

Но как? И куда?

Глава 19

Пятнадцатое октября. Хмурые тучи и пронизывающий, почти январский ветер, который сгоняет в кучи опавшие листья, а потом внезапными порывами взметает их, и они кружатся и мечутся туда и сюда, словно летящие птицы. И, несмотря на предчувствие борьбы и трагедии, охватившее многих, несмотря на возникающий в глубине сознания призрак электрического стула, – какое-то праздничное настроение: фермеры, лесорубы, торговцы сотнями съезжаются в фордах и бьюиках – с женами, дочерьми и сыновьями, даже с младенцами на руках. Они собрались на площади задолго до открытия суда, а когда приблизился назначенный час, столпились – кто у ворот тюрьмы, в надежде хоть мельком взглянуть на Клайда, кто у ближайшего к тюрьме входа в здание суда: через эти двери должны были провести Клайда, и здесь публика могла увидеть его, а затем и пройти в зал суда. Голуби невесело бродят по карнизам и по краю крыши старинного здания.

Мейсона окружают его приближенные – Бэртон Бэрлей, Эрл Ньюком, Зилла Саундерс и молодой, недавно окончивший курс обучения юрист по фамилии Мэниго: они помогают ему приводить в порядок материалы следствия и давать наставления и инструкции различным свидетелям, уже собравшимся в приемной прокурора, чье имя стало в эти дни известно всей стране. А на улице, около суда, крики разносчиков: «Вот орехи!», «Сосиски! Горячие сосиски!», «Покупайте историю Клайда Грифитса со всеми письмами Роберты Олден! Только двадцать пять центов!» (Один приятель Бэртона Бэрлея выкрал копии писем Роберты из канцелярии Мейсона и продал их издателю бульварных романов в Бингхэмптоне, а тот немедленно выпустил их отдельной брошюркой вместе с описанием «страшного преступления» и с портретами Роберты и Клайда).

А в это время в тюремной приемной сидят Элвин Белнеп и Рубен Джефсон и с ними Клайд, облаченный в тот самый костюм, который он пытался навсегда схоронить в водах Двенадцатого озера. При этом на Клайде новый галстук, новая сорочка и новые башмаки, – все для того, чтобы он предстал на суде в своем лучшем виде, таким, каким он был в Ликурге. Рядом Джефсон – длинный и тощий и, по обыкновению, одетый кое-как, но с той железной силой, сквозящей в каждой черточке лица, в каждом движении, в каждом взгляде, которая всегда так поражала Клайда. Белнеп наряден, как первый франт из Олбани; на него падает вся тяжесть предварительного изложения дела на суде и участия в перекрестном допросе свидетелей.

– Смотрите, ничего не пугайтесь и не подавайте виду, что нервничаете, что бы там ни стали говорить и делать на суде, слышите, Клайд? – заговорил он. – Мы будем с вами все время, с начала до конца. Вы будете сидеть между нами. Улыбайтесь или делайте равнодушное лицо, но только не сидите с испуганным видом. Однако не нужно быть и слишком развязным и веселым, а то они решат, что вы относитесь ко всему этому несерьезно. Понимаете, вы все время должны выглядеть приятным, симпатичным юношей и держаться как подобает джентльмену. И ни в коем случае не пугайтесь – это может очень повредить и вам и нам. Ведь вы не виноваты, значит, у вас нет никаких причин бояться, хотя вы, конечно, должны быть огорчены случившимся. Я уверен, что вы прекрасно все это осознали.

– Да, сэр, я вас понимаю, – ответил Клайд. – Я все сделаю, как вы говорите. И потом – я ведь не ударял ее нарочно, это чистая правда, чего же мне бояться?

И он взглянул на Джефсона, на которого по чисто психологическим причинам полагался больше, чем на Белнепа. В самом деле: сказанные им сейчас слова были точным повторением того, что твердил ему Джефсон два месяца подряд. И сейчас, поймав его взгляд, Джефсон придвинулся ближе и, в упор глядя на Клайда своими сверлящими, но в то же время ободряющими голубыми глазами, начал:

– Вы не виновны! Вы не виновны, Клайд, ясно? Вы теперь вполне это понимаете и должны все время верить в это и помнить об этом, потому что так оно и есть. У вас не было намерения ударить ее, слышите? Вы клянетесь в этом. Вы поклялись мне и

Белнепу, и мы вам верим. Обстоятельства таковы, что мы не можем заставить средний состав присяжных понять это и поверить в это, если мы изложим все в точности так, как вы рассказываете. Это не пройдет, я уже вам объяснял. Ну, так что ж! Вы знаете правду, мы – тоже. Но чтобы добиться для вас справедливого приговора, нам приходится дать несколько иное, подставное объяснение, подменить им правду, которая заключается в том, что вы ударили мисс Олден нечаянно: мы не можем надеяться, что присяжные поймут эту правду в чистом, неприкрашенном виде. Понимаете?

– Да, сэр, – ответил Клайд, который всегда слушал этого человека с почтительным вниманием.

– Именно поэтому, как я часто говорил вам, мы и изобрели эту историю о внутреннем переломе, который вы пережили. Это не совсем верно по времени, но ведь вы действительно почувствовали перемену в себе, когда были на озере. И в этом наше оправдание. Но, ввиду всех странных обстоятельств дела, присяжные никогда этому не поверят, и потому мы просто перенесем переворот, который произошел в вашей душе, на другое время, – понятно? Устроим его до того, как вы поехали кататься на лодке. Это не совсем верно, но ведь неверно и обвинение, будто вы ударили ее намеренно. И вас не должны посадить на электрический стул по неправильному обвинению, – по крайней мере, я на это не согласен. – Он посмотрел Клайду прямо в глаза, потом прибавил: – Понимаете, Клайд, это все равно, что заплатить за картошку или за костюм пшеницей или бобами, потому что, хотя у вас и есть деньги, кто-то вдруг ни с того ни с сего объявил, будто они не настоящие, и теперь у вас не хотят их брать. Поэтому вам приходится расплачиваться пшеницей или бобами. Вот мы и дадим им бобы. Но оправданием служит то, что вы не виновны. Вы не виновны? Вы поклялись мне, что под конец не хотели ее ударить, какие бы у вас ни были намерения сначала. И этого для меня довольно. Вы не виновны.

И тут, взяв Клайда за отвороты пиджака и пристально глядя в его карие глаза, взгляд которых выдавал напряжение и тревогу, Джефсон добавил твердо и убежденно (для него самого это убеждение было лишь иллюзией, но он во что бы то ни стало хотел внушить его Клайду):

– И в Ту минуту, когда вы станете слабеть или нервничать или когда будете отвечать на вопросы Мейсона и вам покажется, что он берет верх, запомните, я хочу, чтобы вы твердо сказали себе: «Я не виновен! Не виновен! Они не имеют права меня осудить, потому что я на самом деле не виновен». А если это не поможет вам взять себя в руки, – посмотрите на меня. Я буду рядом. Если вы начнете волноваться, вам надо будет только посмотреть мне прямо в глаза, вот как я сейчас смотрю. И вы будете знать, что я хочу, чтобы вы взяли себя в руки и вели себя так, как я вам сейчас говорю: вы присягнете в том, в чем мы просили вас присягнуть, что бы вы при этом ни чувствовали, хотя бы даже вам казалось, будто это неправда. Я не допущу, чтобы вас казнили за то, чего вы не делали, только потому, что вам не позволяют подтвердить под присягой настоящую правду. Ну, вот и все!

И он весело и ласково похлопал Клайда по спине, а Клайд, ощутив необычайный прилив бодрости, почувствовал в эту минуту, что, конечно, он сумеет вести себя так, как ему сказано, и именно так и сделает.

Потом Джефсон вынул часы и взглянул сперва на Белнепа, затем в ближайшее окно. Толпа уже собралась около суда и у дверей тюрьмы, – здесь репортеры и фотографы нетерпеливо ждали появления Клайда, чтобы на ходу заснять его и всякого, кто причастен к делу.

– Ну, как будто пора, – невозмутимо сказал Джефсон. – Похоже, что все население округа Катараки намерено попасть в зал суда. У нас будет обширная аудитория. – И, обращаясь к Клайду, прибавил: – Вам нечего смущаться, Клайд. Все это просто-напросто деревенский люд, олухи, которые собрались развлечься городским представлением.

И Джефсон и Белнеп выходят. Их сменяют возле Клайда Краут и Сиссел; среди перешептываний толпы защитники пересекают заросшую жухлой осенней травой площадь и входят в здание суда.

А еще через пять минут, предшествуемый Слэком и Сисселом, сопровождаемый Краутом и Суэнком и сверх того охраняемый еще дополнительными стражами – по два справа и слева – на случай каких-либо волнений и покушений со стороны толпы, выходит и сам Клайд. Он старается держаться по возможности бодро и уверенно; но кругом такое множество грубых и странных лиц – бородатые мужчины в тяжелых енотовых куртках и шапках или в потрепанной, выцветшей, неопределенного вида одежде, обычной для фермеров в этих краях, и их жены и дети… И все смотрят на него с таким недобрым любопытством… Клайда пробирает дрожь: кажется, вот-вот кто-нибудь выстрелит в него из револьвера или кинется с ножом. Конвоиры с револьверами в руках своим видом лишь усиливают его тревогу. Однако он слышит только крики: «Ведут! Ведут!», «Вот он!», «А ведь по виду не скажешь, что убийца!».

Щелкают затворы фотоаппаратов, и спутники еще теснее окружают его, а у Клайда все холодеет внутри.

И вот пять коричневых каменных ступеней и двери старого здания суда, а внутри другая лестница, ведущая в просторный, длинный зал с высоким потолком и стенами, выкрашенными в коричневый цвет, с высокими, узкими, закругленными вверху окнами справа и слева и в дальнем, восточном конце: в них вливаются потоки света. А в западном конце зала возвышение, и на

нем темно-коричневое резное судейское кресло, и за ним портрет, а справа и слева и в глубине зала – скамьи, ряды скамей, каждый последующий ряд немного выше предыдущего, и все сплошь заполнены народом, и в проходах между ними всюду тесно стоят люди. Когда Клайд вошел, все подались вперед, вытянули шеи, и в него впились десятки колючих, пытливых глаз, и по залу прошел гул. Он слышал это жужжание и шушуканье, проходя мимо скамей к свободному пространству в передней части зала: там за столом сидели Белнеп и Джефсон и между ними стоял незанятый стул для него. Всем существом он ощущал вокруг бесчисленные чужие глаза и лица, и ему не хотелось на них смотреть.

Как раз напротив, за другим столом, ближе к возвышению, на котором стояло судейское кресло, сидели Мейсон и еще несколько человек; Клайд узнал Эрла Ньюкома и Бэртона Бэрлея; с ними был какой-то человек, которого он прежде никогда не видел. Когда Клайд вошел, все четверо обернулись и внимательно посмотрели на него.

Эту группу кольцом окружали репортеры и фотографы – мужчины и женщины.

Немного погодя Клайд вспомнил совет Белнепа, выпрямился и с деланно непринужденным видом (эта напускная непринужденность плохо сочеталась с его напряженным бледным лицом и неуверенным взглядом) посмотрел в сторону репортеров, которые либо разглядывали его, либо делали зарисовки. Он даже шепнул: «Полно народу!» Но тут, прежде чем он успел еще что-нибудь сказать, где-то раздались два громких удара и затем возглас: «К порядку! Суд идет! Прошу встать!» И разом шепот и движение в зале сменились глубокой тишиной. С южной стороны возвышения отворилась дверь и вошел рослый человек изысканной внешности, с цветущим, свежевыбритым лицом, облаченный в широкую черную мантию; он быстро направился к большому креслу за судейским столом, пристально посмотрел на всех присутствующих, но, казалось, не увидел никого в отдельности и опустился в кресло. И тогда все в зале сели.

Потом из-за столика, стоящего перед возвышением левее судейского стола, поднялся человек постарше, пониже ростом и провозгласил:

– Внимание, внимание! Все лица, привлекаемые к разбору настоящего дела в Верховном суде штата Нью-Йорк, округ Катараки, приблизьтесь и слушайте! Заседание суда открывается!

Через несколько мгновений этот человек – секретарь суда – снова встал и объявил:

– Штат Нью-Йорк против Клайда Грифитса!..

Тотчас из-за стола встал Мейсон и провозгласил:

– Народ готов.

После чего встал Белнеп и с изящным, учтивым поклоном заявил:

– Ответчик готов.

Затем секретарь суда опустил руку в квадратный ящик, стоявший перед ним на столе, и, вытащив оттуда листок бумаги, громко прочитал:

– Саймон Динсмор!

Маленький горбатый человечек в коричневом костюме, с руками, похожими на клещи, и с мордочкой хорька, рысцой подбежал к скамье присяжных и уселся. К нему сейчас же подошел Мейсон (его лицо с приплюснутым носом сегодня казалось особенно грозным, а громкий голос был слышен в самых дальних уголках зала) и стал забрасывать его вопросами: сколько лет? чем занимается? женат? сколько детей? признает ли смертную казнь? Клайд сразу заметил, что последний вопрос пробудил в присяжном не то злобу, не то какое-то подавленное волнение: он быстро и с ударением ответил:

– Еще как признаю – для некоторых!

Этот ответ вызвал у Мейсона легкую улыбку, а Джефсон обернулся и посмотрел на Белнепа; тот иронически пробормотал:

– А говорят, что тут возможен справедливый суд.

Но Мейсон и сам почувствовал, что честный фермер чересчур подчеркивает свое уже сложившееся мнение, и заявил:

– С дозволения суда народ освобождает кандидата в присяжные.

Белнеп, встретив вопросительный взгляд судьи, кивнул в знак согласия, и фермер был на сей раз освобожден от обязанностей присяжного.

А клерк сразу же достал из ящика другой листок бумаги и провозгласил:

– Дадлей Ширлайн!

Высокий худой человек, лет тридцати восьми – сорока, опрятно одетый, педантичный и осторожный, подошел и занял место на скамье присяжных. И Мейсон стал задавать ему те же вопросы, что и первому.

Тем временем Клайд вопреки всем наставлениям Белнепа и Джефсона уже впал в оцепенение и сидел похолодевший и безжизненный. Он чувствовал, что вся эта публика ему глубоко враждебна. Его бросило в дрожь при мысли, что среди этой массы людей должны быть и отец и мать Роберты, а может быть, и ее сестры и братья… они смотрят на него и от души надеются (об этом несколько недель кряду твердили газеты), что он понесет наказание за все…

А те, кто встречался с ним в ликургском обществе и на Двенадцатом озере, – ни один из них не счел нужным как-либо снестись с ним, ведь все они, разумеется, убеждены в его виновности, – пришел ли сюда кто-нибудь из них? Например, Джил, Гертруда или Трейси Трамбал? Или Вайнет Фэнт и ее брат? Вайнет была в лагере на Медвежьем озере в тот день, когда его арестовали. Клайд перебирал в памяти всех этих светских людей, с которыми он встречался в последний год и которые теперь могли увидеть его вот таким

– бедным, ничтожным, покинутым, обвиненным в страшном преступлении. И это после всех его россказней о богатой родне здесь и на Западе! Теперь все они, конечно, считают его чудовищем. Ведь они знают только о его преступном замысле, и им нет дела до того, что он пережил… им неизвестны его тревоги и страхи, безвыходное положение, в котором он оказался из-за Роберты, его любовь к Сондре, и все, что она для него значила. Они этого не поймут, да ему и не дадут ничего сказать об этом, если бы он даже и захотел.

И все же надо, как советовали Белнеп и Джефсон, сидеть прямо и улыбаться или по крайней мере спокойно и смело встретить устремленные на него взгляды. Итак, он выпрямился – и на минуту окаменел. Боже, какое сходство! Налево от него на скамье сидела молодая женщина или Девушка, казавшаяся живым портретом Роберты. Конечно, это ее сестра Эмилия, – Роберта о ней часто говорила… но какой ужас! Его сердце едва не остановилось. Может быть, это Роберта? И она пронизывает его призрачным и в то же время живым, гневным, обвиняющим взглядом. А рядом – еще одна девушка, тоже немного похожая на Роберту, и рядом с нею старик, отец Роберты, – тот морщинистый старик, которого Клайд видел в день, когда зашел к нему на ферму спросить о дороге. Теперь он чуть ли не с яростью смотрит на Клайда серыми измученными глазами, и взгляд этот ясно говорит: «Убийца! убийца!» А подле него кроткая, маленькая, болезненная женщина лет пятидесяти, под вуалью. Лицо у нее в морщинах, и глаза ввалились; встретив взгляд Клайда, она опустила глаза и отвернулась, словно испытывая острую боль, но не ненависть. Ее мать, вне всякого сомнения. Как это ужасно! Немыслимо тяжело! Сердце Клайда стучало неровно, руки тряслись.

Стараясь овладеть собой, он опустил глаза вниз, на руки Белнепа и Джефсона, лежавшие перед ним на столе; адвокаты поигрывали карандашами над раскрытыми блокнотами и смотрели на Мейсона и на очередного кандидата в присяжные (на сей раз это был какой-то толстяк с глуповатым лицом). Какие разные руки у Белнепа и Джефсона! Такие холеные, белые, с короткими пальцами у одного – и такие смуглые, узловатые и костлявые, с длинными пальцами у другого. Мягко и вежливо Белнеп произносит: «Я просил бы кандидата покинуть скамью присяжных», – и совсем по-другому, как выстрел, звучит отрывистый голос Мейсона: «Освобожден!» – или медлительный, но властный шепот Джефсона: «Спровадьте-ка его, Элвин. Он нам не подходит». И вдруг Джефсон обращается к Клайду:

– Выше голову, Клайд! Посмотрите кругом! Не гнитесь в три погибели. Смотрите людям в глаза! И улыбайтесь естественно, раз уж вы хотите улыбнуться. Смотрите им прямо в лицо. Они ничего с вами не сделают. Это просто фермеры, пришедшие поглазеть на занятное зрелище.

Но Клайд сразу заметил, что несколько репортеров и художников, изучая его, делают наброски и заметки, – и кровь хлынула ему в лицо, потому что он ощущал на себе их пронзительные взгляды и так же отчетливо слышал их едкие слова, как и скрип их перьев. И все это для газет – его побледневшее лицо, дрожащие руки, – от этих людей ничто не укроется… и его мать в Денвере и все в Ликурге прочтут и увидят… узнают, как он посмотрел на Олденов и как они посмотрели на него, а он не выдержал и отвел глаза. И все же… все же… надо взять себя в руки, выпрямиться, посмотреть вокруг, иначе Джефсон будет его презирать.

И Клайд снова постарался овладеть собой и побороть страх; он поднял голову и осмотрелся.

И сейчас же он увидел у стены, рядом с высоким окном, того, кого боялся увидеть, – Трейси Трамбала; очевидно, он заинтересовался этим делом как юрист, а может быть, его привело сюда просто любопытство или что угодно еще, только, конечно, не жалость и не сочувствие к Клайду, – но сегодня, во всяком случае, он был в зале суда; к счастью, в эту минуту он смотрел не на Клайда, а на Мейсона, который задавал какие-то вопросы толстому присяжному. А рядом с Трейси – Фредди Сэлс; близорукие глаза его были скрыты за сильными очками с толстыми стеклами, и он смотрел в сторону Клайда, но, должно быть, не видел его, – во всяком случае, ничем не показал, что видит. О, какая пытка!»

А в пятом ряду от них, с другой стороны, – мистер и миссис Гилпин, которых, разумеется, отыскал Мейсон. Но что они могут показать? Что он бывал у Роберты в ее комнате, которую она у них снимала? И что это делалось тайно? Это, конечно, скверно. И еще мистер и миссис Ньютон! Чего ради их вызвали свидетелями? Пожалуй, чтобы они рассказали, как жила Роберта до встречи с ним? И эта Грейс Марр, – он ее часто видел мимоходом, но говорил с нею, в сущности, только раз, на озере Крам; Роберта ее совсем не любила. Что она скажет? Конечно, она может рассказать, как он познакомился с Робертой, но что еще? А за ними – нет, не может быть! – и все же… да… конечно, это Орин Шорт, тот самый, от которого он узнал о докторе Глене. Ну и ну! Шорт, пожалуй, расскажет об этом… без сомнения, расскажет. Как люди ухитряются все помнить! Ему и в голову не приходило, что так будет.

А вот, немного ближе третьего окна отсюда, но дальше, чем эта ужасная семья Олденов, – громадный бородатый человек, похожий на квакера былых времен, ставшего бандитом; его зовут Хейт. Он допрашивал Клайда в Бухте Третьей мили и потом в тот день, когда его против воли возили на озеро Большой Выпи. Да, это следователь. А рядом – хозяин гостиницы, заставивший тогда Клайда записаться в книге приезжающих. И лодочник, у которого Клайд нанял лодку. И высокий, тощий проводник, который вез их с Робертой со станции Ружейной на озеро Большой Выпи, – смуглый, жилистый, грубый парень; теперь он уставился на Клайда своими маленькими, глубоко сидящими звериными глазами. Он наверняка расскажет все подробности их поездки к озеру. Вспомнит ли он нервозность Клайда в тот день и его нелепые выходки так же ясно, как помнит сейчас сам Клайд? И если вспомнит, как это повлияет на версию о нравственном переломе, который он пережил? Не поговорить ли об этом еще раз с Джефсоном?

Но Мейсон, Мейсон! Какой он упрямый! Какой энергичный! Сколько труда он должен был положить на то, чтобы собрать сюда всех этих людей – всех, кто может свидетельствовать против Клайда! И вот сейчас, когда Клайд взглянул на него, он заявляет (наверно, уже в десятый раз, но без особых результатов, так как скамья Присяжных все еще пустует):

– Приемлем для народа!

И неизменно при этих словах Джефсон слегка поворачивается в сторону Белнепа и, не глядя на него, говорит:

– Не подходит нам, Элвин. Сух и неподатлив.

Тогда Белнеп мягко и вежливо дает отвод присяжному – и почти всегда успешно.

Потом наконец – какое облегчение! – клерк громко, пронзительным старческим голосом объявляет перерыв до двух часов дня. И Джефсон, улыбаясь, говорит:

– Ну вот, Клайд, это первый раунд. Не так уж сложно и не так страшно, правда? А теперь подите и основательно пообедайте, хорошо? После перерыва все будет так же длинно и скучно.

Тем временем Краут, Сиссел и остальные конвоиры подошли ближе и окружили Клайда. И снова – толпа, давка, возгласы: «Вот он! Вот он идет! Вот, вот!» Рослая толстая женщина пробралась почти вплотную к нему и крикнула ему прямо в лицо: «Дайте мне поглядеть на него! Я хочу хорошенько разглядеть вас, молодой человек! У меня тоже есть две дочки».

Но никто из его знакомых из Ликурга и с Двенадцатого озера, которых он заметил среди публики, не подошел к нему. И, конечно, нигде не было видно Сондры. Белнеп и Джефсон не раз уверяли его, что она не появится на суде. Даже ее имя не будет упомянуто, если это окажется возможным. И Грифитсы и Финчли против того, чтобы на нее ссылаться.

Глава 20

Пять долгих дней потратили Мейсон и Белнеп на подбор присяжных. Но наконец двенадцать человек, которым предстояло судить Клайда, принесли присягу и заняли свои места. Все это были люди старые и седые, загорелые и морщинистые – фермеры, деревенские лавочники и среди них – агент по продаже автомобилей Форда, владелец гостиницы на озере Диксон, продавец из мануфактурного магазина Хомбургера в Бриджбурге и разъездной страховой агент, постоянно проживающий в Нардэй, что к северу от Лугового озера. И все, за одним лишь исключением, женатые. И все, за одним лишь исключением, люди если и не слишком нравственные, то по крайней мере религиозные, и все

– уже заранее убежденные в виновности Клайда. Однако почти все они считали себя людьми честными и объективными, и все очень хотели заседать в качестве присяжных на таком волнующем процессе, а потому не сомневались, что сумеют справедливо и беспристрастно отнестись к фактам, которые будут предложены их вниманию.

Итак, все они принесли присягу.

И тотчас поднялся Мейсон.

– Господа присяжные!.. – начал он.

А Клайд, так же как и Белнеп и Джефсон, смотрел на них и спрашивал себя, какое впечатление произведет вступительная речь Мейсона, ибо при существующих особых обстоятельствах нельзя было бы подыскать более энергичного и наэлектризованного обвинителя. Это для него такой счастливый случай! Разве не обращены на него взоры всех граждан Соединенных Штатов? Он полагал, что так оно и есть. Словно некий режиссер вдруг воскликнул: «Свет! Съемка!»

– Несомненно, – начал Мейсон, – на протяжении прошлой недели многих из вас утомляла, а порою и озадачивала величайшая тщательность, с какою представители защиты и обвинения перебирали кандидатов, из числа которых вы избраны. Было нелегко найти двенадцать человек, на чье рассмотрение могли бы быть представлены все обстоятельства этого поразительного дела, – обстоятельства, которые вам надлежит взвесить со всей справедливостью и пониманием, каких требует закон. Что касается меня, джентльмены, то, проявляя такую тщательность, я был движим лишь одним побуждением, думал лишь об одном: чтобы свершилось правосудие! Мною не руководили ни злоба, ни какие-либо предубеждения. Вплоть до девятого июля сего года я лично даже не подозревал ни о существовании подсудимого или его жертвы, ни о преступлении, в котором он ныне обвиняется. Но, джентльмены, как ни велики были вначале мое изумление и недоверие, когда я услышал, что человек такого возраста, с таким воспитанием и связями оказался в положении подсудимого, обвиняемого в подобном преступлении, – постепенно я вынужден был изменить свое мнение. Мне пришлось навсегда отбросить свои первоначальные сомнения и на основании массы доказательств, которые буквально сыпались на меня, прийти к выводу, что мой долг выступить от имени народа обвинителем по этому делу.

Но как бы то ни было, перейдем к фактам. Две женщины замешаны в этом деле. Одна мертва, имя другой (он обернулся в сторону Клайда и указал на сидевших рядом с ним Белнепа и Джефсона), по соглашению между обвинением и защитой, не будет здесь названо, ибо не следует причинять напрасные страдания. В самом деле, я могу заверить вас, что каждым своим словом и каждым фактом, который я здесь изложу, обвинение будет преследовать единственную цель: добиться того, чтобы свершилось истинное правосудие в соответствии с преступлением, в котором обвиняется подсудимый, и с законами нашего штата. *Истинное правосудие*, джентльмены, истинное и справедливое. Но если вы не будете действовать честно и не вынесете надлежащего приговора в соответствии с обстоятельствами дела, вы нанесете народу штата Нью-Йорк и народу округа Катараки серьезное оскорбление. Ибо народ надеется на вас и ждет от вас тщательно обдуманного решения.

Тут Мейсон помолчал минуту и затем, став в трагическую позу, повернулся к Клайду и, время от времени указывая на него пальцем, продолжал:

– Народ штата Нью-Йорк *обвиняет* (он так произнес это слово, точно хотел, чтобы в нем зазвучали раскаты грома) сидящего здесь на скамье подсудимых Клайда Грифитса в том, что он совершил убийство с заранее обдуманным намерением. Народ *обвиняет* его в том, что он, прибегнув к помощи обмана, умышленно, со злобой и жестокостью, убил Роберту Олден, дочь фермера, который уже много лет живет близ городка Бильц в округе Маймико, и затем пытался навеки скрыть от людей и от земного правосудия тело убитой. Народ *обвиняет* названного Клайда Грифитса (тут Клайд, повинуясь шепоту Джефсона, возможно более невозмутимо стал смотреть в лицо Мейсону, который глядел прямо на него) в том, что он, прежде чем совершить преступление, неделями строил свои коварные планы, а затем обдуманно и хладнокровно их осуществил.

Предъявляя эти обвинения, народ штата Нью-Йорк готов представить вам доказательства по каждому из них. Вам будут сообщены факты, и этим фактам вы, а не я, должны стать единственными судьями.

Он вновь умолк, переменил позу, пока нетерпеливые слушатели теснились и подавались вперед, жадно ожидая каждого его слова; поднял руку, театральным жестом откинул назад свои вьющиеся волосы и снова заговорил:

– Джентльмены, мне не придется долго рассказывать, – вы сами, слушая это дело, не преминете убедиться в том, что представляла собою девушка, чья жизнь так жестоко оборвалась в водах озера Большой Выпи. За все двадцать лет ее жизни (Мейсон хорошо знал, что Роберте минуло двадцать три года и что она была двумя годами старше Клайда) никто из знавших ее не мог сказать о ней ни одного дурного слова. И ничего плохого о ней, я уверен, мы не услышим здесь, на суде. Немногим больше года назад, девятнадцатого июля, она переехала в Ликург, чтобы своим трудом добывать средства для помощи семье. (Тут весь зал услышал рыдания родителей, сестер и братьев Роберты.)

– Джентльмены… – продолжал Мейсон и самым подробным образом описал жизнь Роберты, начиная с того времени, когда она покинула родной дом и поселилась с Грейс Марр, и до той поры, как она встретилась с Клайдом на озере Крам и порвала с подругой и со своими покровителями Ньютонами, подчиняясь требованию Клайда, пожелавшего, чтобы она жила одна среди чужих людей. Мейсон рассказал о том, как она скрывала от родителей истинные причины этого подозрительного переселения и как в конце концов поддалась коварным уговорам Клайда. Ее письма к нему из Бильца позволили подробно проследить весь ход событий. Потом так же тщательно и подробно Мейсон рассказал о Клайде, о его увлечении «высшим светом» Ликурга и особенно богатой и красивой мисс X, которая, заинтересовавшись им, по своей невинности и доброте позволила ему надеяться, что он может добиться ее руки, и невольно пробудила в нем страсть, ставшую причиной внезапной перемены в его чувствах к Роберте; это в результате и привело (Мейсон уверял, что докажет это) к преступному замыслу и затем к смерти Роберты.

– Но кто этот субъект, – вдруг самым трагическим тоном воскликнул Мейсон, – которому я предъявляю все эти обвинения? Вот он сидит перед вами. Быть может, он сын опустившихся родителей, отродье городских трущоб, и ему негде было получить надлежащее представление о долге, об обязанностях, без которых немыслима приличная и достойная жизнь? Таков ли он? Напротив! Его отец принадлежит к тому же семейству, которое создало в Ликурге одно из самых крупных и значительных предприятий – фирму «Грифитс и Компания, воротнички и рубашки». Этот молодой человек был беден – да, без сомнения, но не беднее Роберты Олден, а на ее характер бедность явно не оказала пагубного влияния. Его родители в Канзас-Сити, в Денвере, а перед этим в Чикаго и Грэнд-Рэпидс, в штате Мичиган, вели, видимо, жизнь пастырей душ, хотя и не имели сана: они проповедовали и руководили миссиями; по собранным мною сведениям, это люди подлинно, глубоко верующие и порядочные во всех отношениях. Но он, их старший сын, который, казалось бы, должен был вдохновляться этим примером, рано отвернулся от их мира и пристрастился к более легкомысленной жизни. Он стал рассыльным в знаменитом отеле «Грин-Дэвидсон» в Канзас-Сити.

И Мейсон стал доказывать, что Клайд всегда был перекати-полем, бродягой, которому, быть может, в силу какой-то особенности его натуры, вечно не сидится на одном месте. Позднее, рассказывал далее Мейсон, Клайд занял пост заведующего отделением на хорошо известной фабрике своего дяди в Ликурге. Постепенно он получил доступ в то общество, к которому принадлежат его здешние родственники. Его жалованье позволяло ему снять комнату на одной из лучших улиц города, в то время как девушка, которую он убил, ютилась в жалкой каморке на глухой окраине.

– До сих пор, – говорил Мейсон, – почему-то усиленно преувеличивали молодость подсудимого. (Тут он позволил себе презрительно улыбнуться.) И его защитники и газеты снова и снова называли его мальчиком. Но он не мальчик. Он взрослый мужчина. В смысле общественных возможностей и воспитания у него было больше преимуществ, чем у любого из вас, сидящих на скамье присяжных. Он путешествовал. В отелях и клубах, в ликургском обществе, с которым он был связан столь тесными узами, он встречался с порядочными, достойными и даже выдающимися, замечательными людьми. Ведь в момент ареста, два месяца тому назад, он находился в самом изысканном обществе, в компании светской молодежи, приехавшей в наши места на летний сезон. Запомните это! Он обладает зрелым, отнюдь не детским умом. Это ум вполне развитой и прекрасно уравновешенный.

– Джентльмены, – продолжал он, – как скоро докажет вам обвинение, всего через четыре месяца после приезда обвиняемого в Ликург девушка, ставшая его жертвой, начала работать на фабрике в том отделении, которое он возглавлял. И не более как два месяца спустя он уговорил ее переехать от почтенных и богобоязненных людей, у коих она поселилась в Ликурге, в дом, о котором ей ничего не было известно. Главное преимущество ее нового жилища, с точки зрения обвиняемого, заключалось в том, что здесь он мог в тайне и уединении, не опасаясь чьего-либо надзора, преследовать свои гнусные цели в отношении этой девушки.

На фабрике компании «Грифитс» – мы вам это позднее докажем – существует одно правило, которое объясняет многое в этом деле: никто из высших служащих или заведующих цехами и отделениями не должен вступать в какие-либо внеслужебные отношения с подчиненными ему девушками и вообще с работницами фабрики ни в ее стенах, ни вне их. Такие отношения могли бы неблагоприятно отразиться на нравах и репутации служащих этого замечательного предприятия и потому запрещаются. Вскоре после того, как обвиняемый пришел на фабрику, его ознакомили с указанным правилом. Но удержало ли это его? Удержали ли его хоть в какой-то мере покровительство и внимание, столь недавно оказанные ему дядей? Ничуть не бывало! Обман! С самого начала – обман! Обольщение – вот его цель! Тайное, преднамеренное, безнравственное и беззаконное, недопустимое и осуждаемое обществом сожительство вне священных, облагораживающих уз брака.

Такова была его цель, джентльмены! Но знал ли хоть кто-нибудь в Ликурге или где бы то ни было, что его и Роберту Олден связывали подобные отношения? Ни одна душа! *Ни одна душа*, насколько я мог установить, не имела даже отдаленного представления об этой связи, пока девушка не погибла. Ни одна душа! Подумать только!

Господа присяжные! – Тут в голосе Мейсона послышалось чуть ли не благоговение. – Роберта Олден любила подсудимого всеми силами своей души. Она любила его той любовью, что составляет высшую тайну человеческого разума и человеческого сердца и в своей силе и в своей слабости способна презреть страх стыда и даже небесной кары. Это была девушка чистосердечная, скромная, добрая и преданная, девушка страстная и любящая. И она любила, как может любить только благородная, доверчивая и самоотверженная душа. И так любя, она в конце концов отдала ему все, что может отдать женщина любимому человеку.

Друзья мои, это случалось миллионы раз в нашем мире, и это случится еще миллионы раз в грядущие дни. Это не ново – и никогда не устареет.

Но в январе или феврале эта девушка, которая ныне покоится в могиле, вынуждена была прийти к подсудимому Клайду Грифитсу и сказать ему, что она должна стать матерью. Мы докажем вам, что и тогда и позже она умоляла его уехать с нею и обвенчаться.

Но исполнил ли он ее просьбу? Собирался ли исполнить? О нет! Ибо к этому времени в мечтах и чувствах Клайда Грифитса произошла перемена. Он успел узнать, что имя *Грифитс* в Ликурге открывает доступ в самый избранный круг и что тот, кто был ничтожеством в Канзас-Сити или в Чикаго, здесь – видная особа и может завязывать знакомства с богатыми и образованными девушками, вращающимися в сферах, бесконечно далеких от той среды, к которой принадлежала Роберта Олден. Более того: он нашел девушку, которая совершенно пленила его своей красотой, богатством, положением в обществе, – рядом с нею скромная фабричная работница, дочь фермера, в своей убогой одинокой каморке, где он сам ее поселил, казалась, конечно, жалкой! Она была достаточно хороша для любовной интрижки, но не для брака. И он не пожелал на ней жениться.

Мейсон умолк на мгновение, потом продолжал:

– Однако я не мог найти ни малейшей перемены в жизни Клайда Грифитса, и его страсть к светским развлечениям ничуть не уменьшилась. Напротив, с января месяца и до пятого июля и даже после, – да, даже после того, как она принуждена была в конце концов сказать ему, что, если он не увезет ее и не женится на ней, она обратится к чувству справедливости тех, кто знал и ее и Клайда, и даже после того, как она, холодная и безжизненная, обрела вечный покой на дне озера Большой Выпи, – он только и знал, что танцы, пикники, автомобильные экскурсии, званые обеды, увеселительные прогулки на Двенадцатое озеро, на Медвежье озеро… По-видимому, ему и в голову не приходило, что положение, в котором оказалась мисс Олден перед богом и людьми, обязывает его как-то изменить свое поведение.

Мейсон замолчал и посмотрел в сторону Белнепа и Джефсона, а они, не слишком расстроенные или озабоченные, только улыбнулись – сперва ему, а затем и друг другу; но Клайд, напуганный гневной страстностью этой речи, с тревогой думал о том, сколько в ней преувеличений и несправедливостей.

Мейсон прервал его размышления.

– Итак, джентльмены, – вновь заговорил он, – как я уже сказал, Роберта Олден стала настаивать, чтобы Клайд Грифитс на ней женился. И он ей это обещал. Однако вы увидите – это явствует из всех имеющихся данных, – что он отнюдь не собирался выполнить свое обещание. Наоборот, когда ее положение стало таким, что он не мог дольше выносить ее жалоб и мириться с опасностью, которую, бесспорно, представляло для него ее пребывание в Ликурге, он убедил ее уехать домой, к родителям, очевидно, под тем предлогом, что ей следует сшить себе кое-что из одежды к тому времени, как он приедет за ней и увезет ее в какой-нибудь отдаленный город, где их никто не знает и где она уже в качестве его жены сможет достойно дать жизнь их ребенку. Судя по ее письмам к нему – я вам их покажу, – он должен был приехать за ней через три недели после ее отъезда домой, в Бильц. Но приехал ли он, как обещал? Нет, он этого не сделал.

В конце концов – и лишь потому, что другого выхода не было, – он позволил ей приехать к нему шестого июля, ровно за два дня до ее смерти. Не прежде, чем… но об этом после! Тем временем в период между пятым июня и шестым июля он оставил ее тосковать на этой маленькой, заброшенной ферме неподалеку от Бильца, в округе Маймико, где она с помощью соседок шила себе кое-какие платья, которые даже теперь не смела назвать своим приданым. Она подозревала, что он бросит ее, и боялась этого. И вот ежедневно, а иногда и дважды в день она пишет ему, делится своими страхами и умоляет его письмом или хоть словом подтвердить, что он действительно приедет и увезет ее.

Но что же, исполнил он ее просьбу? Ни одного письма. Ни одного! О нет, джентльмены, нет! Вместо этого несколько разговоров по телефону: их было не так просто проследить и понять. Но и эти разговоры происходили так редко, урывками, что она горько жаловалась на его невнимательность, на отсутствие интереса к ней в это время. В конце этих пяти недель, придя в отчаяние, она даже написала ему так (тут Мейсон вынул из пачки, лежащей перед ним на столе, одно письмо и прочитал): «Предупреждаю тебя, что, если я не дождусь от тебя телефонного звонка или письма до полудня пятницы, я приеду в Ликург в тот же вечер, и все узнают, как ты со мной поступил». Вот те слова, джентльмены, которые принуждена была в конце концов написать бедная девушка.

Но хотел ли Клайд Грифитс, чтобы все узнали, как он с нею поступил? Ну, конечно, нет! И вот тогда-то у него зародился план, при помощи которого он думал избежать разоблачения и навсегда наложить печать молчания на уста Роберты Олден. И, джентльмены, обвинение докажет вам, что он действительно закрыл ей рот.

И тут Мейсон развернул специально заготовленную карту Адирондакских гор, на которой красными чернилами был отмечен путь Клайда до и после смерти Роберты – вплоть до того часа, когда его арестовали на Медвежьем озере. При этом он стал

объяснять присяжным тщательно обдуманный план Клайда, рассчитанный на то, чтобы замести следы: рассказал о записи в гостиницах под вымышленными именами, о двух шляпах, а также о том, что от Фонды до Утики и затем от Утики до Лугового озера Клайд и Роберта ехали в разных вагонах.

– Не забывайте вот о чем, джентльмены, – заявил далее Мейсон. – Хотя подсудимый прежде и говорил с Робертой об этой поездке как о свадебном путешествии, он не желал, чтобы кто-либо узнал, что он путешествует в обществе своей невесты, – не желал тогда, когда они приехали на озеро Большой Выпи. Ибо он собирался не жениться, а отыскать глухое, пустынное место, где он мог бы погасить, как свечу, жизнь опостылевшей ему девушки. Но помешало ли это ему за сутки и за двое суток до убийства держать ее в объятиях и повторять обещания, которые он вовсе не собирался исполнить? Помешало ли? Я покажу вам регистрационные записи в двух гостиницах, где они останавливались, занимая вдвоем одну комнату, так как предполагалось, что не сегодня-завтра они поженятся. Но эта поездка длилась не одни, а двое суток единственно потому, что подсудимый ошибся, рассчитывая на безлюдность Лугового озера. Убедившись, что это место очень оживленное, центр сектантской летней колонии, он решил направиться на более уединенное озеро Большой Выпи. И вот, джентльмены, пред вами невероятное и жестокое зрелище: будто бы ни в чем не виноватый и весьма ложно понятый молодой человек таскает усталую девушку с измученной душой с места на место, отыскивая озеро, достаточно безлюдное для того, чтобы можно было ее утопить. И это, когда ей остается всего четыре месяца до материнства!

А потом, приехав, наконец, на пустынное озеро, он уводит ее из гостиницы, где он опять-таки записался под вымышленной фамилией как Клифорд Голден с женой, сажает ее в лодку и везет на смерть. Бедняжка воображала, что отправляется на короткую прогулку перед свадьбой, о которой он ей говорил и которая должна была скрепить и освятить их отношения. Скрепить и освятить все! Скрепить и освятить, как скрепляют и освящают сомкнувшиеся над головою волны, но не иначе… не иначе! А он ушел, невредимый и коварный, словно волк, насытившийся своей жертвой… Он шел к свободе, к браку с другой, к вершинам общественного и материального благополучия, любви и счастья, тогда как она, бездыханная и безымянная, уснула вечным сном в своей водяной могиле.

Но, джентльмены, неисповедимы пути бытия, пути господни, и провидение направляет наши судьбы, как угодно ему, невзирая на все наши усилия. Поистине человек предполагает, но один только бог располагает!

Обвиняемый, конечно, удивлен: откуда мне известно, что, даже уходя из гостиницы на озере Большой Выпи, она еще думала о близкой свадьбе? Без сомнения, он тешит себя мыслью, что на самом деле я не могу этого знать. Но каким же прозорливым и глубоким умом надо было бы обладать, чтобы предвидеть и предупредить все случайности и возможности! Вот он сидит здесь, уверенный, что его адвокаты помогут ему благополучно спастись от наказания. (При этих словах Клайд напряженно выпрямился, волосы зашевелились у него на голове и спрятанные под столом руки затряслись.) Он не знает, что эта девушка в номере гостиницы на Луговом озере написала своей матери письмо, но не успела его отправить, и оно лежало в кармане ее пальто, оставленного в гостинице, потому что в этот день было жарко и потому что она, конечно, надеялась вернуться. Это письмо здесь, у меня на столе.

Зубы Клайда стали отбивать дробь. Он дрожал, как в ознобе. Да, верно, она оставила пальто в гостинице! Белнеп и Джефсон тоже насторожились, спрашивая себя, что это может значить. Неужели эта роковая случайность повредит обдуманному ими плану защиты или даже совсем его погубит? Им оставалось только ждать.

– В этом письме, – продолжал Мейсон, – она объясняет, зачем она туда приехала. Чтобы обвенчаться – не больше и не меньше. (При этих его словах Джефсон и Белнеп, так же как и Клайд, вздохнули с величайшим облегчением: это было им на руку.) И обвенчаться очень скоро, через день или два, – продолжал Мейсон, все еще воображая, будто этим он заставляет Клайда буквально умирать от страха. – Но Голден или Грэхем из Олбани, или Сиракуз, или откуда там еще думал иначе. Он знал, что не вернется назад. И он взял с собою в лодку все свои пожитки. И весь долгий день, с полудня до вечера, он искал подходящего места на этом пустынном озере – такого места, которое трудно было бы заметить откуда-либо с берега, – это мы вам докажем. И в сумерки он нашел такое место. И потом, шагая по лесу на юг, с новой соломенной шляпой на голове и с чистым сухим чемоданом в руках, он считал себя в полной безопасности. Клифорда Голдена больше не было, и Карла Грэхема больше не было, – они утонули, они покоились на дне озера Большой Выпи вместе с Робертой Олден. Но Клайд Грифитс был жив и свободен и направлялся к Двенадцатому озеру, к тому обществу, которым он так дорожил.

Джентльмены, Клайд Грифитс убил Роберту Олден прежде, чем бросил ее в воду. Он ударил ее по голове и по лицу и думал, что никто этого не видел. Но когда ее последний предсмертный крик прозвучал над водами Большой Выпи, там был свидетель, и, прежде чем обвинение скажет здесь свое последнее слово, этот свидетель предстанет перед вами и расскажет вам все.

У Мейсона не было свидетеля – очевидца преступления, но он не мог устоять перед возможностью вызвать тревогу во вражеском лагере.

И действительно, результат даже превзошел его ожидания. Клайд, который до сих пор, особенно после потрясающей вести о письме Роберты, старался переносить все с невозмутимым видом оскорбленной невинности, вдруг застыл

– и потом весь съежился. Свидетель! Он даст показания! Господи! Значит, этот свидетель, кто бы он ни был, скрывался где-то на пустынном берегу озера… он видел тот нечаянный удар, слышал крики Роберты… видел, что Клайд не пытался ей помочь! Видел, как он поплыл к берегу, потом скрылся… и, может быть, следил за ним, когда он переодевался в лесу. Господи! Клайд вцепился руками в стул, голова его рывком откинулась назад, словно от сильного удара: ведь это значит смерть! Теперь его казнят! Господи! Больше нет надежды! Голова его бессильно поникла – казалось, он сейчас упадет в обморок.

Белнепа заявление Мейсона сперва заставило уронить карандаш, которым он делал заметки; потом взгляд его стал растерянным и недоумевающим, ибо защите нечем было отразить подобный удар. Но он тотчас спохватился, что его поведение – верх неосторожности, и овладел собой. Неужели в конце концов Клайд им солгал? Неужели он убил ее умышленно и еще при каком-то не замеченном им свидетеле? Если так, то им необходимо найти повод отказаться от этого безнадежного и опасного для их репутации дела.

Что касается Джефсона, то и он в первую минуту был ошеломлен и озадачен. В его крепкой голове, которая не так-то легко поддавалась потрясениям, мелькали обрывки мыслей: неужели действительно есть такой свидетель?.. И Клайд лгал? Тогда жребий брошен. Ведь он уже признался им, что ударил Роберту, и свидетель, наверно, это видел. И, значит, конец всем этим разговорам о внезапном душевном переломе. Кто в него поверит после такого свидетельского показания?

Но Джефсон по натуре был слишком упрям и решителен, чтобы позволить себе сразу отступить перед сокрушительным заявлением прокурора. Он обернулся, посмотрел на растерянных, но уже устыдившихся собственной слабости Белнепа и Клайда и шепнул:

– Я этому не верю. По-моему, он лжет, пытается нас запугать. Во всяком случае, подождем – увидим. Наш черед придет еще не скоро. Смотрите, сколько тут свидетелей. Мы будем вести перекрестный допрос неделями, если захотим, – до тех пор, пока не истечет срок его полномочий. Тут времени на тысячу дел – в частности, на то, чтобы выяснить, что это за свидетель. Притом есть еще и версия самоубийства, и то, что произошло на самом деле. Клайд покажет под присягой, как это было: впал в транс, не хватило мужества действовать… Едва ли кто-нибудь мог видеть этак на расстоянии пятисот футов. – Он хмуро улыбнулся и прибавил, но так, чтобы слышал один Белнеп; – Думаю, на худой конец мы сумеем добиться, чтоб он отделался двадцатью годами, как, по-вашему?

Глава 21

А потом свидетели, свидетели, свидетели – сто двадцать семь человек. Их показания, особенно показания врачей, троих охотников и женщины, слышавшей последний крик Роберты, были многократно опротестованы Джефсоном и Белнепом, ибо от неточностей и ошибок, которые могли обнаружить адвокаты в этих показаниях, зависела правдоподобность смело задуманной зашиты Клайда. Ввиду всего этого процесс затянулся до ноября, когда Мейсон подавляющим большинством голосов был избран судьей, чего он так жаждал. И благодаря тому, что процесс проходил так бурно, в яростных спорах, он привлекал все больший интерес и внимание широкой публики по всей стране.

С каждым днем, как сообщали репортеры из зала суда, становилось все яснее, что Клайд виновен. Однако, повинуясь настойчивым требованиям Джефсона, он встречал нападки каждого свидетеля обвинения спокойно и даже смело.

– Ваше имя?

– Тайтус Олден.

– Вы отец Роберты Олден?

– Да, сэр.

– Итак, мистер Олден, расскажите присяжным, как и при каких обстоятельствах ваша дочь Роберта переехала в Ликург?

– Заявляю протест. Не относится к делу, несущественно, неправомерно, – перебивает Белнеп.

– Я свяжу это с делом, – вставляет Мейсон, глядя на судью, и тот решает, что Тайтус может ответить, но его ответ можно будет исключить из протокола, если он окажется «не относящимся к делу».

– Она поехала в Ликург искать работу, – отвечает Тайтус.

– А почему она поехала туда искать работу?

Снова протест, снова выполняются все формальности, после чего старику позволяют продолжать.

– Да вот, наша ферма около Бильца никогда по-настоящему не приносила дохода, и детям приходилось нам помогать, а Бобби была старшая…

– Прошу исключить это из протокола!

– Исключается.

– Бобби – это уменьшительное имя, которым вы называли свою старшую дочь Роберту, не так ли?

– Протестую… – и прочее.

– Суд отклоняет протест защиты.

– Да, сэр. Так мы ее иногда называли дома. Просто Бобби.

Клайд внимательно слушал; не дрогнув, он выдержал суровый, обвиняющий взгляд этого угрюмого деревенского Приама и удивился: он впервые узнал уменьшительное имя своей бывшей возлюбленной. Он звал ее Бертой, и она никогда не говорила ему, что дома ее называли Бобби.

И под перекрестным огнем протестов, споров, решений судьи старик Олден, руководимый Мейсоном, продолжал рассказывать, как Роберта, получив письмо от Грейс Марр, решила поехать в Ликург и поселиться у четы Ньютон, как она стала работать на фабрике Грифитсов и как редко с тех пор видели ее родные, пока пятого июня она не вернулась домой, чтобы отдохнуть и сшить себе несколько платьев.

– Она не говорила, что собирается выйти замуж?

– Нет.

Но она писала длинные письма, – он тогда не знал кому – и все время была чем-то угнетена и не совсем здорова. Дважды он видел ее плачущей, но ничего не сказал, понимая, что она не хотела, чтобы это заметили. Несколько раз ее вызывали по телефону из Ликурга, в последний раз четвертого или пятого июля, за день до ее отъезда, – он это хорошо помнит.

– А что она взяла с собой, когда уезжала?

– Свой чемодан и сундучок.

– И вы узнаете этот чемодан, если вам его показать?

– Да, сэр.

– Это он? (Один из помощников Мейсона принес чемодан и положил его на столик.) Олден взглянул на чемодан, вытер глаза кулаком и сказал:

– Да, сэр.

А затем – подобными драматическими эффектами Мейсон старался сопровождать весь ход процесса – принесли сундучок Роберты, и Тайтус Олден, его жена, дочери и сыновья – все расплакались при виде его. И после того, как Тайтус подтвердил, что это действительно сундучок Роберты, чемодан и сундучок были вскрыты. И платья, сшитые Робертой, кое-какое белье, туфли, шляпы, туалетный прибор, подаренный Клайдом, фотографии матери, отца, сестер и братьев, старая поваренная книга, ложки, вилки и ножи, солонки и перечницы – подарки бабушки, которые Роберта бережно хранила для предстоящей семейной жизни, – все это было пересмотрено и опознано.

Это происходило вопреки протесту Белнепа, поскольку Мейсон обещал «связать» все с делом, – обещание свое он, впрочем, сдержать не смог, и соответственно судья распорядился изъять эти показания из протокола. Однако патетическая сцена

произвела глубокое впечатление на умы и сердца присяжных. А Белнеп, критикуя тактические ухищрения Мейсона, добился лишь того, что сей джентльмен в ярости прогремел:

– Хотел бы я знать, кто здесь ведет обвинение?

– Республиканский кандидат на пост судьи нашего округа, я полагаю! – ответил Белнеп, вызвав этим взрыв хохота, и Мейсон, выйдя из себя, закричал:

– Ваша честь! Я протестую! Это неэтичная и незаконная попытка примешать к делу совершенно не относящийся к нему политический вопрос. Это хитрое и злонамеренное стремление внушить присяжным, будто я, являясь кандидатом республиканской партии на пост судьи округа, не могу с надлежащим беспристрастием вести обвинение по данному делу. Я требую извинения и, пока не получу его, не сделаю ни шагу дальше!

Судья Оберуолцер, сознавая, что произошло весьма серьезное нарушение судебного этикета, подозвал к себе Мейсона и Белнепа и, выслушав спокойные и вежливые объяснения последнего касательно того, что именно он хотел сказать, приказал, чтобы впредь ни один из них под страхом обвинения в неуважении к суду не допускал намеков на политическую обстановку в какой бы то ни было форме.

Тем не менее Белнеп и Джефсон поздравляли себя с удачей: их умозаключение по поводу кандидатуры Мейсона и его стремления воспользоваться делом Клайда, чтобы выдвинуться, было таким образом доведено до сведения суда и присяжных.

А затем еще и еще свидетели…

Грейс Марр бойко и многословно рассказала о том, где и как она познакомилась с Робертов, в какая это была чистая, безгрешная и набожная девушка, и какая резкая перемена произошла с нею после встречи с Клайдом на озере Крам. Она стала скрытной, уклончивой, придумывала всякие лживые оправдания для каких-то необычайных похождений – например, уходила по вечерам из дому и возвращалась очень поздно, и говорила, что провела субботу и воскресенье там, где ее на самом деле не было, и, наконец, когда Грейс решилась высказать ей свое неодобрение, неожиданно уехала от них, не оставив даже своего адреса. И во всем этом был виноват мужчина, и этим мужчиной был Клайд Грифитс. Как-то вечером Грейс последовала за Робертой – это было в сентябре или октябре прошлого года – и увидела ее и Клайда неподалеку от дома Гилпинов. Они стояли под деревом, и Клайд обнимал ее.

Тут, по предложению Джефсона, свидетельницей занялся Белнеп и, задавая хитроумнейшие вопросы, старался выяснить, действительно ли Роберта по приезде в Ликург была столь набожна и добродетельна, как изображает это мисс Марр. Но увядшая, раздражительная мисс Марр настойчиво утверждала, что, насколько ей известно, до того дня, как произошла встреча с Клайдом на озере Крам, Роберта была образцом правдивости и чистоты.

И затем то же самое под присягой показали Ньютоны.

А потом Гилпины – жена, муж и дочери – под присягой показывали то, что каждый из них сам видел и слышал. Миссис Гилпин вспомнила, когда и как Роберта переехала к ним с этим самым чемоданом и сундучком, как замкнуто и одиноко она жила и как, наконец, она, миссис Гилпин, жалея девушку, стала приглашать ее к себе, чтобы дать ей возможность немного развлечься, однако Роберта неизменно отказывалась. Но потом в конце ноября (правда, у миссис Гилпин так и не хватило мужества хоть раз заговорить об этом с такой милой и скромной девушкой) она и обе ее дочери убедились, что изредка, после одиннадцати часов, Роберта принимает кого-то у себя в комнате, но кто это был, миссис Гилпин не знает. И опять Белнеп при перекрестном допросе старался добиться таких признаний и сведений, которые давали бы понять, что Роберта была не такой уж безупречной пуританкой, какою изображали ее свидетели, – но это ему не удалось. Миссис Гилпин, так же как и ее муж, была очень привязана к Роберте, и только под давлением Мейсона, а потом и Белнепа они рассказали о поздних визитах Клайда.

Потом их старшая дочь Стелла показала, что в конце октября или в начале ноября, вскоре после того, как Роберта поселилась у них, она (Стелла), возвращаясь домой, увидела Роберту с каким-то человеком – теперь она видит, что это был Клайд: они стояли в сотне шагов от дома и, по-видимому, ссорились. Она замедлила шаги и прислушалась. Всего она не могла расслышать, но наводящие вопросы Мейсона помогли ей припомнить что Роберта не хотела, чтобы он зашел к ней в комнату. «Это было бы нехорошо», – говорила она. И он в конце концов круто повернулся и ушел, а Роберта стояла с протянутыми руками, как бы умоляя его вернуться.

А Клайд в изумлении только широко раскрывал глаза. Ведь в те дни, да, в сущности, и за все время своего знакомства с Робертой он воображал, что за ним никто не наблюдает. Этими показаниями, безусловно, подтверждались многие обвинения, высказанные Мейсоном в его вступительной речи: что он преднамеренно, вполне сознавая истинный смысл своих действий, убеждал Роберту поступить так, как она явно не хотела поступать. Такого рода показания наверняка восстановят против него и судью, и присяжных, и всех этих насквозь пропитанных условностями и предрассудками провинциалов, в большинстве

сельских жителей. Белнеп, понимая это, попробовал сбить Стеллу и заставить ее усомниться в том, что она видела именно Клайда. Но он добился лишь того, что она сообщила еще новые сведения: как-то в ноябре или в начале декабря, вскоре после изложенного ранее случая, она видела, как Клайд с какой-то коробкой под мышкой появился у дверей Роберты, постучался и вошел. Она ясно узнала в нем того самого молодого человека, который в ту лунную ночь ссорился с Робертой.

После нее Уигэм и за ним Лигет подтвердили даты поступления на работу Клайда и Роберты, а также существование правила относительно взаимоотношений между начальниками и работницами. Они показали, что, насколько тогда можно было заметить, поведение и Клайда и Роберты было безукоризненно: они, казалось, даже и не смотрели друг на друга, а впрочем, не заглядывались и ни на кого другого (это заявил Лигет).

А потом еще свидетели. Миссис Пейтон показала все, что знала о жизни Клайда в ее доме и о его светских знакомствах, поскольку она была о них осведомлена. По показаниям миссис Олден, в прошлом году на рождестве Роберта призналась ей, что ее начальник – Клайд Грифитс, племянник хозяина фабрики, – ухаживает за ней, но это пока должно оставаться тайной. Фрэнк Гарриэт, Харлей Бэгот, Трейси Трамбал и Фредди Сэлс показали, что в декабре минувшего года Клайда постоянно приглашали на различные званые обеды и вечера. Джон Ламберт, аптекарь из Скенэктеди, показал, что как-то в январе к нему обратился юноша – он видит, что это был обвиняемый, – с просьбой дать ему какое-нибудь средство, которое могло бы вызвать выкидыш. Орин Шорт показал, что в конце января Клайд спрашивал у него, не знает ли он врача, который мог бы помочь молодой замужней женщине, по словам Клайда, жене одного из служащих на фабрике Грифитса; этот служащий будто бы обратился за советом к Клайду, так как он и его жена слишком бедны, чтобы иметь ребенка. А потом доктор Глен рассказал о визите Роберты, которую он узнал по портретам, помещенным в газетах, но прибавил, что в силу профессиональной этики он не мог исполнить ее просьбы.

А затем С.-Б.Уилкокс – фермер, сосед Олденов – показал, что примерно двадцать девятого или тридцатого июня, когда он как раз был на кухне, Роберту вызвал по междугородному телефону из Ликурга человек, который назвал себя Бейкером, и Уилкокс слышал, как она сказала ему: «Но, Клайд, я не могу ждать так долго. Ты же знаешь, я не могу. И не буду». И голос у нее был взволнованный и огорченный. Мистер Уилкокс хорошо запомнил имя «Клайд».

А дочь этого самого Уилкокса, Этел, низенькая, толстая и шепелявая, присягнула, что перед этим именно она трижды отвечала на междугородные вызовы и потом бегала за Робертой, и каждый раз из Ликурга звонил мужчина по имени Бейкер. И один раз она слышала, что Роберта назвала его Клайдом. И еще слышала, как Роберта сказала, что ни в коем случае не станет ждать так долго, но что она имела в виду, Этел не поняла.

А затем сельский почтальон Роджер Бин показал, что между седьмым или восьмым июня и четвертым или пятым июля он получил от самой Роберты и вынул из почтового ящика на перекрестке около фермы Олденов не меньше пятнадцати писем и что большинство их было адресовано Клайду Грифитсу, Ликург, главный почтамт, до востребования.

А потом Эймос Шоуолтер, служащий ликургского главного почтамта, показал, что, насколько он припоминает, между седьмым или восьмым июня и четвертым или пятым июля Клайд справлялся у него о корреспонденции на свое имя и получил не меньше пятнадцати или шестнадцати писем.

А за ним Р.-Т.Бигген, содержатель заправочной станции в Ликурге, показал, что утром шестого июля, около восьми часов, идя по Филдинг-авеню (улица на западной окраине города, ведущая к станции электрической железной дороги Ликург – Фонда), он увидел Клайда в сером костюме и соломенной шляпе, с коричневым чемоданом в руке; к чемодану сбоку был прикреплен ремнями желтый штатив фотографического аппарата и что-то еще, возможно, зонтик. Зная, где живет Клайд, он удивился, что тот пришел сюда пешком, хотя мог бы сесть на поезд на Сентрал-авеню, неподалеку от своего дома. При перекрестном допросе Белнеп стал допытываться, каким образом свидетель, находившийся на расстоянии примерно двухсот шагов от Клайда, может ручаться, что он видел именно штатив, но Бигген настаивал: да, штатив, ярко-желтый деревянный треножник с медными скрепами.

А после него Джон У.Трошер, начальник станции Фонда, показал, что утром шестого июля (он ясно помнит это, так как делал тогда кое-какие деловые заметки) Роберта Олден взяла у него билет до Утики. Он помнит мисс Олден, потому что минувшей зимой видел ее несколько раз. Она казалась очень усталой, почти больной, и несла коричневый чемодан, как будто тот самый, который ему здесь показывали. Он припоминает и подсудимого, который также имел при себе чемодан. Трошер не видел, чтобы подсудимый обратил какое-либо внимание на девушку или говорил с нею.

Потом Куинси Э.Дейл, кондуктор поезда, курсирующего между Фондой и Утикой, показал, что он узнает Клайда, которого заметил тогда в одном из задних вагонов. Он заметил также и Роберту и потом узнал ее по опубликованным в газетах фотографиям. Она тогда приветливо улыбнулась ему, а он сказал, что чемодан, пожалуй, тяжеловат для нее и что он велит кому-нибудь из тормозных кондукторов вынести его в Утике, и она поблагодарила. Он видел, что она сошла в Утике и скрылась в дверях вокзала. Клайда он там не заметил.

А затем – опознавание сундучка Роберты, который долгое время оставался на хранении в багажной камере станции Утика. А затем – страница из книги, где записывались посетители отеля в Утике, опознанная управляющим отеля Джерри Керносяном; под датой шестого июля стояла запись: «Клифорд Голден с женой». Эксперты тут же сравнили эту запись с записями в регистрационных книгах гостиниц на Луговом озере и на Большой Выпи и под присягой показали, что все три записи сделаны одной и той же рукой. Потом этот почерк был сравнен с тем, которым была сделана надпись на визитной карточке, найденной в туалетном приборе Роберты. Эти улики были тщательно рассмотрены по очереди всеми присяжными, а также и Белнепом и Джефсоном, которые, впрочем, уже раньше видели все, кроме карточки. И снова Белнеп заявил протест в связи с сокрытием вещественного доказательства – недопустимым, незаконным и позорным поступком со стороны прокурора. Долгими ожесточенными пререканиями по этому поводу закончился десятый день судебного разбирательства.

Глава 22

А на одиннадцатый день некий Фрэнк Шефер, клерк из отеля в Утике, припомнил, как Клайд и Роберта явились в отель, как они при этом держались и как Клайд расписался за обоих: «Мистер и миссис Клифорд Голден из Сиракуз». За ним Уоллес Вандергоф, один из приказчиков галантерейного магазина в Утике, описал внешность и поведение Клайда при покупке соломенной шляпы. А потом – кондуктор поезда, курсирующего между Утикой и Луговым озером. И хозяин гостиницы на Луговом озере, и официантка гостиницы Бланш Петинджил, показавшая, что она слышала, как Клайд за обедом уверял Роберту, будто здесь невозможно получить разрешение на брак и лучше подождать до завтра, когда они приедут в какое-нибудь другое место. Это свидетельство было особенно неприятно, так как предполагалось, что на следующий день Клайд уже во всем признался Роберте; но затем Джефсон и Белнеп порешили, что этому признанию могли предшествовать какие-то предварительные стадии. А после официантки – кондуктор поезда, в котором они ехали до Ружейной. А за ним – проводник и шофер автобуса, рассказавший о странном вопросе Клайда, много ли на озере Большой Выпи народу, и о том, как Клайд оставил чемодан Роберты, сказав, что они вернутся, а свой чемодан взял с собой.

А потом – хозяин гостиницы на озере Большой Выпи; лодочник; те трое, что встретились Клайду в лесу, – их показания особенно повредили ему, потому что они рассказали, как он перепугался, столкнувшись с ними. А затем – рассказ о том, как обнаружили лодку и тело Роберты, о прибытии Хейта и о том, как нашли письмо в кармане пальто Роберты. Все это подтверждают десятки свидетелей. И далее – капитан парохода, деревенская девушка, шофер Крэнстонов; приезд Клайда на дачу к Крэнстонам и, наконец (причем в связи с каждым шагом даются показания под присягой), его поездка на Медвежье озеро, погоня за ним и арест – все стадии ареста, и каждое слово, сказанное тогда Клайдом, и все это было весьма неблагоприятно для него, так как изобличало его лживость, уклончивость и испуг.

Но, бесспорно, самыми опасными и самыми неблагоприятными для Клайда были показания относительно фотографического аппарата и штатива и обстоятельств, при которых они были найдены. На это больше всего и рассчитывал Мейсон, надеясь добиться осуждения. Прежде всего он хотел доказать, что Клайд лгал, заявляя, будто аппарат и штатив не принадлежат ему. Для этого Мейсон сначала вызвал Эрла Ньюкома, который под присягой показал, что в тот день, когда он, Мейсон, Хейт и другие участники расследования повезли Клайда на озеро Большой Выпи, где было совершено преступление, он, Ньюком, и некий местный житель Билл Суортс (который также даст здесь показания), обшаривая кусты и поваленные деревья, натолкнулись на штатив, спрятанный под лежащим на берегу стволом. Затем, отвечая Мейсону (Белнеп и Джефсон пытались протестовать, но судья неизменно отклонял их протесты), Ньюком прибавил, что, когда у Клайда спросили, был ли у него фотографический аппарат или этот штатив, он ответил отрицательно. Услышав показания Ньюкома, Белнеп и Джефсон громко выразили свое возмущение.

Сразу же вслед за этим суду был представлен протокол, подписанный Хейтом, Бэрлеем, Слэком, Краутом, Суэнком, Сисселом, Биллом Суортсом, землемером Руфусом Форстером и Ньюкомом: в протоколе говорилось, что Клайд, когда ему был показан штатив и задан вопрос, не его ли вещь, «решительно и многократно это отрицал». И хотя судья Оберуолцер приказал в конце концов вычеркнуть это показание из протокола суда, Мейсон, желая во что бы то ни стало подчеркнуть, насколько оно важно, сразу прибавил:

– Прекрасно, ваша честь, но у меня есть и еще свидетели, которые под присягой подтвердят все, что написано в этом документе, и даже больше. – И сейчас же вызвал: – Джозеф Фрейзер.

На свидетельском месте появился продавец спортивных принадлежностей, фотографических аппаратов и прочего и показал под присягой, что во второй половине мая обвиняемый Клайд Грифитс, которого он знал в лицо и по имени, купил у него в рассрочку фотографический аппарат фирмы Сэнк, размером 3 1/2 x 5 1/2 со штативом. Тщательно осмотрев предъявленный ему теперь аппарат и желтый штатив и сличив стоящие на них номера с записями в своих книгах, Фрейзер подтвердил, что именно эти вещи он продал тогда Клайду.

Клайд был сражен. Значит, они нашли и аппарат и штатив. И это после того, как он утверждал, что у него не было никакого аппарата! Что подумают о такой явной лжи присяжные, и судья, и вся публика? Поверят ли теперь его рассказу о пережитом им душевном перевороте, когда доказано, что он солгал даже насчет этого несчастного аппарата? Лучше бы он сразу во всем сознался.

Но, пока он об этом раздумывал, Мейсон вызвал Саймона Доджа, молодого лесоруба, показавшего, что по просьбе прокурора в субботу шестнадцатого июля он с Дженом Полом, который вытащил тело Роберты из воды, несколько раз ныряли в том месте, где найдено было тело, и в конце концов ему удалось найти фотографический аппарат. Аппарат тут же был показан Доджу и опознан им.

И тотчас после этого – показания, относящиеся к найденным тогда же в аппарате, но до сих пор не упоминавшимся пленкам: извлеченные из воды и проявленные, они были теперь включены в число улик; на четырех снимках можно было рассмотреть женщину, в точности похожую на Роберту, а на двух нетрудно было узнать Клайда. Белнепу не удалось ни опровергнуть это, ни исключить снимки из числа вещественных доказательств.

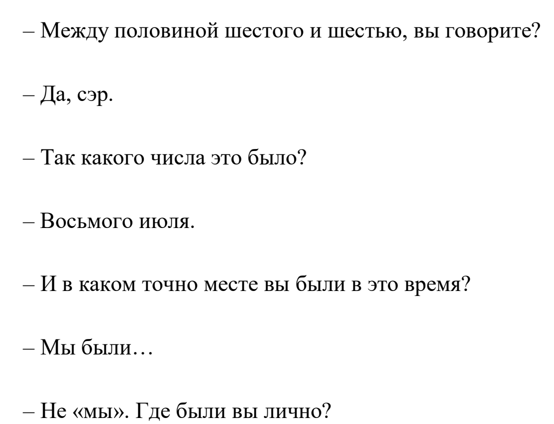
Потом Флойд Тэрстон, гостивший на даче Крэнстонов в Шейроне восемнадцатого июня (как раз когда туда впервые приехал Клайд), показал, что в тот день Клайд сделал несколько снимков аппаратом примерно такого же вида и размера, как тот, который был ему тут показан. Но он не решился утверждать, что это и есть тот самый аппарат, и потому его показания были исключены из протокола.

После него Эдна Пэттерсон, горничная гостиницы на Луговом озере, показала, что, когда вечером седьмого июля она вошла в комнату, занятую Клайдом и Робертой, Клайд держал в руках фотографический аппарат – насколько она припоминает, такой же величины и такого же вида, как и находящийся сейчас перед нею. Тогда же она видела и штатив. И Клайд, который в странном оцепенении следил за происходящим, вспомнил, как эта девушка зашла тогда в комнату. И он с тягостным удивлением подумал: как странно, что свидетели из самых разных, неожиданных и не связанных друг с другом мест, да еще спустя такое долгое время, могут создать такую прочную цепь улик!

В последующие дни – причем Белнеп и Джефсон все снова и снова неутомимо оспаривали допустимость такого рода показаний – были выслушаны пять врачей, которых вызвал Мейсон, когда тело Роберты было доставлено в Бриджбург; все они по очереди под присягой заявили, что ушибы на лице и голове, принимая во внимание физическое состояние Роберты, вполне могли ее оглушить. Состояние легких покойной (их подвергли испытанию, погружая в воду) доказывало, что в момент падения за борт она была еще жива, хотя и не обязательно находились в сознаний. Что же касается орудия, которым были нанесены удары, врачи не решались высказывать какие-либо догадки, кроме того, что это орудие было тупое. И как ни были строги и придирчивы Белнеп и Джефсон, они не заставили врачей признать, что удары могли и не быть настолько сильными, чтобы оглушить Роберту и лишить ее сознания… наиболее серьезной была, видимо, рана на темени, такая глубокая, что здесь образовался сгусток крови. В качестве вещественных доказательств предъявлены были фотографические снимки.

Именно этот момент, когда и публику и присяжных охватило глубокое, тягостное волнение, выбрал Мейсон, чтобы предъявить также многочисленные снимки лица Роберты, сделанные в то время, когда она находилась в ведении Хейта, врачей и братьев Луи. Было показано, что размеры кровоподтеков на лице точно соответствуют двум сторонам фотографического аппарата. А вслед за этим Бэртон Бэрлей показал под присягой, что он обнаружил между объективом и крышкой аппарата два волоса, точно таких же, как волосы Роберты (во всяком случае, это усиленно доказывал Мейсон). И тут, после многих часов заседания, Белнеп, которого взволновали и привели в ярость подобного рода улики, попытался опровергнуть их с помощью сарказма: под конец он вырвал один волосок из своей светлой шевелюры и спросил присяжных и Бэрлея, осмелится ли он утверждать, что по одному волоску можно судить о цвете чьих бы то ни было волос, и не готовы ля они поверить, что и вот этот волос взят с головы Роберты.

Потом Мейсон вызвал свидетельницу миссис Ратджер Донэгью, которая самым спокойным и ровным тоном сообщила, что вечером восьмого июля, между половиной шестого и шестью часами, она и ее муж разбили палатку вблизи Лунной бухты, а затем поехали кататься на лодке и ловить рыбу, и, когда они были примерно в полумили от берега и в четверти мили от поросшего лесом мыса, ограждающего Лунную бухту с севера, она услышала крик.



– Между половиной шестого и шестью, вы говорите?

– Да, сэр.

– Так какого числа это было?

– Восьмого июля.

– И в каком точно месте вы были в это время?

– Мы были…

– Не «мы». Где были вы лично?

– Я вместе с мужем переплывала на лодке через ту часть озера, которая, как я после узнала, называется Южным заливом.

– Так. Теперь расскажите, что случилось дальше.

– Когда мы доплыли до середины залива, я услышала крик.

– Какой крик?

– Душераздирающий, как будто кто-то кричал от боли… или от ужаса… Пронзительный крик – я потом не могла его забыть.

Тут поднялся Белнеп, ходатайствуя об исключении последней фразы из протокола, и дано было указание вычеркнуть ее.

– Откуда доносился этот крик?

– Издалека. Из лесу или, может быть, из какого-то места позади него.

– Знали ли вы тогда, что по ту сторону мыса есть еще залив или бухта?

– Нет, сэр.

– Ну, а что же вы подумали тогда – что кричат в прибрежном лесу?

(Протест защиты, принятый судом.)

– А теперь скажите нам, кто это кричал – мужчина или женщина? И что именно кричали?

– Кричала женщина. Крик был очень пронзительный и явственный, но, конечно, далекий. Она вскрикнула дважды – как будто «Ой-ой!» или «А-ах!», как кричит человек, когда ему больно.

– Вы уверены, что не ошиблись и что кричала именно женщина, а не мужчина?

– Нет, сэр. Я вполне уверена. Голос был женский, слишком высокий для мужчины или для мальчика. Так могла кричать только женщина.

– Понимаю. А теперь скажите-ка, миссис Донэгью… вот эта точка на карте показывает, где было найдено тело Роберты Олден, – видите?

– Да, сэр.

– А видите вторую точку, вот здесь, за деревьями, которая показывает приблизительно, где находилась ваша лодка?

– Вижу, сэр.

– Не думаете ли вы, что голос доносился с указанного здесь места Лунной бухты?

(Опротестовано. Протест принят.)

– Не повторился ли крик?

– Нет, сэр. Я ждала. Кроме того, я обратила на этот крик внимание мужа, и мы с ним оба ждали, но больше ничего не слышали.

Потом за свидетельницу взялся Белнеп, жаждавший доказать, что крик мог быть вызван ужасом, но не болью; он допросил ее заново с самого начала и убедился, что ни ее, ни ее мужа, также вызванного свидетелем, никоим образом невозможно поколебать. Они уверяли, что крик неизвестной женщины произвел на них глубокое, неизгладимое впечатление. Он преследовал их обоих, и, вернувшись в палатку, они все время о нем говорили. Муж не хотел отыскивать место, откуда

доносился крик, потому что были уже сумерки, а ей все чудилось, что там, в лесу, убили какую-то женщину или девушку, и потому она не хотела оставаться здесь дольше, и на следующее же утро они отправились на другое озеро.

Томас Баррет, адирондакский проводник, обслуживавший лагерь на озере Дэм, показал, что в час, указанный миссис Донэгью, он шел берегом к гостинице на озере Большой Выпи и не только видел мужчину и женщину в лодке, примерно в описанном свидетельницей месте, но южнее на берегу залива заметил также и палатку этих туристов. Он показал еще, что лодку, находящуюся в Лунной бухте, невозможно увидеть откуда-либо со стороны, – разве только если вы находитесь у самого входа в бухту. Вход очень узок, и с озера бухта совершенно не видна. Были и еще свидетели, подтвердившие это.

И тут (этот психологический эффект был тщательно обдуман заранее) в час, когда в высоком, узком зале суда свет вечернего солнца уже стал меркнуть, Мейсон начал читать письма Роберты одно за другим, совсем просто и без всякой декламации, но с тем сочувствием и глубоким волнением, какое пробудилось в нем при первом их чтении. Тогда они заставили его плакать.

Он начал с первого письма, написанного восьмого июня – всего через три дня после ее отъезда из Ликурга, – и прочел их все, вплоть до четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого и семнадцатого.

По отдельным местам различных писем и по упоминающимся то там, то тут событиям и фактам можно было воссоздать всю историю знакомства Роберты с Клайдом, вплоть до его намерения приехать за нею через три недели, затем через месяц, затем восьмого или девятого июля… и затем – ее внезапная угроза, после чего он поспешно решил встретиться с нею в Фонде. И пока Мейсон читал эти бесконечно трогательные письма, влажные глаза, появившиеся в руках платки и покашливание свидетельствовали о силе их воздействия на публику и на присяжных.

«Ты советовал мне не тревожиться, не думать так много о том, как я себя чувствую, и весело проводить время. Хорошо тебе говорить, когда ты в Ликурге, окружен друзьями и тебя повсюду приглашают. Мне трудно разговаривать по телефону от Уилкоксов: всегда кто-нибудь может меня услышать, а ты все время напоминаешь, что нельзя говорить и того и другого. Мне надо было о многом тебя спросить, но по телефону не удалось. Ты все время только повторяешь, что все уладится. Но ты не сказал определенно, что приедешь двадцать седьмого. Я не совсем разобрала – было очень плохо слышно, – но как будто ты почему-то задержишься еще позже. Но это невозможно, Клайд! Папа и мама третьего уезжают в Хемилтон, к дяде. А Том и Эмилия в тот же день поедут к сестре. Но я не могу и не хочу опять ехать к ней. И не могу оставаться здесь совсем одна. Так что ты должен, право же, должен приехать, как обещал. Клайд, в таком положении я не могу дольше ждать, и ты просто должен приехать и увезти меня отсюда. Только, пожалуйста, умоляю тебя, не мучай меня больше никакими отсрочками».

И еще:

«Клайд, я поехала домой, потому что думала, что могу тебе верить. Ты тогда торжественно обещал приехать за мной самое позднее через три недели и уверял, что за это время успеешь все устроить, соберешь достаточно денег и мы сможем жить на них, пока ты не найдешь где-нибудь другую работу. Но третьего июля будет уже почти месяц, как я здесь, а вчера ты совсем не был уверен, что сумеешь приехать третьего. А ведь я сказала тебе, что мои родители уезжают на десять дней в Хемилтон. Потом, правда, ты сказал, что приедешь, но сказал как будто для того, чтобы меня успокоить. И я с тех пор ужасно волнуюсь.

Пойми, Клайд, я совсем больна. Мне кажется, я каждую минуту могу упасть в обморок, и кроме того, я все время мучительно думаю, как же мне быть, если ты не приедешь, и это сводит меня с ума».

«Клайд, я знаю, что ты больше совсем не любишь меня и хотел бы, чтобы все было по-иному. Но что же мне делать? Я знаю, ты скажешь, что я так же виновата во всем, как и ты. Если бы люди знали, они бы, наверно, тоже так думали. Но ведь я так просила тебя, чтобы ты не заставлял меня идти на то, чего я не хотела делать, – я и тогда боялась, что пожалею об этом. Но я слишком тебя любила, чтобы дать тебе уйти, раз ты так настаивал…»

«Клайд, если б я могла умереть! Тогда бы все разрешилось. И в последнее время я много молилась об этом – правда, молилась, потому что жизнь теперь совсем не так дорога мне, как было прежде, когда мы встретились и ты меня полюбил. Какое это было счастливое время! Если бы все сложилось по-иному… Если бы мы с тобой тогда не встретились! Так было бы гораздо лучше и для меня и для всех нас. Но теперь я не могу, Клайд, ведь у меня нет ни гроша и нет другой возможности дать имя нашему ребенку. Но если бы я не боялась принести страшное горе и позор маме и отцу и всем своим родным, поверь, я предпочла бы совсем другой выход. Это чистая правда».

И еще:

«Клайд, Клайд, все в жизни так изменилось с прошлого года! Подумай, тогда мы ездили на озеро Крам и на другие озера возле Фонды и Гловерсвила и Литл-Фолз, а теперь… теперь… Только что за Томом и Эмилией зашли их друзья и подруги, и они пошли собирать землянику. А я смотрела им вслед и думала, что не могу пойти с ними и никогда уже не буду такой, как они… и я долго-долго плакала».

И наконец:

«Сегодня я прощалась со своими любимыми местами. Знаешь, милый, здесь столько славных уголков, и все они мне так дороги! Ведь я прожила здесь всю свою жизнь. Во-первых, у нас тут есть колодец, со всех сторон обросший зеленым мхом. Я пошла и попрощалась с ним, потому что теперь не скоро опять приду к нему – может быть, никогда. Потом – старая яблоня; мы всегда играли под нею, когда были маленькими, – Эмилия, Том, Гифорд и я. Потом „Вера“ – забавная маленькая беседка в фруктовом саду, – мы в ней тоже иногда играли.

О Клайд, ты не представляешь, что все это для меня значит! В этот раз я уезжаю из дому с таким чувством, как будто никогда больше не вернусь. А мама, бедная мама, я так люблю ее, и мне так тяжело, что я ее обманула! Она никогда не сердится и всегда мне очень помогает. Иногда мне хочется все рассказать ей, но я не могу. У нее и без того немало огорчений, и я не могла бы нанести ей такой жестокий удар. Нет, если я уеду и когда-нибудь вернусь, – замужняя или мертвая, мне это уже почти все равно, – она ничего не узнает, я не доставлю ей никакого горя, и это для меня гораздо важнее, чем самая жизнь. Итак, до свидания, Клайд, мы встретимся, как ты сказал мне по телефону. Прости, что я доставила тебе столько беспокойства.

Твоя печальная Роберта».

Во время чтения Мейсон порою не мог сдержать слез, а когда была перевернута последняя страница, – усталый, но торжествующий от сознания, что его доводы исчерпывающи и неопровержимы, воскликнул:

– Народ закончил!

И в эту минуту из груди миссис Олден, которая находилась в зале суда вместе с мужем и Эмилией и была безмерно измучена долгими, напряженными днями процесса и особенно этим чтением, вырвался крик, похожий на рыдание, и она упала в обморок. Клайд, тоже усталый и измученный, услышав ее крик и увидев, что она упала, вскочил… Тотчас предостерегающая рука Джефсона опустилась на его плечо, а тем временем судебные пристава и ближайшие соседи из публики, поддерживая миссис Олден, помогли ей и Тайтусу выйти из зала. Эта сцена чрезвычайно взволновала всех присутствующих и привела их в такую ярость, как будто Клайд тут же на месте совершил еще одно преступление.

Понемногу возбуждение улеглось, но в зале стало уже совсем темно, стрелки стенных часов показывали пять, и все в суде устали; поэтому судья Оберуолцер счел нужным объявить перерыв до завтрашнего утра.

И сейчас же все репортеры и фотографы поднялись с мест, перешептываясь о том, что наутро предстоит выступление защиты и любопытно, каковы ее свидетели и позволят ли Клайду перед лицом такого невероятного множества показаний против него выступить в качестве свидетеля в свою защиту, или же его защитники удовольствуются более или менее правдоподобными ссылками на невменяемость и нравственную неустойчивость? Это может кончиться для него пожизненным тюремным заключением – не меньше.

А Клайд, выходя из здания суда под свистки и проклятия толпы, спрашивал себя, хватит ли у него завтра мужества выступить в качестве свидетеля, как это было ими давно и тщательно обдумано… И еще он думал (из тюрьмы и обратно его водили без наручников): нельзя ли, если никто не будет смотреть, завтра вечером, когда все встанут с места, и толпа придет в движение, и его конвоиры направятся к нему… нельзя ли… вот если бы побежать, или нет – непринужденно, спокойно, но быстро и как бы ненароком подойти к этой лестнице, а потом – вниз и… ну, куда бы она ни вела… не к той ли маленькой боковой двери подле главной лестницы, которую он еще раньше видел из окна тюрьмы? Ему бы только добраться до какого-нибудь леса

– и потом идти… идти… или просто бежать, бежать, пусть без остановок, без еды, пусть целыми днями, пока… ну, пока он не выберется… куда-нибудь. Конечно, можно попытаться… Его могут пристрелить, в погоню за ним могут пустить собаку, послать людей, но все же можно попытаться спастись, не так ли?

Потому что здесь у него нет надежды на спасение. После всего, что было на суде, никто и нигде не поверит в его невиновность. А он не хочет умереть такой смертью. Нет, нет, только не так!

И вот еще одна тягостная, черная, мучительная ночь.

И за нею еще одно тягостное, серое и холодное утро.

Глава 23

На следующее утро к восьми часам бросающиеся в глаза заголовки всех крупнейших газет города возвестили всем и каждому в самых ясных и понятных выражениях:

«ОБВИНЕНИЕ ПО ДЕЛУ ГРИФИТСА ЗАКОНЧИЛОСЬ ПОТОКОМ ПОТРЯСАЮЩИХ ПОКАЗАНИЙ.

МОТИВЫ И СПОСОБ УБИЙСТВА НЕОПРОВЕРЖИМО ДОКАЗАНЫ, СЛЕДЫ СЕРЬЕЗНЫХ УШИБОВ НА ЛИЦЕ И НА ГОЛОВЕ СООТВЕТСТВУЮТ РАЗМЕРАМ ФОТОГРАФИЧЕСКОГО АППАРАТА.

МАТЬ УБИТОЙ ДЕВУШКИ ЛИШАЕТСЯ ЧУВСТВ ПО ОКОНЧАНИИ ЧТЕНИЯ ТРАГИЧЕСКИХ ПИСЕМ ДОЧЕРИ»

Железная логика, с которой Мейсон построил свое обвинение, равно как и потрясающий драматизм его речи, сразу заставили Белнепа и Джефсона, и тем более Клайда, почувствовать, что они разбиты наголову и никакими мыслимыми ухищрениями им теперь не разуверить присяжных, убежденных, что Клайд – отъявленный злодей.

Все поздравляли Мейсона с мастерски проведенным обвинением. А Клайд был совсем уничтожен и подавлен мыслью, что мать прочтет обо всем происшедшем накануне. Надо непременно попросить Джефсона, пусть он телеграфирует ей, чтобы она не верила всему этому, ни она, ни Фрэнк, ни Джулия, ни Эста. Конечно, и Сондра тоже читает это сегодня, но от нее за все эти дни, за все беспросветные ночи – ни слова! Газеты изредка упоминали о «мисс X», но не появлялось ни одного сколько-нибудь точного ее описания. Вот что может сделать семья со средствами. А сегодня очередь защиты, и ему придется выступить в качестве единственного более или менее значительного свидетеля. И он спрашивал себя, хватит ли у него сил? Толпа… Ее ожесточение… Ее недоверие и ненависть, мучительно бьющие по нервам… А когда Белнеп покончит с ним, начнет Мейсон. Хорошо Белнепу и Джефсону! Им не грозит такая пытка, какая, без сомнения, предстоит ему.

В ожидании ее Клайд проводит час в своей камере в обществе Белнепа и Джефсона, а затем снова оказывается в зале суда под пытливыми взглядами всех этих разношерстных присяжных и снедаемой любопытством публики. И вот поднимается Белнеп и, торжественно обведя взглядом присяжных, начинает:

– Джентльмены! Свыше трех недель тому назад прокурор заявил вам, что, основываясь на собранных им уликах, он будет настаивать на том, чтобы вы, господа присяжные, признали подсудимого виновным в том преступлении, в котором его обвиняют. За этим последовала долгая и утомительная процедура. Неразумные и нелепые, но в каждом отдельном случае невинные и непреднамеренные поступки пятнадцати-шестнадцатилетнего мальчика были представлены вам здесь, джентльмены, как действия закоренелого преступника, – явно с намерением восстановить вас против обвиняемого. Между тем, за исключением одного лишь неверно истолкованного несчастного происшествия в Канзас-Сити (это самый грубый и дикий случай ложного толкования, с каким мне когда-либо приходилось сталкиваться во всей моей юридической практике), смело можно сказать, что жизнь обвиняемого была такой же чистой, деятельной, безупречной и невинной, как и жизнь любого мальчика его возраста. Вы слышали: его называли мужчиной, взрослым бородатым мужчиной, злодеем, мрачным исчадием ада, проникнутым преступнейшими помыслами. А ему ведь только двадцать один год. Вот он сидит перед вами. Осмелюсь сказать, что, сумей я сейчас магической силой слова сорвать с ваших глаз пелену, сотканную всеми жестокими мыслями и чувствами, приписанными моему подзащитному заблуждающимся и, я сказал бы (если бы меня не предупредили, что этого делать нельзя), преследующим особые политические цели обвинением, – вы уже не могли бы так к нему относиться, просто не могли бы – точно так же, как не можете подняться со своих мест и вылететь вот в эти окна.

Господа присяжные, без сомнения, вас, как и прокурора и всех сидящих в этом зале, удивляло, что под сплошным потоком тщательно подобранных и подчас чуть ли не ядом пропитанных показаний я, мой коллега и подзащитный могли оставаться столь спокойными и так хорошо владели собой. (И он с достоинством и церемонно указал на своего партнера, который ожидал своей очереди выступить.) Однако, как вы видели, мы сохраняли не напускное, а подлинное душевное спокойствие – спокойствие людей, которые не только чувствуют, но и знают, что во всяком споре перед лицом закона они сумеют доказать правоту и справедливость своего дела. Вы помните, конечно, слова Эвонского барда: «Втройне силен, чей спор о правом деле».

Действительно, нам известны, – жаль, что они не известны обвинению, – необычайно странные и неожиданные обстоятельства, повлекшие за собою крайне прискорбную и трагическую гибель Роберты Олден. Вы о них узнаете и сможете сами составить суждение об этом. А пока позвольте мне сказать вам следующее: с самого начала процесса я полагал, что даже вне зависимости от света, который мы намерены пролить на эту печальную трагедию, вы, господа, отнюдь не убеждены, действительно ли этот человек совершил жестокое и зверское преступление. Вы не можете быть в этом уверены! Ибо любовь есть любовь, и пути страсти и губительных порывов любви – идет ли речь о мужчине или о женщине – не пути обычного преступления. Вспомните, ведь все мы когда-то были юношами. И все присутствующие здесь женщины были юными девушками, и им известны, – о, как хорошо известны! – волнения и страдания юности, столь чуждые наступающему позже жизненному практицизму. «Не судите, да не судимы будете, и какою мерою мерите, такою отмерится и вам».

Мы признаем существование таинственной мисс X; ее письма, которые мы не могли предъявить здесь, ее обаяние и любовь с огромной силой влияли на обвиняемого. Мы признаем его любовь к этой мисс X. Полагают, что обвиняемый, прибегнув к

коварным и безнравственным приемам, совлек со стези добродетели прелестное существо, погибшее столь прискорбно, но тем не менее, как мы докажем, совершенно случайно. При помощи своих свидетелей, а также путем анализа некоторых из уже слышанных вами здесь показаний мы рассчитываем доказать, что поступки обвиняемого были, пожалуй, не более коварны и безнравственны, чем поступки любого юноши, который видит, что любимая им девушка окружена людьми, чьи взгляды на жизнь крайне ограничены, стиснуты рамками строжайшей прописной морали. И, господа, как сказал вам сам прокурор, Роберта Олден любила Клайда Грифитса. С первых дней этой связи, которая затем превратилась в трагедию, умершая девушка глубоко, безгранично любила его, – так же, как и он, казалось ему любил ее тогда. А людей, которые глубоко и серьезно любят друг друга, мало занимает мнение посторонних. Они любят – и этого довольно!

Но, джентльмены, я не собираюсь задерживаться на этом вопросе так долго, как на объяснении, которое мы вам намерены представить. Почему Клайд Грифитс вообще отправился в Фонду или в Утику, на Луговое озеро или на озеро Большой Выпи? Вы думаете, у нас имеются какие-либо причины или желание отрицать или как-то затушевывать тот факт, что он ездил туда, и притом с Робертой Олден? Или скрыть мотивы, которые заставили его после внезапной и, видимо, странной и загадочной ее смерти так поспешно бежать? Если вы хоть сотую долю секунды всерьез думали, что это так, – значит, никогда еще за все двадцать семь лет своей практики я не имел чести выступать перед двенадцатью столь безнадежно обманутыми и введенными в заблуждение присяжными.

Джентльмены, я сказал вам, что Клайд Грифитс невиновен, – и это правда. Быть может, вы думаете, что мы сами втайне верим в его виновность. Но вы ошибаетесь. В жизни бывают странные, удивительные вещи, и нередко человека обвиняют в том, чего он вовсе не совершал, – и при этом все без исключения обстоятельства как будто подтверждают, что он это совершил. Известно немало трагических и ужасных случаев, когда суд принимал ошибочные решения, руководствуясь исключительно косвенными уликами. Будьте осторожны, будьте очень осторожны! Пусть никакое ошибочное суждение, основанное на каких-либо теориях о поведении человека или на предубеждениях чисто местного, религиозного или морального порядка, суждение, подкрепленное неопровержимыми, казалось бы, уликами, не повлияет на вас! Будьте осторожны, чтобы невольно, движимые наилучшими и благороднейшими намерениями, вы не усмотрели здесь преступления или преступного умысла, тогда как на самом деле ни в мыслях, ни в поступках обвиняемого не было ничего преступного, никакого намерения совершить преступление. О, будьте осторожны! Будьте очень, очень осторожны!

Тут он умолк и, казалось, погрузился в глубокие и даже горестные размышления, а Клайд, ободренный этим искусным и смелым вступлением, несколько воспрянул духом. Но вот Белнеп вновь заговорил, – надо слушать, не упуская ни слова из этой речи, которая придает столько мужества.

– Джентльмены, когда тело Роберты Олден было извлечено из вод озера Большой Выпи, его сразу же осмотрел врач. Он признал, что эта девушка – утопленница. Он выступит здесь и даст показания. Они благоприятны для обвиняемого, и вам следует принять это во внимание.

Прокурор сказал вам, что Роберта Олден и Клайд Грифитс были помолвлены, и шестого июля она покинула родительский дом в Бильце, чтобы отправиться с ним в свадебное путешествие. Но, джентльмены, это так просто – слегка исказить определенные обстоятельства! «Были помолвлены» – вот как выразился прокурор о том, что привело к их отъезду шестого июля. А на самом деле ничем и никак не доказано, что Клайд Грифитс действительно был когда-либо официально помолвлен с Робертой Олден, ниоткуда, помимо некоторых строк в ее письмах, не видно, что он соглашался на ней жениться. А из этих строк явствует, джентльмены, что он согласился жениться на ней только под давлением соображений морального и материального порядка, вызванных ее положением – положением, за которое он, разумеется, ответствен, но которое все же явилось следствием согласия обоих – юноши двадцати одного года и девушки двадцати трех лет. И я спрашиваю вас: разве это настоящая, открытая помолвка? Разве такой смысл вкладываете вы в это слово? Поймите, я никоим образом не хочу осмеять, унизить или опорочить несчастную погибшую девушку. Я просто заявляю, что в действительности, юридически и формально, этот юноша не был официально помолвлен с покойной. Он не обещал ей заранее, что женится на ней… Никогда не обещал! Нет никаких доказательств. Вы должны признать, что это говорит в его пользу. И только ввиду ее положения, ответственность за которое, мы это признаем, лежит на нем, он изъявил согласие жениться на ней в случае… в случае… (Белнеп помедлил и с ударением закончил), если она не пожелает дать ему свободу. А поскольку она не хотела отпускать его, как это видно из прочитанных здесь писем, его согласие, данное под страхом разоблачения и огласки в Ликурге, превращается у прокурора в помолвку, более того – в священное обязательство, нарушить которое способен только негодяй, вор и убийца. Но, джентльмены, немало было в мире нарушено обязательств, более прямых и более священных с точки зрения закона и религии. Тысячи мужчин и тысячи женщин изведали это: их чувства изменились, их клятвы, обещания и уверения были забыты и поруганы, и многие скрыли свои раны в тайниках души или даже с радостью встречали смерть – смерть от собственной руки! Как сказал в своей речи прокурор: это не ново – и никогда не устареет. Никогда!

Предупреждаю вас, именно такой случай представлен сейчас на ваше рассмотрение: умершая девушка стала жертвой подобной перемены в чувствах обвиняемого. Но каким бы тяжким преступлением ни было это в моральном и общественном отношении, юридически это не преступление. И лишь в силу странного, сложного, почти невероятного и притом ведущего к глубочайшим заблуждениям стечения обстоятельств, связанных со смертью несчастной девушки, Клайд Грифитс оказался здесь, перед вами, в качестве обвиняемого. Я ручаюсь за это. Я знаю, что это правда. И на этот счет вам должны быть и будут здесь даны исчерпывающие и вполне удовлетворительные объяснения, прежде чем закончится настоящий процесс.

Однако в связи с этим утверждением необходимо сделать еще одно, которое послужит предисловием ко всему дальнейшему.

Господа присяжные! Тот, кого вы здесь судите и чья жизнь в ваших руках,

– трус, личность умственно и нравственно малодушная, – не более и не менее, но отнюдь не закоренелый жестокосердный преступник. Подобно многим людям, оказавшимся в критическом положении, он стал жертвой особого сочетания страха: страх поразил и ум его и душу. Причины этого явления еще никто не сумел как следует объяснить. У всех нас есть свои тайные страхи, своя пугала. И не что иное, как эти особенности его характера, поставили его теперь в столь опасное положение. Джентльмены, именно трусость, страх перед правилами, установленными на фабрике дяди, равно как и боязнь нарушить слово, данное фабричному начальству, – вот причина, заставившая его скрывать сначала свой интерес к хорошенькой девушке, которая стала работать в его отделении, а позднее – скрывать знакомство с нею.

Однако это отнюдь не преступление в глазах закона. Вы никак не могли бы за это судить человека, что бы ни думал о нем каждый из вас. И, джентльмены, после того, как обвиняемый убедился, что больше не может поддерживать с нею отношения, которыми прежде так дорожил, именно эта умственная и нравственная трусость помешала ему сказать ей прямо, что он больше не может и не хочет сохранять эту связь, а тем более – жениться. Но не приговорите же вы человека к смерти за то, что он оказался жертвой страха? Ведь в конце концов, если мужчина твердо решил, что ему невыносима близость данной женщины (или женщине – близость данного мужчины) и их совместная жизнь будет просто пыткой, – скажите, что должен делать этот человек? Жениться на ней? Зачем? Чтобы им вечно ненавидеть, презирать и мучить друг друга? Можете ли вы искренне сказать, что признаете это разумным образом действий, правилом или законом? Однако с точки зрения защиты обвиняемый пытался поступить вполне разумно и при данных обстоятельствах достаточно честно. Он сделал предложение, – правда, не руки и сердца, – и, увы, безуспешно. Он предложил жить порознь при условии, что станет помогать ей из своего заработка, а она поселится где-нибудь вне Ликурга. Ее письма, прочитанные здесь вчера, указывают на нечто в этом роде. Но, к сожалению, с ее стороны была проявлена настойчивость, столь часто приводящая к трагедии, когда настаивают на том, чего во многих случаях лучше бы не делать. А потом, после – долгая, проведенная в спорах и попытках убедить друг друга поездка в Утику, на Луговое озеро и на Большую Выпь. И все напрасно. Но без намерения убить ее или довести до гибели. Без малейшего намерения! И мы вам покажем почему.

Джентльмены, я снова утверждаю, что не какой-либо преступный план или умысел, а именно трусливый ум и трусливая душа заставили Клайда Грифитса путешествовать с Робертой Олден под разными вымышленными именами по местам, которые я сейчас упомянул, именно они заставили его писать «мистер Карл Грэхем с супругой», «мистер Клифорд Голден с супругой». Он боялся, что совершил серьезную ошибку в глазах общества и тяжкий грех, когда преследовал ее и под конец позволил себе вступить с нею в греховную, беззаконную связь, – это и есть умственная и нравственная трусость, страх перед возможными последствиями.

И на Большой Выпи, когда вследствие несчастного случая воды озера сомкнулись над нею, опять-таки та же трусость помешала ему вернуться в гостиницу и сообщить о ее смерти. Умственная и нравственная трусость, трусость ума и сердца – вот что это было, не больше и не меньше. Он думал о своих богатых ликургских родственниках, о том, что, поехав с этой девушкой на озеро, нарушил правила фабрики и теперь это обнаружится, думал о горе, стыде и гневе ее родных. А кроме того, ведь была еще мисс X – самая яркая звезда в ярчайшем созвездии его грез.

Мы признаем все это, и мы вполне готовы допустить, что он думал об этом или должен был думать. Как утверждает обвиняющая сторона (и мы также признаем это), он был совершенно увлечен и пленен этой мисс X, как и она им. Он готов был, он жаждал покинуть ради другой свою первую возлюбленную, которая отдалась ему, ибо красота и богатство делали в его глазах эту другую несравненно более желанной, так же как сам он казался Роберте Олден желаннее всех других. И если Роберта Олден ошиблась в нем, – а это явно так и было, – что же, разве не мог и он ошибаться в своем безрассудном влечении к той, которая в конце концов – как знать? – быть может, не так уж дорожила им… Во всяком случае, как он сам признался нам, своим защитникам, его в то время едва ли не больше всего пугала мысль, что если мисс X узнает о его поездке на озеро с девушкой, о которой она даже и не слыхала, тогда… ну, тогда, стало быть, конец ее вниманию к нему.

Я знаю, джентльмены по вашему мнению, для подобного поведения нет никаких оправданий. Человек может оказаться жертвой внутренней борьбы между двумя недозволенными чувствами и, однако, в глазах церкви и закона быть виновным в грехе и преступлении. Но тем не менее – и это непреложная истина! – независимо от закона, независимо от религии такие чувства существуют и борются в человеческом сердце, и во множестве случаев именно они определяют поступки своих жертв. И мы признаем, что это они определяли поступки Клайда Грифитса.

Но убил ли он Роберту Олден?

Нет! И еще раз – нет!

Не замышлял ли он, хотя бы робко и нерешительно, затащить ее туда, прикрываясь всякими вымышленными именами, и потом, если она не захочет дать ему свободу, утопить ее? Нелепо! Невозможно! Безумно! Его план был совсем иной.

Но, джентльмены, – тут Белнеп вдруг остановился, словно ему внезапно пришла на ум новая, неожиданная мысль, – быть может, вы в большей мере будете удовлетворены и моими доводами, и окончательным суждением, которое вам надлежит вынести, если выслушаете показания единственного очевидца смерти Роберты Олден – того, кто не просто слышал крик, а действительно был там, кто сам видел и, следовательно, знает, как ее настигла смерть.

Он взглянул на Джефсона, как бы говоря: «Ну вот, Рубен, наконец-то!» И Рубен, обернувшись к Клайду с непринужденностью, за которой, однако, чувствовалась железная воля, шепнул:

– Итак, Клайд, дело теперь за вами. Но я пойду с вами, понятно? Я решил сам вас допрашивать. Я столько вас натаскивал, что, по-моему, вам будет совсем легко отвечать мне, верно?

Он весело, ободряюще улыбнулся. И Клайд, которого обрадовали и сильная речь Белнепа и новое решение Джефсона, поднялся чуть ли не с беззаботным видом (всего четыре часа назад он был далеко не так хорошо настроен) и шепнул:

– Вот здорово! Я рад, что вы сами этим займетесь. Я думаю, теперь у меня все выйдет, как надо.

А между тем публика, услышав, что должен появиться настоящий очевидец, да еще представленный не обвинением, а защитой, разом заволновалась; люди вскочили со своих мест, вытягивая шеи и озираясь. И судья Оберуолцер, в высшей степени недовольный тем, что процесс проходит в неподобающей обстановке, без должной строгости и торжественности, застучал своим молотком, в то время как клерк громко взывал:

– К порядку! К порядку! Прошу немедленно сесть, иначе зал суда будет очищен от публики! Прошу приставов следить за порядком!

И затем в наступившей напряженной тишине раздался голос Белнепа:

– Клайд Грифитс, пройдите на свидетельское место.

С удивлением увидев, что Клайд, сопровождаемый Джефсоном, выступил вперед, публика снова возбужденно зашепталась невзирая на резкие окрики судьи и приставов. Даже Белнеп, увидев приближающегося к нему Джефсона, несколько удивился, так как первоначально предполагалось, что он сам проведет допрос Клайда. Но пока Клайда приводили к присяге, Джефсон подошел вплотную к Белнепу и прошептал:

– Предоставьте его мне, Элвин. По-моему, так будет лучше. Он держится слишком напряженно и трусливо, но я уверен, что сумею его вытянуть.

Публика тоже обратила внимание на смену адвокатов и перешептывалась по этому поводу, а Клайд большими глазами, полными тревоги, обводил окружающих и думал: «Ну вот, наконец я – свидетель и, конечно, все на меня смотрят. Надо казаться совсем спокойным, как будто я ни капли не волнуюсь, потому что я не убивал ее. Ведь я не убил ее, это правда». И все же он был иссиня-бледен, веки его покраснели и опухли, и руки, несмотря на все усилия, слегка дрожали. И вот длинная, сильная и гибкая, точно хлыст, фигура Джефсона поворачивается к нему, голубые глаза пристально смотрят прямо в карие глаза Клайда, и адвокат начинает:

– Итак, Клайд, прежде всего надо, чтобы присяжные и все в зале ясно слышали мои вопросы и ваши ответы. А теперь подумайте немного и спокойно расскажите нам все, что помните о своей жизни: откуда вы, где родились, чем занимались ваши отец и мать и, наконец, чем вы сами занимались, с тех пор как начали жить своим трудом и до настоящего времени. Возможно, я изредка буду прерывать вас и задавать кое-какие вопросы, но в основном предоставлю вам самому все рассказать, так как знаю, что вы сделаете это лучше, чем кто бы то ни было.

Но, чтобы Клайд был спокоен и все время помнил, что защитник находится рядом, подобно стене, бастиону между ним и нетерпеливой, недоверчивой и враждебной толпой, Джефсон придвинулся почти вплотную к нему, совсем близко: время от времени он даже ставил ногу на ступеньки свидетельской трибуны или, наклоняясь к Клайду, опирался рукою на ручку его кресла. Он то и дело повторял: «Да-да-а… Так-так… А дальше что?.. А потом?»

И его уверенный, ободряющий, дружеский голос неизменно придавал Клайду силы, так что он сумел связно, твердо, не запинаясь, рассказать краткую повесть своей жизни.

– Я родился в Грэнд-Рэпидс, штат Мичиган. В то время мои родители руководили в этом городе религиозной миссией и выступали с проповедями на улицах…

Глава 24

Клайд дошел в своих показаниях до той поры, когда из Куинси, штат Иллинойс (там его родители одно время работали в Армии спасения), семья переехала в Канзас-Сити, где он, начиная с двенадцати и вплоть до пятнадцати лет, пытался найти какую-нибудь работу, потому что ему не нравилось учиться в школе и одновременно участвовать в религиозной деятельности, как того хотели родители.

– И успешно шло ваше ученье в школе?

– Нет, сэр. Нам приходилось слишком часто переезжать.

– В каком классе вы учились, когда вам было двенадцать лет?

– Видите ли, мне уже полагалось перейти в седьмой, но я был только в шестом. Поэтому мне и не нравилось в школе.

– А как вы относились к религиозной деятельности родителей?

– Да что ж, это дело хорошее… только я не любил по вечерам петь псалмы на улицах.

И так он рассказывал дальше: о том, как служил в дешевой лавчонке, как продавал содовую воду и разносил газеты, пока, наконец, не стал рассыльным в «Грин-Дэвидсон» – лучшем отеле в Канзас-Сити, пояснил он.

– Ну, вот что… – произнес Джефсон. (Он боялся, что Мейсон, стремясь вызвать недоверие к Клайду как свидетелю, станет чересчур копаться в происшествии с разбитым автомобилем и убитой девочкой в Канзас-Сити и испортит впечатление от показаний Клайда, – и решил опередить противника. Несомненно, правильно ведя допрос, можно будет объяснить и смягчить всю эту историю, а если предоставить это Мейсону, он, конечно, сделает из нее нечто чрезвычайно мрачное.) И потому Джефсон продолжал:

– Сколько же времени вы там служили?

– Немного больше года.

– А почему ушли?

– Видите ли, тут случилось одно несчастье…

– Какое именно?

И Клайд, заранее подготовленный и вымуштрованный, подробнейшим образом рассказал обо всем, включая смерть девочки и свое бегство, – всем этим Мейсон, конечно, собирался заняться сам. И теперь, слушая Клайда, он только покачал головой и проворчал иронически:

– Сам преподнес… недурно сделано!

А Джефсон, понимая все значение происходящего (похоже, что он вывел из строя одно из лучших орудий мистера Мейсона!), продолжал:

– Сколько, вы сказали, вам тогда было лет?

– Шел восемнадцатый.

– Стало быть, вы хотите сказать следующее, – продолжал он, покончив со всеми вопросами, какие мог придумать в связи с этим происшествием, – вы не знали, что могли вернуться, поскольку машину взяли не вы, и не знали, что после ваших объяснений родители могли взять вас на поруки.

– Заявляю протест! – крикнул Мейсон. – Ничем не доказано, что он мог вернуться в Канзас-Сити и что родители могли взять его на поруки.

– Протест принят! – прогремел судья со своего возвышения. – Попрошу защиту при допросе свидетеля держаться ближе к делу.

– Снимаю вопрос, – отозвался со своего места Белнеп.

– Нет, сэр, я этого не знал, – все-таки ответил Клайд.

– Во всяком случае именно по этой причине, уехав из Канзас-Сити, вы стали называть себя Тенет, как вы мне говорили? – продолжал Джефсон.

– Да, сэр.

– Кстати, Клайд, откуда вы взяли фамилию Тенет?

– Так звали мальчика, с которым я играл в Куинси.

– И это был хороший мальчик?

– Заявляю протест! – крикнул с места Мейсон. – Неправильно, несущественно, не относится к делу.

– Однако он мог дружить с хорошим мальчиком, наперекор всему, в чем вы хотели бы уверить присяжных, и в этом смысле мой вопрос очень даже относится к делу, – ехидно заметил Джефсон.

– Протест принят! – загремел судья Оберуолцер.

– А вам тогда не приходило в голову, что настоящему Тенету это может не понравиться и что вы можете доставить ему неприятности, раз его именем пользуется человек, вынужденный скрываться?

– Нет, сэр… я думал, что Тенетов ужасно много…

Тут слушателям полагалось бы снисходительно улыбнуться, но публика была так враждебно настроена, с таким ожесточением относилась к Клайду, что не могло быть и речи о подобном легкомыслии в зале суда.

– Послушайте, Клайд, – продолжал Джефсон, поняв, что ему не удалось смягчить настроение толпы, – вы ведь любили свою мать, не так ли?

Протест, перепалка, и в конце концов вопрос признан допустимым и законным.

– Да, сэр, конечно, я любил ее, – ответил Клайд, но после легкого колебания, которое не прошло незамеченным: что-то стиснуло ему горло, и грудь его поднялась и опустилась в тяжелом вздохе.

– Очень?

– Да, сэр… очень.

Теперь он не смел поднять глаз.

– Она всегда делала для вас все, что могла и что считала правильным, – так?

– Да, сэр.

– Но в таком случае, хоть вас и постигло страшное несчастье, как же вы все-таки могли убежать и столько времени жить вдали от матери? Почему вы ни слова не сказали ей о том, что вы вовсе не так виноваты, как кажется, и что ей не нужно тревожиться, так как вы снова работаете и стараетесь вести себя как порядочный юноша?

– Так ведь я писал ей, только не подписывался настоящим именем.

– Понимаю. А еще как-нибудь давали о себе знать?

– Да, сэр. Я однажды послал ей немножко денег. Десять долларов.

– И вы совсем не думали о возвращении домой?

– Нет, сэр. Я боялся, что меня арестуют, если я вернусь.

– Иными словами, – с особенной выразительностью отчеканил Джефсон, – вы были умственным и нравственным трусом, как сказал мой коллега мистер Белнеп.

– Я протестую против попыток растолковывать присяжным показания обвиняемого! – прервал Мейсон.

– Показания обвиняемого, право же, не нуждаются в каком-либо истолковании. Они очень просты и правдивы, это понятно каждому, – быстро вставил Джефсон.

– Протест принят! – объявил судья. – Продолжайте, продолжайте.

– Значит, Клайд, как я понимаю, так вышло потому, что вы были в нравственном и умственном отношении трусом. Но я вовсе не осуждаю вас за то, в чем вы неповинны (в конце концов вы не сами себя сделали, верно?).

Но это было уже слишком, и судья предостерег Джефсона, чтобы он впредь осторожнее выбирал выражения.

– Стало быть, вы переезжали с места на место – в Олтон, Пеорию, Блюмингтон, Милуоки, Чикаго, забирались в какие-то каморки на окраинах, мыли посуду, продавали содовую воду, работали возчиком, скрывались под именем Тенета, в то время как могли бы, в сущности, вернуться в Канзас-Сити, на свою прежнюю службу? – продолжал Джефсон.

– Протестую! Протестую! – завопил Мейсон. – Нет никаких доказательств, что он мог вернуться и поступить на прежнее место.

– Протест принят, – решил Оберуолцер, хотя в эту минуту в кармане у Джефсона лежало письмо Френсиса Скуайрса, работавшего начальником над рассыльными в отеле «Грин-Дэвидсон» в то время, когда там служил Клайд: Скуайрс писал, что, помимо происшествия, связанного с катанием на чужом автомобиле, он не замечал за Клайдом ничего плохого: юноша всегда был исполнителен, честен, послушен, проворен и вежлив. Когда случилось то несчастное происшествие, мистер Скуайрс был убежден, что Клайд мог быть лишь одним из самых пассивных его участников и что, если бы он вернулся и толком рассказал о случившемся, его бы оставили в отеле. И все это сочли не относящимся к делу!

Дальше Клайд рассказал о том, как, сбежав от неприятностей, грозивших ему в Канзас-Сити, и проведя два года в скитаниях с места на место, он наконец нашел работу в Чикаго – сначала возчиком, а потом рассыльным в «Юнион-клубе»; о том, что с первого же места, где он получил работу, он написал матери, а потом, по ее настояниям, собирался написать дяде, – и тут как раз встретил его в клубе, и дядя предложил ему приехать в Ликург. Далее по порядку изложены были все подробности того, как он начал работать, как получил повышение и двоюродный брат и начальник цеха сообщили ему существующие на фабрике правила и, наконец, как он познакомился с Робертой, а потом и с мисс X. Клайд подробно рассказал, как он ухаживал за Робертой Олден и как, добившись ее любви, чувствовал и считал себя счастливым, но появление мисс X и ее неотразимое очарование вызвали резкую перемену в его отношении к Роберте: она все еще очень нравилась ему, но он уже не мог, как прежде, желать брака с нею.

Тут поспешно вмешался Джефсон: обнаруженное Клайдом непостоянство было слишком неприятным свойством, чтобы можно было так быстро заговорить о нем в показаниях, и Джефсон захотел отвлечь внимание присяжных.

– Клайд, – прервал он, – вы сначала в самом деле любили Роберту Олден?

– Да, сэр.

– Тогда вы должны были знать или хотя бы сразу понять по ее поступкам, что она глубоко порядочная, чистая и набожная девушка, так?

– Да, сэр, я именно так о ней и думал, – повторил Клайд заученный ответ.

– Тогда не можете ли вы в самых общих чертах, не вдаваясь в подробности, объяснить самому себе и присяжным, как, почему, где и когда возникла перемена в ваших чувствах, приведшая к отношениям, которые все мы (тут Джефсон обвел публику, а затем и присяжных дерзким, проницательным и холодным взглядом) сурово осуждаем. Если вы вначале были столь высокого мнения о ней, как же случилось, что вы так быстро дошли до столь недозволенных отношений? Разве вы не знали, что, с точки зрения всех мужчин, а также и всех женщин, отношения эти греховны и вне брака непростительны, что это преступление?

Смелость и едкая ирония Джефсона вызвали в растерянно притихшей публике беспокойное движение, – заметив это, и Мейсон и судья Оберуолцер опасливо нахмурились. Что за наглый, циничный мальчишка! Как он смеет коварными намеками под видом серьезного допроса внушать подобную мысль, в которой скрыто посягательство на самые основы общества, на религиозные и моральные устои! Вот он стоит, дерзкий, бесстрастный и надменный, и слушает ответ Клайда:

– Да, сэр, мне кажется, я это знал… конечно… но, право же, я никогда не старался ее соблазнить ни сначала, ни потом. Просто я был в нее влюблен.

– Вы были влюблены в нее?

– Да, сэр.

– Очень?

– Очень.

– И она тоже была сильно влюблена в вас?

– Да, сэр.

– С самого начала?

– С самого начала.

– Она говорила вам это?

– Да, сэр.

– А в то время, когда она переезжала от Ньютонов, – вы ведь слышали все, что говорили об этом свидетели, – вы не уговаривали ее, не старались любым способом, обманом или какими-нибудь доводами убедить ее переехать от них?

– Нет, сэр. Она сама захотела переехать. Она только просила, чтобы я помог ей найти комнату.

– Попросила, чтобы вы помогли найти комнату?

– Да, сэр.

– А почему, собственно?

– Потому, что она не очень хорошо знала город и думала, что я, может быть, посоветую ей, где найти хорошую, не слишком дорогую для нее комнату.

– И вы указали ей комнату, которую она сняла у Гилпинов?

– Нет, сэр. Я ей никаких комнат не указывал. Она нашла ее сама. (Это был в точности заученный им ответ.)

– А почему же вы ей не помогли?

– Потому что я был занят по целым дням и почти все вечера. И потом я думал, что ей самой лучше знать, чего она хочет, – у каких людей поселиться и все такое.

– А вы сами когда-нибудь бывали в доме Гилпинов до того, как она туда переехала?

– Нет, сэр.

– Были у вас с нею до ее переезда какие-нибудь разговоры о том, какую именно комнату ей следует снять – с каким входом и выходом, насколько уединенную и прочее?

– Нет, сэр, я никогда с ней об этом не говорил.

– И никогда не настаивали, к примеру, чтобы она сняла такую комнату, куда вы могли бы проскользнуть и откуда могли бы выйти ночью или днем, никому не попадаясь на глаза?

– Никогда. И, кроме того, в этот дом очень трудно было войти и очень трудно выйти незаметно.

– Почему же?

– Потому что дверь ее комнаты была рядом с Парадной дверью, через которую все входили и выходили, и каждый мог заметить чужого человека. (Этот ответ тоже был заучен наизусть.)

– Но вы ведь все-таки пробирались в дом потихоньку?

– Да, сэр… то есть, видите ли, мы оба с самого начала решили, что, чем меньше нас будут видеть вместе где бы то ни было, тем лучше.

– Из-за того фабричного правила?

– Да, сэр, из-за того правила.

За этим последовал рассказ о различных затруднениях с Робертой, причиной которых было появление в его жизни мисс X.

– Теперь, Клайд нам придется поговорить немного о мисс X. По договоренности между защитой и обвинением, – основания для этого вам, господа присяжные, разумеется, понятны, – мы можем лишь слегка затронуть эту тему, поскольку речь идет о совершенно ни в чем не повинной особе, чье настоящее имя нет никакой надобности здесь называть. Но некоторых фактов придется коснуться, хотя мы будем обращаться с ними возможно деликатнее – столько же ради той, что жива и ни в чем не виновата, сколько и ради покойной. И я уверен, что мисс Олден согласилась бы с этим, будь она жива. Так вот, относительно мисс X, – продолжал Джефсон, обернувшись к Клайду. – Обе стороны уже признали, что вы познакомились с нею в Ликурге примерно в ноябре или декабре прошлого года. Верно это?

– Да, сэр, это верно, – грустно ответил Клайд.

– И вы тотчас безумно влюбились в нее?

– Да, сэр. Это правда.

– Она богата?

– Да, сэр.

– Красива? Это, я полагаю, признано всеми, – прибавил Джефсон, обращаясь к суду в целом и вовсе не ожидая ответа Клайда, но тот, в совершенстве вымуштрованный, все же ответил:

– Да, сэр.

– В то время, когда вы впервые встретились с мисс X, вы двое – вы и мисс Олден, хочу я сказать, – уже вступили в незаконную связь, о которой шла речь?

– Да, сэр.

– Тогда, принимая все это во внимание… нет, вот что, одну минуту, я сперва хочу спросить вас о другом… дайте сообразить… Скажите, когда вы встретились с мисс X, вы все еще любили Роберту Олден?

– Да, сэр, я любил ее.

– До этого времени вы никогда не чувствовали, что она становится вам в тягость?

– Нет, сэр.

– Ее любовь и дружба были вам так же дороги и отрадны, как и прежде?

– Да, сэр?

Говоря это, Клайд вспоминал прошлое, и ему казалось, что он сказал чистую правду. Да, правда, как раз перед встречей с Сондрой он действительно был очень спокоен и счастлив с Робертой.

– А скажите, до встречи с мисс X были у вас с мисс Олден какие-нибудь планы на будущее? Вы же, наверно, задумывались над этим, – так?

– Н-не совсем (и Клайд нервно облизнул пересохшие от волнения губы)… Видите ли, я вообще ничего не обдумывал заранее, то есть ничего плохого для Роберты… И она, конечно, тоже ничего такого не думала. Просто нас с самого начала несло по течению. Наверно, так вышло потому, что мы были очень одиноки. У нее в Ликурге никого не было, у меня тоже. И тут еще это правило, – из-за него я нигде не мог бывать с нею… а уж когда мы сблизились, так все и пошло само собой, и мы не очень задумывались над этим – ни она, ни я.

– Вы просто плыли по течению, потому что пока с вами ничего не случилось и вы не думали, что может случиться? Так?

– Нет, сэр. То есть да, сэр. Так оно и было. – Клайд ужасно старался безукоризненно повторить эти много раз прорепетированные и очень важные ответы.

– Но должны же вы были о чем-то думать, кто-нибудь один или вы оба. Ведь вам был двадцать один год, а ей двадцать три.

– Да, сэр. Мне кажется, мы… кажется, я думал иногда.

– Что же именно вы думали? Не припомните?

– По-моему, да, сэр, я помню. То есть я знаю точно, я иногда думал, что если все пойдет хорошо и я начну побольше зарабатывать, а она найдет работу в другом месте, то я смогу всюду бывать с ней открыто, а после, если мы с ней будем все так же любить друг друга, можно будет и пожениться.

– Вы в самом деле думали тогда, что женитесь на ней?

– Да, сэр. Определенно думал – именно так, как я сказал.

– Но это было до того, как вы встретили мисс X?

– Да, сэр, это было раньше.

(«Здорово сделано!» – язвительно заметил Мейсон на ухо сенатору Редмонду.

«Великолепный спектакль», – театральным шепотом ответил Редмонд.)

– А говорили вы ей на этот счет что-нибудь определенное? – продолжал Джефсон.

– Нет, сэр, не помню… Как будто ничего определенного не говорил.

– Что-нибудь одно – либо говорили, либо нет. Что же именно?

– Да, право же, ни то, ни другое. Я часто говорил, что люблю ее и хочу, чтобы мы всегда были вместе, и надеюсь, что она никогда меня не оставит.

– Но вы не говорили, что хотите на ней жениться?

– Нет, сэр, что хочу жениться, не говорил.

– Так, так, хорошо… А она? Что она говорила?

– Что она никогда меня не оставит, – с усилием, несмело ответил Клайд, вспоминая последний крик Роберты и ее последний взгляд. И, достав из кармана платок, он принялся вытирать лицо и ладони, покрытые холодным потом.

(«Отличная постановка!» – с издевкой пробормотал Мейсон.

«Неглупо, неглупо!» – небрежно заметил Редмонд.)

– Но скажите, – ровным тоном невозмутимо продолжал Джефсон, – если у вас было такое чувство к мисс Олден, как же вы могли так быстро изменить свое отношение к ней после встречи с мисс X? Разве вы так непостоянны, что ваши мысли и чувства меняются с каждым днем?

– Ну, об этом я раньше никогда не думал… Нет, сэр, я не такой!

– А до того, как вы познакомились с мисс Олден, вам случалось когда-нибудь серьезно любить?

– Нет, сэр.

– Но считали ли вы, что ваши отношения с мисс Олден серьезны и прочны,

– что это настоящая любовь, – пока не встретились с мисс X?

– Да, сэр, я так и считал.

– А потом, после этой встречи?

– Ну, потом… потом уже все стало по-другому.

– Вы хотите сказать, что после того, как вы раз или два увидели мисс X, мисс Олден стала вам совершенно безразлична?

И тут Клайда осенило:

– Нет, сэр, не то. Не совсем так, – поспешно и решительно возразил он.

– Я продолжал любить ее… даже очень, правда! Но я и опомниться не успел, как совсем потерял голову из-за… из-за… мисс… мисс…

– Ну да, из-за этой мисс X. Это мы знаем. Вы безумно и безрассудно влюбились в нее – так?

– Да, сэр.

– И дальше что?

– Дальше… ну… я уже просто не мог относиться к мисс Олден, как раньше.

При этих словах лоб и щеки Клайда снова стали влажны.

– Понятно! Понятно! – громко и подчеркнуто, чтобы произвести впечатление на присяжных и публику, заявил Джефсон: – Сказка Шехерезады – чаровница и очарованный.

– Я не понимаю, что вы говорите, – растерянно сказал Клайд.

– Я говорю о колдовстве, мой друг, о том, что человек подвластен чарам красоты, любви, богатства – всего, чего мы подчас так жаждем и не можем достичь, – такова чаще всего любовь в нашем мире.

– Да, сэр, – простодушно согласился Клайд, справедливо заключив, что Джефсон просто-напросто хотел блеснуть красноречием.

– Но вот что я хочу знать. Если вы так любили мисс Олден, как говорите, и добились таких отношений с нею, которые следовало освятить браком, как же вы настолько не чувствовали своих обязательств, своего долга перед нею, что у вас могла явиться мысль бросить ее ради мисс X? Как это произошло, хотел бы я знать, – и я уверен, что это интересует также и господ присяжных. Где было ваше чувство благодарности? И чувство нравственного долга? Может быть, вы скажете, что у вас нет ни того, ни другого? Мы хотим это знать.

Поистине, это был допрос с пристрастием – нападение на собственного свидетеля. Но Джефсон говорил только то, что был вправе сказать, и Мейсон не вмешался.

– Но я…

Клайд смутился и запнулся, как будто его не научили заранее, что нужно ответить: казалось, он мысленно ищет какого-нибудь вразумительного объяснения. Да так и было в действительности, потому что, хоть он и зазубрил ответ, но, услышав этот вопрос на суде и вновь оказавшись лицом к лицу с проблемой, которая так смущала и мучила его в Ликурге, он не сразу вспомнил, чему его учили… Он мялся, поеживаясь, и наконец произнес:

– Видите ли, сэр, я как-то почти не думал об этом. Я не мог думать с тех пор, как увидел ее. Я иногда пробовал, но у меня ничего не выходило. Я чувствовал, что одна она нужна мне, а не мисс Олден. Я знал, что это нехорошо… да, конечно… и мне было очень жалко Роберту… Но все равно, я просто ничего не мог поделать. Я мог думать только о мисс X и не мог относиться к Роберте по-старому, сколько ни старался.

– Вы хотите сказать, что вас из-за этого ничуть не мучила совесть?

– Мучила, сэр, – отвечал Клайд. – Я знал, что поступаю нехорошо, и очень огорчался за нее и за себя; но все равно, я не мог иначе. (Он повторял слова, написанные для него Джефсоном; впрочем, прочитав их впервые, он почувствовал, что все это чистая правда: он и в самом деле тогда испытывал известные угрызения совести.)

– Что же дальше?

– Потом она стала жаловаться, что я бываю у нее не так часто, как раньше.

– Иными словами, вы стали пренебрегать ею?

– Да, сэр, отчасти… но не совсем… нет, сэр.

– Ну, хорошо, а как вы поступили, когда поняли, что так сильно увлеклись этой мисс X? Сказали мисс Олден, что больше не любите ее, а любите другую?

– Нет, тогда не сказал.

– Почему? Может быть, по-вашему, честно и порядочно говорить сразу двум девушкам, что вы их любите?

– Нет, сэр, но ведь это было не совсем так. Видите ли, тогда я только что познакомился с мисс X и еще ничего ей не говорил. Она бы не позволила. Но все-таки я тогда уже знал, что не могу больше любить мисс Олден.

– Но ведь у мисс Олден были на вас известные права? Уже одно это должно было бы помешать вам ухаживать за другой девушкой – вы этого не понимали?

– Понимал, сэр.

– Тогда почему же вы это делали?

– Я не мог устоять перед ней.

– Вы говорите о мисс X?

– Да, сэр.

– Стало быть, вы бегали за ней до тех пор, пока не заставили ее полюбить вас?

– Нет, сэр, это было совсем не так.

– А как же?

– Просто я встречался с нею то тут, то там и стал по ней с ума сходить.

– Понятно. Но все же вы не пошли к мисс Олден и не сказали, что больше не можете относиться к ней по-старому?

– Нет, сэр. Тогда не сказал.

– Почему же?

– Я думал, что она огорчится, – я не хотел, чтобы ей было больно.

– Так, понятно. Стало быть, у вас не хватало эмоционального и умственного мужества для того, чтобы сказать ей правду?

– Я не разбираюсь в эмоциональном и умственном мужестве, – отвечал Клайд, несколько задетый и уязвленный таким определением, – просто я очень ее жалел. Она часто плакала, и я не решался сказать ей правду.

– Понятно. Что ж, пусть будет так. Но я хочу спросить вот о чем. Ваши отношения с мисс Олден оставались столь же близкими и после того, как вы поняли, что больше не любите ее?

– Н-нет, сэр… во всяком случае, недолго, – пристыженно пробормотал Клайд.

Он думал, что все в зале суда слышат его… и мать, и Сондра, и все люди по всей Америке узнают из газет, что он ответил! Когда несколько месяцев назад Джефсон впервые показал ему эти вопросы, Клайд спросил, зачем они нужны, и Джефсон ответил: «Для воспитательного воздействия. Чем неожиданнее и чем сильнее мы поразим присяжных кое-какими жизненными фактами, тем легче добьемся, чтобы они сколько-нибудь здраво поняли, в чем заключалась стоявшая перед вами задача. Но вы не очень беспокойтесь об этом. Когда настанет время, вы просто отвечайте на вопросы, а остальное предоставьте нам. Мы знаем, что делаем». И теперь Клайд продолжал:

– Видите ли, после встречи с мисс X я больше не мог относиться к Роберте, как прежде, и поэтому старался поменьше видеться с нею. Но, во всяком случае, очень скоро после этого она… попала в беду… ну, и тогда…

– Понятно. А когда примерно это случилось?

– В конце января.

– Ну, и что же? Когда это случилось, вы не почувствовали, что при таких обстоятельствах ваш долг – жениться на ней?

– Но… нет, в тех условиях нет… то есть, я хочу сказать, если бы мне удалось ее выручить.

– А почему, собственно, нет? И что значит «в тех условиях»?

– Видите ли… все было, как я вам говорил. Я больше не любил ее, и ведь я не обещал ей жениться, – она это знала. Поэтому я думал, что будет более или менее правильно, если я помогу ей от этого избавиться, а потом скажу, что больше не люблю ее.

– А все-таки вы не сумели ей помочь?

– Нет, сэр. Но я старался.

– Вы обращались к аптекарю, который давал здесь показания?

– Да, сэр.

– И к кому-нибудь еще?

– Да, сэр, я обошел семь аптек, пока наконец достал хоть что-то.

– Но то, что вы достали, не помогло?

– Нет, сэр.

– Молодой торговец галантереей показал, что вы обращались к нему, – было это?

– Да, сэр.

– И он указал вам какого-нибудь врача?

– Д-да… но… я не хотел бы называть его.

– Ладно, можете не называть. Но вы послали мисс Олден к врачу?

– Да, сэр.

– Она пошла одна или вы ее сопровождали?

– Я проводил ее… то есть только до дверей.

– Почему только до дверей?

– Потому что… мы обсудили это и решили – и она и я, – что так, пожалуй, будет лучше. У меня тогда было мало денег. Я думал, что, может быть, доктор поможет ей за меньшую плату, если она придет одна, а не вдвоем со мной.

(«Черт побери, а ведь он крадет мои громы и молнии! – подумал тут Мейсон. – Он перехватил большую часть вопросов, которыми я рассчитывал запутать Грифитса». – И он встревоженно выпрямился. Бэрлей, Редмонд, Эрл Ньюком – все теперь ясно поняли замысел Джефсона.)

– Понятно. А может быть, дело было еще и в том, что вы боялись, как бы о ваших с нею отношениях не прослышали ваш дядя или мисс X?

– О да, я… то есть мы оба думали и говорили об этом. Она понимала, в каком я положении.

– Но о мисс Х речи не было?

– Нет, не было.

– Почему?

– Потому что… Я думал, что как раз тогда не следовало ей об этом говорить. Она бы слишком расстроилась. Я хотел подождать, пока у нее все уладится.

– А тогда сказать ей все и оставить ее, – вы это имеете в виду?

– Да… если бы я чувствовал, что не могу относиться к ней по-старому… Да, сэр.

– Но не тогда, когда она была в таком положении?

– Нет, сэр, тогда нет. Но, видите ли, в то время я еще надеялся, что помогу ей от этого избавиться.

– Понятно. И ее положение не повлияло на ваше отношение к ней? Не вызвало у вас желания отказаться от мисс Х и жениться на мисс Олден и таким образом все исправить?

– Нет, сэр… тогда нет… то есть не в тот раз.

– Что значит «не в тот раз»?

– То есть я стал думать об этом позже, как я вам говорил… но не тогда… Это было после… когда мы поехали к Адирондакским горам.

– А почему не тогда?

– Я уже сказал, почему. Я совсем потерял голову из-за мисс Х и больше ни о чем не мог думать.

– Вы даже тогда не могли изменить свое отношение к мисс Олден?

– Нет, сэр. Мне было очень жаль ее, но я не мог иначе.

– Понятно. Ну, пока оставим это. Потом я еще вернусь к этому вопросу. Сейчас я хотел бы, чтобы вы, если можете, постарались объяснить присяжным, что же именно так привлекло вас в мисс Х, отчего она вам нравилась настолько больше мисс Олден? Что именно, какие особенности ее поведения, внешности, характера или положения в обществе до такой степени вас прельщали? Вы-то сами это понимаете?

И Белнеп и Джефсон на разные лады и по разным психологическим, юридическим и личным причинам не раз прежде задавали Клайду этот вопрос и получали самые разные ответы. Вначале он вообще не хотел говорить о Сондре, опасаясь, что любые его слова будут подхвачены и повторены на суде и в газетах с упоминанием ее имени. Потом, поскольку все газеты замалчивали ее настоящее имя, стало ясно, что ей не угрожает публичный скандал, и тогда он позволил себе говорить о ней несколько свободнее. Но здесь, на суде, он снова стал осторожен и замкнут.

– Ну, это трудно объяснить… По-моему, она красавица, гораздо красивее Роберты. Но не только в этом дело. Она совсем не такая, как все, кого я знал раньше… гораздо самостоятельнее… и все с таким вниманием относились ко всему, что она делала и говорила. Мне кажется, она знает гораздо больше, чем все мои прежние знакомые. И она ужасно хорошо одевается и очень богата, и принадлежит к лучшему обществу, и газеты часто пишут о ней и помещают ее портреты. Когда я ее не видел, я каждый день читал о ней в газетах, и мне казалось, что она все время со мной. И потом, она очень смелая, не такая простая и доверчивая, как мисс Олден… сперва я даже не мог поверить, что она стала мною интересоваться. А под конец я больше ни о ком и ни о чем не мог думать, и о Роберте тоже. Я просто не мог, – ведь мисс Х все время была передо мной.

– Да, на мой взгляд, вы поистине были влюблены, прямо загипнотизированы, – ввернул Джефсон в виде обобщения, уголком глаза наблюдая за присяжными. – Типичная картина помешательства от любви, – яснее, по-моему, некуда.

Но и публика и присяжные выслушали его замечание с неподвижными, каменными лицами.

И сразу после этого пришлось окунуться в быстрые, мутные воды предполагаемого злостного умысла, ибо все остальное было лишь вступлением.

– Итак, Клайд, что же случилось потом? Расскажите нам подробно все, что помните. Ничего не смягчайте, не старайтесь казаться ни лучше, ни хуже, чем вы были на самом деле. Она мертва – и вы тоже умрете, если эти двенадцать джентльменов под конец придут к такому решению. (От этих слов точно ледяной холод пронизал и Клайда и всех, кто находился в зале суда.) Но ради вашего же душевного спокойствия вам лучше говорить правду. (Тут Джефсон подумал о Мейсоне: пусть попробует отбить такой удар!)

– Да, сэр, – просто сказал Клайд.

– Стало быть, она попала в беду, и вы не сумели ей помочь. Ну, а потом? Что вы тогда сделали? Как поступили? Да, кстати, какое жалованье вы получали в то время?

– Двадцать пять долларов в неделю, – признался Клайд.

– Других источников дохода не имели?

– Простите, я не понял.

– Были у вас тогда какие-либо другие источники откуда вы могли бы так или иначе достать денег?

– Нет, сэр.

– Сколько вам стоила комната?

– Семь долларов в неделю.

– А стол?

– Долларов пять-шесть.

– Были еще какие-нибудь расходы?

– Да, сэр: на одежду и на стирку.

– Должно быть, вам приходилось также участвовать в расходах, связанных со всякими светскими развлечениями?

– Протестую, это наводящий вопрос! – выкрикнул Мейсон.

– Протест принят, – заявил судья Оберуолцер.

– Можете вы припомнить еще какие-нибудь расходы?

– Да, на трамвай, на поездки по железной дороге. И потом – я должен был вносить свою долю, когда участвовал во всяких развлечениях.

– Вот именно! – в ярости крикнул Мейсон. – Я считаю, что хватит вам подсказывать этому попугаю!

– А я считаю, что почтеннейшему прокурору незачем путаться не в свое дело, – фыркнул Джефсон, отбиваясь и за себя и за Клайда. Ему хотелось сломить страх Клайда перед Мейсоном. – Я допрашиваю подсудимого, а что касается попугаев, то мы за последнее время видели их тут сколько угодно, и натасканы они были, как самые отъявленные школьные зубрилы.

– Это злостная клевета! – завопил Мейсон. – Я протестую и требую извинения!

– Ваша честь, извинение должно быть принесено мне и моему подзащитному, и оно будет быстро получено, если только ваша честь соизволит объявить перерыв на несколько минут. – И, решительно подступив к Мейсону, Джефсон прибавил: – Я сумею добиться извинения и без помощи суда.

Мейсон сжал кулаки, готовясь отразить нападение. Блюстители порядка в зале суда, стенографисты, газетчики и даже клерк поспешно окружили обоих юристов и схватили их за руки, пока судья Оберуолцер неистово стучал по столу своим молотком.

– Джентльмены! Джентльмены! Вы оба проявляете неуважение к суду! Немедленно извинитесь перед судом и друг перед другом, иначе я объявлю процесс недействительным, подвергну вас десятидневному аресту и оштрафую на пятьсот долларов каждого.

Говоря это, судья со своего возвышения сурово поглядел на обоих. И тотчас Джефсон ответил самым учтивым и вкрадчивым тоном:

– Если так, ваша честь, я приношу свои извинения вам, господину прокурору и господам присяжным. Нападки прокурора на обвиняемого показались мне слишком несправедливыми и неуместными, вот и все.

– Не следует обращать на это внимание, – заметил Оберуолцер.

– Если так, ваша честь, я приношу свои извинения вам и господину защитнику. Может быть, я немного погорячился. Да и подсудимому тоже, – насмешливо прибавил Мейсон, взглянув сначала в гневные и непреклонные глаза судьи Оберуолцера, а затем в глаза Клайда, который сразу вздрогнул и отвернулся.

– Продолжайте, – сердито проворчал Оберуолцер.

– Итак, Клайд, – вновь начал Джефсон так спокойно, словно вызвать всю эту бурю значило для него не больше, чем чиркнуть спичкой, – вы сказали, что ваше жалованье составляло двадцать пять долларов в неделю и что у вас были всевозможные расходы. И вы не сумели к тому времени отложить немного на черный день?

– Нет, сэр… очень немного… почти что ничего.

– Так. Ну, а если бы врач, к которому обратилась мисс Олден, согласился помочь ей за вознаграждение, скажем, в сто долларов, – вы могли бы заплатить столько?

– Нет, сэр… то есть не сразу.

– Вам неизвестно, были ли у нее какие-нибудь свои деньги?

– Насколько я знаю, не было, сэр.

– Тогда как же вы рассчитывали ей помочь?

– Видите ли, я думал, что если она или я найдем доктора и он согласится ждать, я, может быть, сумею, откладывая понемногу, расплатиться с ним в рассрочку.

– Понятно. И вы искренне хотели так сделать?

– Да, сэр, конечно.

– И вы говорили ей об этом?

– Да, сэр. Она это знала.

– Но ни вам, ни ей не удалось найти врача, который помог бы ей, – а что дальше? Что вы тогда сделали?

– Тогда она захотела, чтобы я на ней женился.

– Немедленно?

– Да, сэр, немедленно.

– Что же вы на это ответили?

– Я сказал ей, что никак не могу сразу жениться. У меня не было для этого денег. И, кроме того, если бы мы поженились и никуда не уехали, по крайней мере, до тех пор, пока не родится ребенок, все вышло бы наружу и я потерял бы место. Да и она тоже.

– Почему же?

– А мои родственники? Мне кажется, они не захотели бы оставить меня на фабрике, да и ее тоже.

– Понятно. Они сочли бы, что вы оба не годитесь для этой работы.

– Во всяком случае, так я думал, – ответил Клайд.

– А дальше что?

– Видите ли, сэр, если бы я и хотел уехать с нею и обвенчаться, у меня не было для этого денег и у нее тоже. Мне пришлось бы сперва отказаться от своего места и подыскать где-нибудь другое, а уж потом она могла бы приехать ко мне. Кроме того, я знал, что нигде не смогу зарабатывать столько, сколько здесь.

– А служба в отеле? Вы не могли вернуться к этому делу?

– Да, пожалуй… если бы у меня были какие-нибудь рекомендации. Но я не хотел к этому возвращаться.

– Почему же?

– Мне не хотелось больше этим заниматься… не нравился такой образ жизни.

– Но не хотите же вы сказать, что вы вообще не желали ничего делать? Разве таковы были ваши намерения?

– Нет, сэр! Вовсе, нет. Я ей сразу сказал, что если она уедет на время

– до рождения ребенка – и даст мне возможность остаться в Ликурге, то я постараюсь жить скромнее и буду посылать ей все, что сумею сэкономить, пока она не сможет опять зарабатывать сама.

– Но вы не думали с нею обвенчаться?

– Нет, сэр, тогда я просто не в силах был венчаться.

– Что она вам на это сказала?

– Она не согласилась. Она сказала, что не может и не хочет оставаться в таком положении и что я должен с нею обвенчаться.

– Понятно. Тут же, сразу?

– Ну, да… во всяком случае, поскорее. Обождать немного она соглашалась, но уехать – ни за что, если только я не женюсь на ней.

– Вы ей сказали, что больше не любите ее?

– Да, почти… да, сэр.

– Что значит «почти»?

– Я сказал, что… что не хочу жениться. И потом, она знала, что я уже не люблю ее. Она сама это говорила.

– Она вам говорила? В то время?

– Да, сэр, сколько раз.

– Что ж, верно. Это было и во всех ее письмах, которые нам здесь читали. Но что вы сделали, когда она так решительно отказалась уехать?

– Я не знал, что делать… Но я думал, может быть, я уговорю ее поехать на время домой, а сам постараюсь скопить денег и… может быть… когда она будет дома… и поймет, что я очень не хочу на ней жениться… (Клайд запнулся и умолк. Тяжело было так лгать).

– Так, продолжайте. И помните: правда, как бы вы ее ни стыдились, всегда лучше лжи.

– Я думал, может быть, когда она еще больше испугается и станет не такой несговорчивой…

– А сами вы не боялись?

– Да, сэр, боялся.

– Ладно, продолжайте.

– Так вот… я думал… может быть, если я предложу ей все деньги, сколько сумею до тех пор собрать… понимаете ли, я хотел попробовать еще и занять у кого-нибудь… тогда, может быть, она согласится уехать и не заставит меня венчаться с ней… просто поселится где-нибудь в другом городе, а я буду ей помогать.

– Понятно. Но она не согласилась на это?

– Нет… То есть на то, чтобы не венчаться… Но она согласилась поехать на месяц домой. Я только не мог ее уговорить, чтобы она от меня отказалась.

– Вы говорили ей тогда или когда-нибудь прежде или после, что приедете и обвенчаетесь с нею?

– Нет, сэр. Никогда не говорил.

– А что же именно вы ей сказали?

– Сказал, что… как только достану денег… – от волнения и стыда Клайд начал заикаться, – …примерно через месяц я приеду за ней, и мы уедем куда-нибудь на время, пока… пока… ну, пока все это не кончится.

– Но вы не сказали, что женитесь?

– Нет, сэр. Не говорил.

– А она, конечно, этого хотела?

– Да, сэр.

– Вы не считали тогда, что она может вас заставить? То есть, что вам против воли придется на ней жениться?

– Нет, сэр, я этого не думал. Я бы старался всеми силами, чтобы так не случилось. У меня был план: я хотел ждать возможно дольше и собрать как можно больше денег, а потом отказаться от брака, отдать ей все деньги и в дальнейшем помогать ей всем, чем смогу.

– Но вам известно, – тут Джефсон заговорил весьма мягко и дипломатично,

– что вот в этих письмах, которые писала вам мисс Олден (он дотянулся до стола прокурора, взял пачку подлинных писем Роберты и торжественно взвесил их на ладони), имеются различные упоминания о некоем *решении*, которое было у вас обоих связано с этой поездкой, – по крайней мере, она, очевидно, так считала. Так вот, что же это было за решение? Если я правильно припоминаю, она определенно пишет: «у нас все решено».

– Да, я знаю, – ответил Клайд: ведь целых два месяца они с Белнепом и Джефсоном обсуждали этот вопрос. – Но единственное решение, о котором мне известно (он изо всех сил старался казаться искренним и говорить убедительно), – это решение, которое я предлагал ей снова и снова.

– Какое же именно?

– Так вот, чтобы она уехала, сняла где-нибудь комнату и предоставила мне помогать ей, а время от времени я бы ее навещал.

– Ну нет, вы что-то не то говорите, – не без умысла возразил Джефсон. – Не может быть, чтобы она это имела в виду. В одном из писем она говорит, что понимает, как вам трудно будет уехать и оставаться с нею так долго, – пока она не оправится, – но что тут ничем нельзя помочь.

– Да, я знаю, – ответил Клайд быстро и в точности как ему было велено.

– Но это был ее план, а не мой. Она все время повторяла, что хочет этого и что так мне и придется сделать. Несколько раз она говорила об этом по телефону, и я, может быть, отвечал: «Ладно, ладно», – но вовсе не в том смысле, что вполне согласен с нею, а просто что мы еще поговорим об этом после.

– Понятно. Стало быть, вы думаете, что она имела в виду одно, а вы другое?

– Я знаю только, что в этом я никогда с нею не соглашался. То есть я все время просил ее подождать еще и ничего не предпринимать, пока я не соберу достаточно денег; я рассчитывал приехать и обсудить все с нею еще раз и уговорить ее, чтобы она уехала, – так, как я предлагал.

– Ну, а если бы она не согласилась, тогда что?

– Тогда я думал рассказать ей про мисс X и просить, чтобы она меня отпустила.

– А если бы она все-таки настаивала?

– Ну, тогда я, пожалуй, убежал бы… но мне даже не хотелось об этом думать.

– Вам, конечно, известно, Клайд, что кое-кто из присутствующих полагает, будто примерно в это время в вашем сознании зародился преступный план: укрыться под чужим именем, завлечь мисс Олден на одно из уединенных озер в Адирондакских горах и хладнокровно убить или утопить, для того чтобы свободно, без помехи жениться на мисс X. Так вот, правда ли это? Скажите присяжным – да или нет?

– Нет! Нет! Никогда я не думал убивать ни ее, ни кого другого, – поистине трагически запротестовал Клайд, сжимая ручки кресла и стараясь, как его учили, чтобы эти слова прозвучали возможно взволнованнее и выразительнее.

Он привстал и всячески пытался казаться твердо уверенным в себе и внушить доверие, хотя в эту минуту все в нем было полно вопиющим сознанием, что именно таков и был его замысел… и это сознание, ужасное, мучительное, отнимало у него силы. Взгляды всего зала были прикованы к нему. Взгляды судьи, и присяжных, и Мейсона, и всех репортеров. И снова на лбу его

выступил холодный пот. Он лихорадочно провел кончиком языка по запекшимся тонким губам и с усилием глотнул, потому что в горле у него пересохло.

И вот шаг за шагом, начиная с первых писем Роберты после ее приезда к родным и кончая письмом, в котором она требовала, чтобы Клайд приехал за нею, угрожая в противном случае вернуться в Ликург и изобличить его, Джефсон разобрал все стадии «предполагаемого» злоумышления и преступления, всячески стараясь преуменьшить и окончательно опровергнуть все, что свидетельствовало против Клайда.

Считают подозрительным, что Клайд не писал Роберте. Но ведь он боялся осложнений из-за родственников, из-за своей работы, из-за всего на свете. То же относится и к встрече в Фонде, о которой он условился с Робертой. В то время у него не было никакого плана поездки в какое-либо определенное место. Была только смутная мысль встретиться с нею где-нибудь – где придется – и по возможности убедить ее расстаться с ним. Но наступил июль, а его планы были все еще очень неопределенны, и тут ему пришло на ум, что они могут съездить куда-нибудь за город, в недорогую дачную местность. И в Утике сама Роберта предложила поехать на какое-нибудь из северных озер. Там, в гостинице, а вовсе не на вокзале, он достал несколько карт и путеводителей (в известном смысле роковое утверждение, потому что у Мейсона был один из этих путеводителей с штампом отеля «Ликург» на обложке

– штампом, которого Клайд в свое время не заметил, и Мейсон подумал об этом, слушая его показания). Клайд уехал из Ликурга потихоньку, с далекой окраины, – что же, несомненно, он хотел сохранить в тайне свою поездку с Робертой, но только для того, чтобы уберечь ее и себя от всяких толков. Именно этим объясняется езда в разных вагонах, запись в качестве «мистера и миссис Голден» и прочее – целая серия уловок и уверток, для того чтобы остаться незамеченными. Что касается двух шляп, просто старая загрязнилась, и, увидев подходящую, он купил еще одну. А потом, потеряв шляпу во время катастрофы, он, естественно, надел вторую. Разумеется, у него был при себе фотографический аппарат, и верно, что он брал его с собою к Крэнстонам, когда гостил у них в первый раз восемнадцатого июня. И он вначале отпирался от этой своей собственности по одной-единственной причине: из страха, что его отношение к чисто случайной смерти Роберты поймут ложно и ему трудно будет оправдаться. Его ошибочно обвинили в убийстве с первой же минуты ареста в лесу, – а он и без того был перепуган всем случившимся во время этой злополучной поездки и не имел защитника и никого, кто замолвил бы за него хоть слово; он вообразил, что самое лучшее вообще ничего не говорить, и поэтому тогда попросту все отрицал. Но, когда ему дали защитников, он тотчас поведал им подлинную историю случившегося.

То же и с пропавшим костюмом: так как он был промокший и грязный, Клайд еще в лесу свернул его в узелок и, добравшись до Крэнстонов, засунул куда-то среди камней, рассчитывая позже достать его и отдать в чистку. Познакомившись с мистерами Белнепом и Джефсоном, он сразу сказал им об этом; костюм достали, вычистили и вернули ему.

– А теперь, Клайд, расскажите нам о своих планах и об этой поездке на озеро.

И тут – в точности, как в свое время Джефсон излагал это Белнепу, – последовал рассказ о том, как Клайд и Роберта приехали в Утику и потом на Луговое озеро. Никакого плана действий не было. На худой конец Клайд собирался рассказать Роберте о своей безграничной любви К мисс Х и, взывая к ее разуму и сердцу, просить, чтобы она его отпустила; при этом он предложил бы всеми силами помогать ей и поддерживать ее. Если бы она отказалась, он пошел бы на полный разрыв; в случае необходимости он готов был бросить все и уехать из Ликурга.

– Но когда в Фонде и потом в Утике я увидел, что она такая усталая и измученная (Клайд очень старался, чтобы слова, тщательно подобранные другими, прозвучали искренне)… какая-то очень беспомощная, мне опять стало ее жалко.

– И дальше что?

– Ну вот… я был уже не так уверен, что в самом деле смогу бросить ее, если она откажется меня отпустить.

– И что же вы решили?

– Тогда еще ничего не решил. Я ее выслушал, что она говорила, и постарался объяснить ей, что мне будет очень трудно сделать для нее много, даже если я уеду с ней. У меня было только пятьдесят долларов.

– Так.

– А она стала плакать, и я решил, что сейчас больше нельзя говорить с ней об этом. Она слишком нервничала и была совсем измученная и усталая. И я спросил, не хочется ли ей съездить куда-нибудь на день-два, чтобы немножко отдохнуть, – продолжал Клайд. (И тут от сознания, что все это чудовищная ложь, его передернуло, и он судорожно глотнул – предательская слабость, которую он проявлял всякий раз, когда пытался сделать что-нибудь непосильное, все равно – выполнить ли чересчур

сложное физическое упражнение, или сказать неправду.) – Она сказала, что да, хорошо бы поехать на какое-нибудь из Адирондакских озер, все равно на какое, если только у нас хватит денег. А когда я сказал, главным образом из-за ее плохого самочувствия, что, по-моему, поехать можно…

– Так вы, в сущности, поехали туда только ради нее?

– Да, сэр, только ради нее.

– Понятно. Продолжайте.

– …тогда она сказала, чтобы я тут же в гостинице или еще где-нибудь поискал путеводители, и мы выберем место, где можно прожить день-другой без больших расходов.

– И вы пошли за путеводителями?

– Да, сэр.

– Что дальше?

– Мы их просмотрели и под конец выбрали Луговое озеро.

– Кто именно выбрал? Вы оба или она?

– Просто она взяла один путеводитель, а я другой, и она в своем нашла рекламу гостиницы, где плата за двоих двадцать один доллар в неделю или пять долларов в день. И я подумал, что, наверно, наш отдых нигде не обойдется дешевле.

– Вы собирались провести там только один день?

– Нет, сэр, если бы она захотела, мы бы остались дольше. Сперва я думал, что, может быть, мы там побудем дня два или три. Я не знал, сколько времени понадобится на то, чтобы все с ней обсудить и растолковать ей, как у меня обстоят дела.

– Понятно. А потом?

– Потом на другое утро мы поехали на Луговое озеро.

– Опять в разных вагонах?

– Да, сэр, в разных вагонах.

– Приехали в гостиницу и…

– Ну, и записались там…

– Как?

– Карл Грэхем с женой.

– Все еще боялись, как бы вас не узнали?

– Да, сэр.

– И вы пытались как-то изменить свой почерк?

– Да, сэр… немножко.

– Но почему же вы всегда оставляли свои настоящие инициалы К.Г.?

– Видите ли, я думал, что надо записаться под вымышленным именем, но так, чтобы инициалы не расходились с меткой на моем чемодане.

– Понятно. Умно в одном отношении, но не слишком умно в другом… ровным счетом наполовину умно, а это хуже всего.

Услышав это, Мейсон привстал, словно собираясь заявить протест, но, видимо, раздумал и опять медленно опустился в кресло. И снова Джефсон исподтишка метнул быстрый, испытующий взгляд вправо, на присяжных.

– Так что же в конце концов, сказали вы ей все, как собирались, чтобы покончить с этим делом, или не сказали?

– Я хотел поговорить с нею, как только мы туда приедем или, уж во всяком случае, на другое утро. Но не успели мы приехать и устроиться, как она стала говорить, чтобы я поскорее женился на ней… что она не собирается долго жить со мною, но так больна и измучена и так плохо себя чувствует, что хочет только одного: чтобы все это кончилось и чтобы у ребенка было имя, а потом она уедет, и я буду свободен.

– А потом что было?

– Потом… потом мы пошли на озеро…

– На какое озеро, Клайд?

– Ну, на Луговое. Мы решили покататься на лодке.

– Сразу? Днем?

– Да, сэр. Ей так захотелось. И пока мы катались… (Он умолк.)

– Что же, продолжайте.

– Она опять стала плакать, и я видел, что она совсем больна и измучена и никак не может примириться с судьбой… и я решил, что в конце концов она права и я плохо поступаю… и нехорошо будет, если я не женюсь на ней

– из-за ребенка и все такое, понимаете… тут я подумал, что надо бы жениться.

– Понимаю. Такой душевный переворот. И вы тут же сказали ей об этом?

– Нет, сэр.

– Почему же? Разве вам не казалось, что вы причинили ей уже достаточно горя?

– Конечно, сэр. Но, понимаете ли, я совсем уже собрался сказать ей – и вдруг опять стал думать обо всем, о чем думал до приезда туда.

– О чем, например?

– Ну, вот, о мисс X, и о своей жизни в Ликурге, и о том, что нас ждет, если мы поженимся и уедем.

– Так.

– И вот… я… я просто не мог сказать ей тогда… во всяком случае, в тот день не мог…

– Так что же вы ей тогда сказали?

– Ну, чтобы она больше не плакала… Что хорошо бы, если бы она дала мне еще день подумать – и, может быть, мы сумеем как-нибудь все уладить…

– А потом?

– Потом, немного погодя, она сказала, что на Луговом озере ей не нравится. Ей хотелось уехать оттуда.

– *Ей* хотелось?

– Да. Мы опять взяли путеводители, и я спросил одного малого в гостинице, какие тут есть озера. Он сказал, что самое красивое озеро поблизости – Большая Выпь. Я там как-то был и сказал об этом Роберте и передал ей слова того парня, а она сказала, что хорошо бы туда съездить.

– И поэтому вы туда поехали?

– Да, сэр.

– Никакой другой причины не было?

– Нет, сэр, никакой… Пожалуй, еще только одно: что это к югу от Лугового озера и нам все равно надо было возвращаться этой дорогой.

– Понятно. И это было в четверг, восьмого июля?

– Да, сэр.

– Так вот, Клайд, вы слышали: вас тут обвиняют в том, что вы завезли мисс Олден на озеро Большой Выпи с единственным, заранее обдуманным намерением избавиться от нее, убить ее – найти какой-нибудь незаметный со стороны укромный уголок и там ударить ее либо фотографическим аппаратом, либо, может быть, веслом, палкой или камнем и затем утопить. Итак, что вы на это скажете? Верно это или нет?

– Нет, сэр! Это неправда! – отчетливо и с чувством возразил Клайд. – Прежде всего я поехал туда вовсе не по своей охоте, а только потому, что ей не понравилось на Луговом озере.

(До сих пор он понуро сидел в своем кресле, но теперь выпрямился и – как ему заранее велели – посмотрел на присяжных и на публику так открыто и уверенно, как только мог.)

– Я изо всех сил старался сделать ей что-нибудь приятное. Мне очень хотелось развлечь ее хоть немного.

– В этот день вы все еще жалели ее так же, как накануне?

– Да, сэр… наверно, даже больше.

– И к этому времени вы уже окончательно решили, как вам быть дальше?

– Да, сэр.

– Что же именно вы решили?

– Знаете, я решил действовать по-честному. Я думал об этом целую ночь и понял, как ей будет плохо, да и мне тоже, если я поступлю с ней не так, как надо… ведь она несколько раз говорила, что тогда она покончит с собой. И наутро я решил так: будь что будет, сегодня я все улажу.

– Это было на Луговом озере. В четверг утром вы еще были в гостинице?

– Да, сэр.

– Что же именно вы собирались сказать мисс Олден?

– Ну, что я знаю, как нехорошо я с ней поступил, и мне очень жаль… и потом, что ее предложение справедливое, и если после всего, в чем я хочу ей признаться, она все-таки захочет выйти за меня замуж, то я уеду с нею, и мы обвенчаемся. Но что сперва я должен рассказать правду, почему я стал к ней иначе относиться: что я любил и до сих пор люблю другую девушку и ничего не могу с этим поделать… и, видно, женюсь я на ней или нет…

– Вы хотите сказать, на мисс Олден?

– Да, сэр… что я всегда буду любить ту, другую девушку, потому что не могу не думать о ней. Но если Роберте это безразлично, я на ней все-таки женюсь, хотя и не могу любить ее по-прежнему. Вот и все.

– А как же мисс Х?

– Я и о ней думал, конечно, но ведь она обеспечена, и мне казалось, что ей легче это перенести. А кроме того, я думал, что, может быть, Роберта меня отпустит, и тогда мы просто останемся друзьями, и я буду ей помогать всем, чем смогу.

– И вы решили, где именно будете венчаться?

– Нет, сэр. Но я знал, что за Большой Выпью и Луговым озером сколько угодно городов.

– И вы собирались сделать это, ни словом не предупредив мисс Х?

– Н-нет, сэр, не совсем так… Я надеялся, что если Роберта не отпустит меня совсем, то она позволит мне уехать на несколько дней, так что я съездил бы к мисс Х, сказал бы ей все и потом вернулся. А если бы Роберта не согласилась – ну что ж, тогда я написал бы мисс Х письмо и объяснил, как все вышло, а потом бы мы с Робертой обвенчались.

– Понятно. Но, Клайд, среди других вещественных доказательств здесь было предъявлено письмо, найденное в кармане пальто мисс Олден, – то, что написано на бумаге со штампом гостиницы на Луговом озере и адресовано матери, – и в нем мисс Олден пишет, что собирается выйти замуж. Разве вы уже твердо сказали ей в то утро на Луговом озере, что хотите с нею обвенчаться?

– Нет, сэр. Не совсем так. Но я с самого утра сказал ей, что это для нас решающий день и что она сама должна будет решить, хочет ли она обвенчаться со мной.

– А, понимаю! Значит, вот что! – улыбнулся Джефсон, словно испытывая огромное облегчение. (При этом Мейсон, Ньюком, Бэрлей и сенатор Редмонд, слушавшие с глубочайшим вниманием, тихонько и чуть ли не в один голос воскликнули: «Что за вздор!»)

– Ну, вот мы и дошли до самой поездки. Вы слышали, что здесь говорили свидетели и какие черные побуждения и замыслы приписывались вам на каждом шагу. Теперь я хочу, чтобы вы сами рассказали обо всем, что произошло. Здесь указывали, что, отправляясь на озеро Большой Выпи, вы взяли с собой оба чемодана – и свой и ее, но, приехав на станцию Ружейную, ее чемодан оставили там, а свой захватили в лодку. По какой причине вы так сделали? Пожалуйста, говорите громче, чтобы все господа присяжные могли вас слышать.

– Видите ли, почему так вышло, – и снова у Клайда пересохло в горле, он едва мог говорить, – мы не знали, можно ли будет на Большой Выпи позавтракать, и решили захватить с собой кое-какую еду с Лугового. Ее чемодан был битком набит, а в моем нашлось место. И, кроме того, в нем лежал фотографический аппарат, а снаружи был привязан штатив. Вот я и решил ее чемодан оставить, а свой взять.

– *Вы* решили?

– То есть я спросил ее, и она сказала, что, по ее мнению, так будет удобнее.

– Где же вы ее об этом спросили?

– В поезде, по дороге к Ружейной.

– Стало быть, вы знали, что с озера вернетесь на Ружейную?

– Да, сэр, знал. Мы должны были вернуться. Другой дороги нет, так нам сказали на Луговом озере.

– А по дороге на озеро Большой Выпи, помните, шофер, который вез вас туда, показал, что вы «порядком нервничали» и спросили его, много ли там в этот день народу?

– Да, сэр, помню, но я вовсе не нервничал. Может, я и спрашивал насчет того, много ли народу, но, мне кажется, тут нет ничего плохого. По-моему, это всякий мог спросить.

– По-моему, тоже, – отозвался Джефсон. – Теперь скажите, что произошло после того, как вы записались в гостинице Большой Выпи, взяли лодку и поехали с мисс Олден кататься по озеру? Были вы или она чем-нибудь особенно озабочены и взволнованы или вообще чем-то не похожи на людей, которые просто собрались покататься на лодке? Может быть, вы были необыкновенно веселы, или необыкновенно мрачны, или еще что-нибудь?

– Ну, не скажу, чтобы я был необыкновенно мрачен, нет, сэр. Конечно, я думал обо всем, что хотел сказать ей, и о том, что меня ждет в зависимости от ее решения. Пожалуй, я не был особенно весел, но я думал, что теперь в любом случае все будет хорошо. Я был вполне готов на ней жениться.

– А она? Она была в хорошем настроении?

– В общем, да, сэр. Она почему-то была гораздо веселее и спокойнее, чем раньше.

– О чем же вы с ней говорили?

– Ну, сначала об озере – какое оно красивое и в каком месте мы станем завтракать, когда проголодаемся. Потом мы плыли вдоль западного берега и искали водяные лилии. У нее, видно, было так хорошо на душе, что я и думать не мог в это время начать такой разговор, поэтому мы просто катались, а часа в два вышли на берег и позавтракали.

– В каком именно месте? Подойдите к карте и покажите указкой, как именно вы плыли и где приставали к берегу, надолго ли и для чего?

И Клайд, с указкой в руке, стоя перед большой картой озера и его окрестностей, наиболее связанных с трагедией, подробно очертил тот долгий путь вдоль берега: живописную группу деревьев, к которой они направились после завтрака, прелестный уголок, где они замешкались, собирая росшие там во множестве водяные лилии, – каждое место, где они останавливались, пока часам к пяти не добрались до Лунной бухты, красота которой сразу так поразила их, сказал он, что они долго любовались ею, неподвижно сидя в лодке. Потом они высадились тут же на лесистом берегу, и Клайд сделал несколько снимков. И все время он готовился рассказать Роберте о мисс X и попросить ее принять окончательное решение. Потом, оставив чемодан на берегу, они снова отчалили, всего на две-три минуты, чтобы сделать несколько снимков с лодки. Вокруг была такая красота и безмятежность, лодка тихо скользила по глади вод, и тут, наконец, Клайд набрался храбрости, чтобы сказать ей все, что было у него на сердце. Сначала, рассказывал он, Роберта, видимо, страшно испугалась, и огорчилась, и стала тихонько плакать, и говорила, что лучше бы ей умереть, – так она несчастна. Но после, когда он убедил ее, что в самом деле чувствует себя виноватым и от души готов искупить свою вину, она вдруг преобразилась, повеселела и потом неожиданно, должно быть, в порыве нежности и благодарности, вскочила и попыталась подойти к нему. Она протянула руки и словно хотела упасть к его ногам или кинуться ему на шею. Но тут она зацепилась за что-то ногой или платьем и споткнулась. А он, с аппаратом в руке (в последнюю минуту Джефсон решил включить это в качестве еще одной меры предосторожности), невольно тоже поднялся, чтобы подхватить ее и не дать ей упасть. Быть может, – он не вполне уверен в этом, – лицом или рукой она ударилась об аппарат. Во всяком случае, не успел он, да и она, сообразить, что произошло и что надо делать, как оба очутились в воде; перевернувшаяся лодка, по-видимому, ушибла Роберту, так как она казалась оглушенной.

– Я крикнул ей, чтобы она постаралась добраться до лодки и ухватилась за нее, но лодку относило прочь, а Роберта как будто не слышала меня или не поняла. Я сперва боялся подплыть к ней поближе, – она так страшно билась и размахивала руками, – потом поплыл. Я сделал, может быть, взмахов десять, не больше, и тут ее голова ушла под воду, вынырнула и опять скрылась. За это время лодку отнесло футов на тридцать или сорок, и я увидел, что не сумею дотащить до нее Роберту. И тогда я решил, что надо плыть к берегу, иначе мне и самому не спастись.

Когда он выбрался на берег, рассказывал далее Клайд, ему вдруг пришло в голову, в каком странном и подозрительном положении он оказался. Он внезапно понял, сказал он, как неудачно сложились обстоятельства и как скверно выглядела вся эта поездка с самого начала. Он записывался в гостиницах под фальшивыми именами. Свой чемодан взял, а ее – нет. И, кроме того, если вернуться теперь, значит, придется все объяснить… станет широко известна его связь с Робертой, и вся его жизнь пойдет прахом: он потеряет мисс X, работу на фабрике, положение в обществе – все! Если же он промолчит (он клялся, что только тут впервые пришла ему на ум эта мысль), может возникнуть предположение, что он тоже утонул. Вот почему, понимая, что никакими силами он уже не вернет Роберту к жизни и что огласка будет означать только серьезные неприятности для него и

покроет позором ее память, он решил молчать. И тогда, чтобы уничтожить все следы, он снял мокрую одежду, выжал ее, свернул и тщательно упаковал в чемодан. Потом решил спрятать штатив, оставшийся на берегу вместе с чемоданом, что и сделал. Его старая соломенная шляпа – та, которая оказалась без подкладки (но как это случилось, он не знает, заявил он), – потерялась во время катастрофы с лодкой, и поэтому он надел запасную, хотя у него была с собою еще и кепка, он мог бы надеть ее. (Такая у него привычка – брать с собою в дорогу лишнюю шляпу: ведь со шляпами вечно что-нибудь случается.) Потом он решил пойти через лес к югу, к железной дороге, которая, по его расчетам, проходила в том направлении. Он тогда не знал, что там есть и автомобильное шоссе. А что он отправился прямо к Крэнстонам, так это вполне естественно, Просто признался Клайд: они были его друзьями, и ему очень хотелось добраться до такого места, где он мог бы как следует подумать обо всем этом ужасе, который внезапно обрушился на него как снег на голову.

Когда Клайд в своих показаниях дошел до этой минуты и ни ему, ни Джефсону, казалось, больше нечего было сказать, защитник, помолчав, вдруг произнес очень отчетливо и как-то особенно спокойно:

– Помните, Клайд: перед лицом господ присяжных, судьи и всех присутствующих в этом зале и превыше всего – перед господом богом вы торжественно поклялись говорить правду, всю правду и ничего, кроме правды. Вы понимаете, что это значит, не так ли?

– Да, сэр, понимаю.

– Поклянетесь ли вы перед богом, что не ударили Роберту Олден, пока находились с нею в лодке?

– Клянусь. Я не ударил ее.

– И не бросили ее за борт?

– Клянусь. Я этого не делал.

– И не пытались так или иначе умышленно, злонамеренно перевернуть лодку или каким-либо иным способом добиться смерти мисс Олден?

– Клянусь, что нет! – горячо и взволнованно воскликнул Клайд.

– И вы можете поклясться, что это был несчастный случай, что он произошел без вашего умысла и намерения?

– Да, могу, – солгал Клайд; он чувствовал, что, борясь за свою жизнь, отчасти говорит правду; ведь и в самом деле все это случилось нечаянно и непреднамеренно, совсем не так, как он задумал. В этом он мог поклясться.

И тогда Джефсон, проведя большой сильной рукой по лицу, вежливо и бесстрастно оглядел суд и присяжных, многозначительно сжал тонкие губы и объявил:

– Обвинение может приступить к допросу свидетеля.

Глава 25

Все время, пока Клайда допрашивал защитник, Мейсон чувствовал себя, как неугомонная гончая, рвущаяся в погоню за зайцем, как борзая, которая вот сейчас, последним прыжком настигнет свою добычу. Его так и подмывало, ему не терпелось разбить вдребезги эти показания, доказать, что все это с начала до конца просто сплетение лжи, как оно отчасти и было на самом деле. И не успел Джефсон кончить, как он уже вскочил и остановился перед Клайдом; а тот, видя, что прокурор горит желанием уничтожить его, почувствовал себя так, словно его сейчас изобьют.

– Грифитс, у вас был в руках фотографический аппарат, когда она встала в лодке и направилась к вам?

– Да, сэр.

– Она споткнулась и упала, и вы нечаянно ударили ее аппаратом?

– Да.

– Я полагаю, при вашей правдивости и честности вы, конечно, помните, как в лесу на берегу Большой Выпи говорили мне, что у вас не было никакого аппарата?

– Да, сэр, я это помню…

– Конечно, это была ложь?

– Да, сэр.

– И вы говорили тогда с таким же пылом и убеждением, как теперь – другую ложь?

– Я не лгу. Я объяснил здесь, почему я это сказал.

– Вы объяснили, почему вы это сказали! Вы объяснили, почему! Вы солгали тогда и рассчитываете, что вам поверят теперь, – так, что ли?

Белнеп поднялся, готовый запротестовать, но Джефсон усадил его на место.

– Все равно я говорю правду.

– И, уж конечно, ничто на свете не могло бы заставить вас солгать здесь снова – даже и желание избежать электрического стула?

Клайд побледнел и слегка вздрогнул, покрасневшие от усталости веки его затрепетали.

– Ну, может быть, я и мог бы солгать, но, думаю, не под присягой.

– Вы думаете! А, понятно! Можно соврать все, что угодно и где угодно, в любое время и при любых обстоятельствах, но только не тогда, когда тебя судят за убийство!

– Нет, сэр. Совсем не так. И я сейчас сказал правду.

– И вы клянетесь на Библии, что пережили душевный перелом, так?

– Да, сэр.

– Что мисс Олден была очень печальна и поэтому в вашей душе произошел этот перелом?

– Да, сэр. Так оно и было.

– Вот что, Грифитс: когда она жила на отцовской ферме и ждала вас, она писала вам вот эти письма, так?

– Да, сэр.

– В среднем вы получали через день по письму, так?

– Да, сэр.

– И вы знали, что она там одинока и несчастна, так?

– Да, сэр… но я у же «объяснил…

– Ах, вы объяснили! Вы хотите сказать, что за вас это объяснили ваши адвокаты! Может быть, они не натаскивали вас в тюрьме изо дня в день? Не обучали, как вы должны отвечать, когда придет время?

– Нет, сэр, не обучали! – с вызовом ответил Клайд, поймав в эту минуту взгляд Джефсона.

– Так почему же, когда я спросил вас на Медвежьем озере, каким образом погибла Роберта Олден, вы сразу не сказали мне правду и не избавили всех нас от этих неприятностей, подозрений и расследований? Вам не кажется, что тогда люди выслушали бы вас доброжелательнее и скорее поверили бы вам, чем теперь, после того как вы целых пять месяцев обдумывали каждое слово с помощью двух адвокатов?

– Я ничего не обдумывал с помощью адвокатов, – упорствовал Клайд, продолжая глядеть на Джефсона, который старался поддержать его всей силой своей воли. – Я только что объяснил, почему я так поступал.

– Вы объяснили! Вы объяснили! – заорал Мейсон. Его выводило из себя сознание, что эти фальшивые объяснения для Клайда – надежный щит, ограда, за которой он всегда может укрыться, стоит только его прижать покрепче… Гаденыш! И, весь дрожа от еле сдерживаемой ярости, Мейсон продолжал: – Ну, а до вашей поездки, пока она писала вам эти письма, вы тоже думали, что они печальные, или нет?

– Конечно, сэр. То есть… – Клайд неосторожно запнулся. – Некоторые места, во всяком случае.

– Ах, вот что! Уже только некоторые места. Мне кажется, вы только сейчас сказали, что считаете ее письма печальными.

– Да, я так считаю.

– И прежде так считали?

– Да, сэр, считал.

И Клайд беспокойно посмотрел в сторону Джефсона, чей неотступный взгляд пронизывал его, словно луч прожектора.

– Вы помните, что она вам писала… – Мейсон взял одно из писем, развернул и стал читать: «Клайд, милый, я, наверно, умру, если ты не приедешь. Я так одинока. Я прямо с ума схожу. Мне так хотелось бы уехать, и никогда не возвращаться, и больше не надоедать тебе. Но если бы ты только звонил мне по телефону, хотя бы через день, раз не хочешь писать! А мне ты так нужен, так нужно услышать ободряющее слово!» – Голос Мейсона звучал мягко и грустно. Он говорил, и чуть ли не осязаемые волны сострадания охватывали не только его, но всех и каждого в высоком и узком зале суда. – Вам эти строки кажутся хоть немного печальными?

– Да, сэр, кажутся.

– И тогда казались?

– Да, сэр, казались.

– Вы знали, что они искренни, да?

– Да, сэр. Знал.

– Почему же хоть капля той жалости, которая, по вашим словам, столь глубоко потрясла вас посреди озера Большой Выпи, не заставила вас у себя в Ликурге, в доме миссис Пейтон, снять телефонную трубку и успокоить одинокую девушку хотя бы одним словом о том, что вы приедете? Потому ли, что ваша жалость к ней была тогда не так велика, как позднее, когда она написала вам угрожающее письмо? Или потому, что вы замыслили преступление и опасались, как бы частые телефонные разговоры с нею не привлекли чьего-либо внимания? Как получилось, что вас внезапно охватила столь сильная жалость к ней на озере Большой Выпи, но вы вовсе не чувствовали жалости, пока находились в Ликурге? Или у вас чувства, как водопроводный кран: можно открыть, а можно и закрыть?

– Я никогда не говорил, что я совсем не жалел ее, – вызывающе ответил Клайд, перехватив взгляд Джефсона.

– Но вы заставили ее ждать до тех пор, пока в своем ужасе и отчаянии она не стала вам угрожать.

– Я ведь признал, что вел себя с ней нехорошо.

– Ха! Нехорошо! *Нехорошо*! И только потому, что вы это признали, вы рассчитываете – наперекор всем остальным показаниям, которые мы здесь слышали, включая и ваши собственные, – что выйдете отсюда свободным человеком? Так, что ли?

Белнепа дольше невозможно было сдерживать. Он заявил протест.

– Это позорно, ваша честь. Разве прокурору позволительно превращать каждый вопрос в обвинительную речь? – пылко, с горечью обратился он к судье.

– Я не слышал ни одного протеста, – отпарировал судья. – Попрошу прокурора надлежащим образом формулировать свои вопросы.

Мейсон преспокойно принял замечание и снова обернулся к Клайду:

– Как вы тут показывали, сидя в лодке посреди озера Большой Выпи, вы держали в руках тот самый фотографический аппарат, от которого когда-то отпирались?

– Да, сэр.

– А мисс Олден сидела на корме?

– Да, сэр.

– Давайте сюда лодку, Бэртон! – обратился Мейсон к Бэрлею.

По распоряжению Бэрлея, четверо его помощников тотчас вышли через дверь позади судейского возвышения и вскоре вернулись, неся лодку, ту самую, в которой катались Клайд и Роберта, и опустили ее на пол перед присяжными. Клайд, похолодев, остановившимся взглядом смотрел на нее. Та самая лодка! В растерянности он моргал глазами, его била дрожь; а публика волновалась и шумела, напряженно всматриваясь, – волна любопытства прошла по всему залу. И тут Мейсон, схватив аппарат и размахивая им, воскликнул:

– Вот, извольте, Грифитс! Вот аппарат, который будто бы никогда вам не принадлежал. Войдите-ка в лодку, возьмите этот аппарат и покажите присяжным, где именно сидели вы и где – мисс Олден. И покажите точно, если можете, как именно и куда вы ударили мисс Олден и где и как примерно она упала.

– Протестую! – заявил Белнеп.

Между юристами завязалась долгая и утомительная перебранка; в конечном счете судья разрешил, – по крайней мере на некоторое время, – продолжать допрос свидетеля таким способом. Под конец Клайд заявил:

– Во всяком случае, я ударил ее не намеренно.

На что Мейсон заметил:

– Да, мы уже слышали ваши показания на этот счет.

Потом Клайд сошел со своего места и, получив всевозможные наставления, наконец шагнул в лодку и уселся на среднюю скамью; трое мужчин держали лодку в равновесии.

– Теперь вот что… Ньюком! Подите сядьте в лодку на то место, где, по описанию Грифитса, сидела мисс Олден… и примите нужную позу, как он вам скажет.

– Слушаю, сэр, – ответил Ньюком, подошел к лодке и уселся на корме.

Клайд старался поймать взгляд Джефсона, но тщетно: ему пришлось теперь сидеть почти спиною к защитнику.

– А ну-ка, Грифитс, – продолжал Мейсон, – покажите мистеру Ньюкому, как мисс Олден встала и направилась к вам. Объясните, что он должен делать.

И Клайд, бесконечно неловкий от сознания, что он слаб, лжив и всем ненавистен, снова поднялся и нервными, угловатыми движениями (все это было слишком невероятно и жутко) пытался показать Ньюкому, как Роберта встала и неверными шагами, почти ползком направилась к нему, потом споткнулась и упала. После этого, с аппаратом в руке, он постарался вспомнить и возможно точнее показать, как он тогда невольно взмахнул рукой и ударил Роберту… он не знает, не уверен, куда именно пришелся удар, может быть, по подбородку или по щеке, но, конечно же, это вышло нечаянно и, как ему тогда показалось, вовсе не с такой силой, чтобы ее поранить. Тут Белнеп и Мейсон вступили в нескончаемые пререкания о том, насколько действительны такие показания, раз Клайд заявил, что не может ясно все припомнить. Но в конце концов Оберуолцер разрешил продолжать на том основании, что такого рода наглядное свидетельство приблизительно покажет, легкий ли толчок или сильный удар нужен для того, чтобы свалить человека, «слабо» или «нетвердо» держащегося на ногах.

– Но, ради всего святого, каким образом все эти штуки, разыгранные с мужчиной такого сложения, как мистер Ньюком, могут доказать, что произошло с девушкой роста и веса мисс Олден? – настаивал Белнеп.

– Ладно, поставим сюда девушку роста и веса мисс Олден!

Тотчас же была вызвана Зилла Саундерс и поставлена на место Ньюкома. Но Белнеп тем не менее настаивал:

– Ну и что же? Условия совсем другие. Эта лодка не на воде. И нет таких двух людей, которые одинаково воспринимали бы случайные удары или с равной силой им сопротивлялись.

– Так вы не считаете допустимым этот наглядный опыт? – обернувшись к нему, язвительно спросил Мейсон.

– О, пожалуйста, продолжайте, если вам угодно. Ведь всякому ясно, что ваши опыты ничего не доказывают, – многозначительно ответил Белнеп.

Итак, Клайд по указаниям Мейсона должен был толкнуть Зиллу «примерно так же сильно» (думалось ему), как он нечаянно толкнул Роберту. И она отшатнулась, но только слегка, и при этом ей удалось схватиться руками за борта лодки и, следовательно, спастись. Белнеп полагал, что его возражения сведут на нет мейсоновский опыт. Однако у присяжных создалось впечатление, что Клайд, движимый сознанием своей вины и страхом смерти, вероятно, постарался изобразить свои действия куда менее зловредными, чем они, без сомнения, были на самом деле. Ведь показали же врачи под присягой, какова могла быть сила этого удара, так же как и другого, по темени? И ведь Бэртон Бэрлей свидетельствовал, что он обнаружил на фотографическом аппарате волосы Роберты? А крик, слышанный той свидетельницей? Как это понять?

Но после этой сцены в суде объявлен был перерыв до следующего дня.

На другое утро, едва простучал молоток судьи, поднялся Мейсон, по обыкновению, бодрый, напористый и злой. А Клайд провел прескверную ночь в своей камере. Его усиленно накачивали и подбодряли Джефсон и Белнеп, после чего он решил держаться возможно хладнокровнее и тверже, с видом ни в чем не повинного человека, но ему не хватало настоящего мужества и энергии, чтобы справиться с подобной задачей, ибо он был убежден, что все здесь враги ему и глубоко уверены в его виновности. А Мейсон начал ожесточенно и неистово:

– Итак, Грифитс, вы все еще утверждаете, что пережили душевный переворот?

– Да, сэр, утверждаю.

– Вы когда-нибудь слышали об утопленниках, возвращенных к жизни?

– Я вас не совсем понимаю.

– Вы, конечно, знаете, что людей, погрузившихся в воду и больше не вынырнувших, – тех, кого считают утонувшими, – иногда удается воскресить? Им оказывают первую помощь: делают искусственное дыхание или перекатывают по бревну или бочке и таким образом возвращают к жизни.

– Да, сэр, как будто слышал. Рассказывали об утопленниках, которых удавалось оживить, но, по-моему, я никогда не слыхал, как именно это делается.

– Никогда не слыхали?

– Нет, сэр.

– А о том, сколько времени человек может пробыть под водой и все-таки потом ожить?

– Нет, сэр. Никогда не слыхал.

– Никогда, к примеру, не слыхали, что можно вернуть к жизни человека, который оставался под водой целых пятнадцать минут?

– Нет, сэр.

– Стало быть, когда вы добрались до берега, вам не пришло в голову, что вы еще можете позвать на помощь и тем самым спасти мисс Олден?

– Нет, сэр, это мне не пришло в голову. Я думал, что она уже мертва.

– Понимаю. Ну, а пока она была еще жива и держалась на воде, как было дело? Вы ведь отличный пловец, так?

– Да, сэр, я плаваю недурно.

– Скажем, настолько недурно, что могли спастись, проплыв более пятисот футов в одежде и башмаках. Это верно?

– Пожалуй, тогда я проплыл такое расстояние… да, сэр.

– Безусловно, проплыли – и весьма недурно для человека, который не мог проплыть тридцати пяти футов до перевернувшейся лодки, скажу я вам, – заключил Мейсон.

Белнеп хотел было заявить протест и потребовать, чтобы подобные выпады не включались в протокол, но Джефсон удержал его.

Далее Клайду пришлось рассказать обо всех своих упражнениях по части гребли и плавания и о том, сколько раз он катался по озерам в столь ненадежном суденышке, как байдарка, причем никогда с ним не случалось ничего плохого.

– В первый раз, на озере Крам, вы ведь катали Роберту на байдарке, так?

– Да, сэр.

– Но тогда с вами не приключилось никакой беды?

– Нет, сэр.

– Тогда вы были сильно влюблены в нее, верно?

– Да, сэр.

– А в тот день, когда она утонула в озере Большой Выпи и когда у вас была надежная, устойчивая лодка, вы уже вовсе не были влюблены в мисс Олден?

– Я ведь говорил, что я тогда чувствовал.

– И, конечно, не может быть никакой связи между теми фактами, что на озере Крам вы были влюблены в нее, а на Большой Выпи…

– Я уже сказал, что я тогда чувствовал.

– Но вы все же хотели от нее отделаться, так? Не успела она умереть, как вы побежали к другой девушке. Ведь вы этого не отрицаете, верно?

– Я уже объяснил, почему я это сделал, – повторил Клайд.

– Объяснили! Объяснили! И вы воображаете, что хоть один здравомыслящий, порядочный, разумный человек поверит вашему объяснению, так, что ли?

Мейсон был вне себя от ярости, и Клайд не осмелился возражать. Судья, предвидя протест со стороны Джефсона, прогремел заранее: «Протест принят!» Но Мейсон уже продолжал:

– А скажите, Грифитс, может быть, вы управляли лодкой немножко неосторожно – самую малость, и сами ее перевернули?

Он подошел еще ближе и подмигнул Клайду.

– Нет, сэр, я не был неосторожен. Это был несчастный случай, и я не мог его предотвратить.

Клайд был совершенно спокоен, хотя бледен и утомлен.

– Несчастный случай. Примерно как тот, другой случай, в Канзас-Сити. Вы вполне освоились с такого рода несчастными случаями, не так ли, Грифитс? – с расстановкой, издевательски произнес Мейсон.

– Я уже объяснял, как это случилось, – устало ответил Клайд.

– Вы вполне привыкли к несчастным случаям, которые приводят к смерти девочек или девушек, верно? И вы всегда сбегаете потом, когда какая-нибудь из них умирает?

– Протестую! – выкрикнул Белнеп, срываясь с места.

– Протест принят, – резко сказал Оберуолцер. – Никакие другие несчастные случаи к данному процессу отношения не имеют. Попрошу обвинителя держаться ближе к делу.

– Скажите-ка, Грифитс, – продолжал Мейсон, очень довольный, что отплатил Джефсону за извинение, которое ему пришлось прежде принести в связи с происшествием в Канзас-Сити, – когда лодка опрокинулась после вашего нечаянного удара и вы и мисс Олден оказались в воде, на каком расстоянии вы были друг от друга?

– Право, я тогда не заметил.

– Довольно близко, так? Вряд ли много дальше, чем на расстоянии фута или двух, примерно так, как вы стояли в лодке?

– Не знаю… Я не заметил… может быть, и так, сэр.

– И не настолько близко, чтобы схватить ее и удержать, если бы вы этого хотели? Ведь вы для того и вскочили, когда увидели, что она падает, так?

– Да, для того я и вскочил, – с усилием ответил Клайд, – но я был не настолько близко, чтобы подхватить ее. Я помню, что сразу ушел под воду, а когда выплыл, она оказалась несколько дальше от меня.

– На каком же расстоянии, точнее? Как отсюда до этого конца скамьи присяжных? Или до того конца? Или вполовину этого, или как?

– Право же, я совершенно не заметил. Примерно как отсюда до того конца, мне кажется, – солгал Клайд, преувеличивая расстояние по крайней мере на восемь футов.

– Неужели! – воскликнул Мейсон, изображая величайшее изумление. – Вот эта лодка опрокидывается, вы оба почти рядом падаете в воду, а когда выплываете на поверхность, оказываетесь чуть ли не в двадцати футах друг от друга? Не кажется ли вам, что на сей раз ваша память вас немножко подвела?

– Ну, так мне показалось, когда я вынырнул.

– Ну, ладно, – а после того как лодка опрокинулась и вы оба вынырнули на поверхность, где вы оказались по отношению к лодке? Вот лодка, – в каком месте зала вы должны находиться – в смысле расстояния, я хочу сказать?

– Но я же сказал, что я этого сразу точно не заметил, когда вынырнул, – повторил Клайд, беспокойно и неуверенно оглядывая простирающийся перед ним зал. Мейсон явно готовил ему западню. – Мне кажется, примерно на таком расстоянии, как отсюда до барьера за вашим столом.

– Стало быть, футов тридцать – тридцать пять, – выжидательно и коварно подсказал Мейсон.

– Да, сэр. Пожалуй, около того. Я не совсем уверен.

– Итак, вы были вон там, а лодка здесь, – а где в это время была мисс Олден?

И Клайд понял, что у Мейсона на уме какой-то план, основанный на математических или геометрических расчетах, при помощи которого он намерен установить его виновность. Он мгновенно насторожился и взглянул в сторону Джефсона. При этом он не мог сообразить, как бы ему поместить Роберту подальше от себя. Он сказал, что она не умела плавать. Тогда не должна ли она быть ближе к лодке, чем он? Да, несомненно! Безрассудно, наугад он схватился за мысль, что лучше всего сказать, будто она была примерно в половине этого расстояния от лодки, – скорее всего не дальше. Он так и сказал.

– Стало быть, она была не больше чем в пятнадцати футах и от вас и от лодки? – тотчас подхватил Мейсон.

– Да, сэр, пожалуй. Как будто так.

– Значит, вы хотите сказать, что не могли проплыть это ничтожное расстояние и потом помочь ей продержаться на воде до тех пор, пока вам не удалось бы достигнуть лодки, находившейся всего на пятнадцать футов дальше?

– Но я уже говорил, я был отчасти ошеломлен, когда вынырнул, а она так сильно билась и кричала…

– Но ведь тут же была лодка – не дальше, чем в тридцати пяти футах, как вы сами сказали (что-то очень далеко ее отнесло за такое короткое время, должен заметить!). После этого вы сумели проплыть пятьсот футов до берега

– и вы хотите сказать, что не могли доплыть до этой лодки и подтолкнуть ее к Роберте, чтобы она успела спастись? Ведь она билась, стараясь удержаться на поверхности, так?

– Да, сэр. Но я сперва был совсем ошарашен, – хмуро оправдывался Клайд, чувствуя на себе неотступные пристальные взгляды всех присяжных и зрителей, – и… и… (напряженная подозрительность и недоверие всего зала придавили его неимоверной тяжестью, и мужество едва не покинуло его; он путался и заикался) и, наверно, я недостаточно быстро соображал, что надо делать. К тому же я боялся, что если я подплыву к ней ближе…

– Да-да, знаю: нравственный и умственный трус, – ехидно усмехнулся Мейсон. – К тому же очень медленно соображаете, когда вам выгодно медлить, и очень быстро – когда вам выгодно действовать быстро. Так, что ли?

– Нет, сэр.

– Ладно, если не так, скажите-ка мне вот что, Грифитс: почему, когда вы через несколько минут выбрались из воды, у вас хватило присутствия духа задержаться и спрятать этот штатив, прежде чем уйти в лес, а когда надо было спасать мисс Олден, вы оказались так «ошарашены», что не могли и пальцем шевельнуть? Как это вы сразу стали таким спокойным и расчетливым, едва ступили на берег? Что вы на это скажете?»

– Ну… я… я ведь говорил… после я понял, что больше мне ничего не остается делать.

– Да, все мы это знаем. А вы не думаете, что после столь сильной паники, пережитой в воде, нужна была весьма трезвая голова, чтобы в подобную минуту задержаться ради такой предосторожности – прятать этот штатив? Как же это вы сумели так здраво подумать о штативе, а за несколько минут до того совсем не в силах были подумать о лодке?

– Но… ведь…

– Вы не желали, чтобы она осталась жива, несмотря на этот ваш выдуманный душевный переворот! Разве не так? – заорал Мейсон. – Это и есть мрачная, прискорбная истина. Она тонула, а вам только того и надо было, и вы попросту дали ей утонуть! Разве не так?

Его трясло, когда он выкрикивал все это. А Клайд глядел на лодку, и ему со страшной, потрясающей ясностью представились глаза Роберты и ее предсмертные крики… Он отшатнулся и съежился в кресле: в своем толковании Мейсон был слишком близок к тому, что произошло на самом деле, и это ужаснуло Клайда. Ведь ни разу, даже Джефсону и Белнепу, он не признавался, что, когда Роберта оказалась в воде, он не захотел ее спасти. Неизменно скрывая истину, он утверждал, будто хотел ее спасти, но все случилось так быстро, а он был так ошеломлен и так испуган ее криками и отчаянной борьбой за жизнь, что не в силах был что-либо предпринять, прежде чем она пошла ко дну.

– Я… я хотел ее спасти, – пробормотал он; лицо его посерело, – но… но… как я сказал, я был оглушен… и… и…

– Вы же знаете, что все это ложь! – крикнул Мейсон, надвигаясь на Клайда; он поднял свои сильные руки, обезображенное лицо его пылало гневом, словно уродливая маска мстительной Немезиды или фурии. – Знаете, что умышленно, с хладнокровным коварством позволили этой несчастной, измученной девушке умереть, хотя могли бы спасти ее так же легко, как легко могли проплыть пятьдесят из тех пятисот футов, которые вы проплыли ради собственного спасения! Так или нет?

Теперь Мейсон был убежден, что точно знает, каким образом Клайд убил Роберту, – что-то в лице и поведении Клайда убедило его в этом, – и он решил непременно вырвать у обвиняемого это признание. Впрочем, Белнеп уже вскочил на ноги, заявляя протест: присяжных недопустимым образом восстанавливают против его подзащитного, а потому он вправе требовать – и требует – отменить весь этот судебный процесс как неправильный и недействительный, – заявление, которое Оберуолцер решительно отклонил. Все же Клайд успел возразить Мейсону, хотя и крайне слабым и жалким тоном:

– Нет, нет! Я этого не делал! Я хотел спасти ее, но не мог!

Но все в Клайде (и это заметил каждый присяжный) выдавало человека, который и в самом деле лжет, и в самом деле – умом и сердцем трус, каким его упорно изображал Белнеп, и, что хуже всего, – в самом деле виновен в смерти Роберты. В конце концов, спрашивал себя каждый присяжный, слушая Клайда, почему же он не мог ее спасти, если у него хватило сил потом доплыть до берега? Или, во всяком случае, почему он не поплыл к лодке и не помог Роберте за нее ухватиться?

– Она весила всего сто фунтов, так? – в лихорадочном возбуждении продолжал Мейсон.

– Пожалуй, да.

– А вы? Сколько вы весили в то время?

– Сто сорок или около того, – ответил Клайд.

– И мужчина, который весит сто сорок фунтов, – язвительно произнес Мейсон, обращаясь к присяжным, – боится приблизиться к слабой, больной, маленькой и легонькой девушке, когда она тонет, из страха, как бы она не уцепилась за него и не затащила под воду! Да еще когда в пятнадцати или двадцати футах от него – прекрасная лодка, достаточно крепкая, чтобы выдержать трех или четырех человек! Что это, по-вашему?

И, чтобы подчеркнуть сказанное и дать ему глубже проникнуть в сознание слушателей, Мейсон умолк, вытащил из кармана большой белый платок и вытер шею, лицо и руки, совершенно мокрые от душевного и физического напряжения. Потом обернулся к Бэртону Бэрлею:

– Можете распорядиться, чтобы лодку убрали отсюда, Бэртон. Во всяком случае, пока она нам больше не нужна.

И четверо помощников сейчас же унесли лодку.

Тогда, вновь овладев собой, Мейсон опять обратился к Клайду.

– Грифитс, – начал он, – вам, конечно, хорошо известно, какого цвета были волосы Роберты Олден и каковы они были на ощупь, – так? Ведь вы были достаточно близки с нею, чтобы это знать?

– Я знаю, какого они цвета… мне кажется, знаю, – вздрогнув, ответил Клайд.

Казалось, и постороннему взгляду был заметен охвативший его при этом озноб.

– И каковы они на ощупь, тоже знаете, да? – настаивал Мейсон. – В дни вашей большой любви к ней, до появления мисс X, вы, должно быть, нередко дотрагивались до них?

– Не знаю, не уверен, – ответил Клайд, перехватив взгляд Джефсона.

– Ну, а приблизительно? Должны же вы знать, были они грубые, жесткие или тонкие, шелковистые. Это вы знаете, верно?

– Да, они были шелковистые.

– Так вот, у меня есть прядь ее волос, – заявил Мейсон больше для того, чтобы измотать Клайда, поиграть на его нервах. Он взял со стола конверт и извлек из него длинную прядь светло-каштановых волос. – Похоже это на ее волосы?

И он протянул их Клайду. Потрясенный и испуганный, Клайд отшатнулся, словно от чего-то нечистого или опасного, но уже в следующее мгновение постарался овладеть собой, и все это не ускользнуло от зорких глаз присяжных.

– Полно, не пугайтесь, – язвительно успокоил его Мейсон. – Ведь это всего лишь локон вашей покойной возлюбленной.

Потрясенный этим пояснением, ощущая на себе любопытные взгляды присяжных, Клайд протянул руку и взял волосы.

– По виду и на ощупь похоже на ее волосы, верно? – настаивал Мейсон.

– Да, как будто похоже, – нетвердым голосом ответил Клайд.

– А теперь вот что… – Мейсон шагнул к столу и тотчас вернулся к Клайду, протягивая ему фотографический аппарат: между крышкой и объективом аппарата запутались сунутые туда в свое время Бэрлеем два волоска Роберты.

– Держите-ка. Это ваш аппарат, хоть вы и клялись в обратном. Взгляните на эти два волоска. Видите? – Он так сунул аппарат в лицо Клайду, словно хотел его ударить. – Они зацепились здесь, надо думать, в ту минуту, когда вы ударили ее – ударили так легко, что разбили ей лицо. Так вот, не можете ли вы сказать присяжным, ее это волосы или нет?

– Я не знаю, – еле слышно выговорил Клайд.

– Что такое? Говорите громче. Не будьте таким нравственным и умственным трусом! Ее это волосы или нет?

– Не знаю, – повторил Клайд, но при этом даже не взглянул на них.

– Посмотрите на них, посмотрите! Сравните с этой прядью. Нам известно, что это прядь волос мисс Олден. А вам известно, что и волосы в аппарате тоже ее, так? Можете не брезговать ими. Пока она была жива, вы достаточно часто их касались. Теперь она мертва. Они вас не укусят. Что же, эти два волоска отличаются чем-нибудь от этой пряди – заведомо ее пряди – на ощупь, по цвету, по всему или ничем не отличаются? Смотрите! Отвечайте! Одни и те же это волосы или нет?

И под таким нажимом, несмотря на протесты Белнепа, Клайду пришлось осмотреть волоски и даже потрогать их. Но ответил он осторожно:

– Ничего не могу сказать. На вид и на ощупь они немножко похожи, но наверно сказать не могу.

– Ах, вы не можете? Хотя и знаете, что, когда вы нанесли ей тот жестокий, злодейский удар, эти два волоска запутались в аппарате?

– Никакого злодейского удара я ей не наносил, – возразил Клайд, уловив взгляд Джефсона, – и не могу сказать, что это за волосы.

Он говорил себе, что не даст этому человеку сбить и запугать себя, и все же испытывал болезненную слабость и тошноту. А торжествующий Мейсон, довольный уже и этим психологическим эффектом, вновь положил аппарат и волосы на стол и заметил:

– Ладно, тут было достаточно показаний насчет того, что эти волоски были в аппарате, когда его вытащили из воды, а перед тем как упасть в воду, он, по вашим же собственным словам, был у вас в руках.

Он умолк на минуту, спрашивая себя, какую бы еще пытку придумать для Клайда, потом снова заговорил:

– Теперь о вашей прогулке по лесу, Грифитс: в котором часу вы дошли до Бухты Третьей мили?

– По-моему, около четырех часов утра, как раз перед рассветом.

– А что вы делали с этого времени и до отбытия парохода?

– Просто ходил взад и вперед.

– По самому поселку?

– Нет, сэр, поблизости.

– В лесу, надо полагать? Выжидали часа, когда поселок проснется, чтобы ваше слишком раннее появление не показалось странным, так?

– Просто я ждал, чтобы взошло солнце. Кроме того, я устал и прилег немного отдохнуть.

– И вы хорошо спали и видели приятные сны?

– Да, я устал и поспал немного.

– А откуда у вас были такие точные сведения о пароходе, и о времени его отплытия, и вообще о Бухте Третьей мили? Постарались ознакомиться со всем этим заранее?

– Ну, в этих местах всем известно, что между Шейроном и Бухтой Третьей мили ходит пароход.

– Вот как, всем известно? Только поэтому и вы об этом знали?

– Ну, еще и потому, что, когда мы подыскивали место, где бы обвенчаться, мы оба обратили внимание на Бухту Третьей мили, – хитроумно ответил Клайд. – Но мы видели, что туда нельзя добраться поездом: железная дорога доходит только до Шейрона.

– Однако вы заметили, что это южнее озера Большой Выпи?

– Да, как будто заметил, – сказал Клайд.

– И что дорога, проходящая к западу от станции Ружейной, ведет на юг к Бухте Третьей мили мимо южной части Большой Выпи?

– Просто в лесу на южном берегу я наткнулся на какую-то дорогу или тропу, но я вовсе не думал, что это и есть правильная дорога.

– Понятно. Как же тогда вышло, что, встретившись в лесу с тремя прохожими, вы спросили их, далеко ли до Бухты Третьей мили?

– Я их не о том спрашивал, – ответил Клайд, следуя наставлениям Джефсона. – Я спросил, не знают ли они какой-нибудь дороги до Бухты Третьей мили и далеко ли до этой дороги. Я не знал, что это и есть та самая дорога.

– Ну, они показывали здесь совсем другое.

– Мне все равно, что они показывали, я-то их спрашивал именно об этом.

– Вас послушать, так выходит, что все свидетели лгуны, один только вы честный человек, так, что ли?.. Ну, а когда вы добрались до Бухты Третьей мили, вы не зашли куда-нибудь поесть? Вы же, наверно, проголодались, так?

– Нет, я не был голоден, – просто ответил Клайд.

– Хотели поскорее выбраться из этих мест, да? Боялись, что те трое, дойдя до Большой Выпи и услыхав о несчастье с мисс Олден, расскажут, как они с вами встретились, так?

– Нет, не так. Но мне не хотелось оставаться в тех местах, я уже говорил почему.

– Понятно. Зато в Шейроне, где вы почувствовали себя в большей безопасности – подальше от тех мест, – вы, не теряя времени, взялись за еду, так? Там вы покушали с аппетитом, верно?

– Ну, право, не знаю. Я выпил чашку кофе и съел сандвич.

– И еще кусок пирога, как тут уже было установлено, – прибавил Мейсон.

– А затем присоединились к толпе, шедшей с вокзала, как будто только что приехали из Олбани, как вы это потом всем рассказывали. Так было дело?

– Да, так.

– А не кажется ли вам, что для действительно невинного человека, в душе которого только недавно произошел благодетельный перелом, вы были ужасно предусмотрительны и осторожны? Прятались в лесу, выжидали в темноте, делали вид, будто приехали прямо из Олбани…

– Я уже объяснил все это, – упрямо ответил Клайд.

Следующим своим ходом Мейсон намеревался изобличить позорное поведение Клайда, который, несмотря на все, чем пожертвовала для него Роберта, способен был изобразить ее незаконной сожительницей нескольких мужчин, поскольку он во время поездки записывался в разных гостиницах под разными именами.

– Почему вы не брали отдельных комнат?

– Видите ли, она этого не хотела. Ей хотелось быть со мной. И, кроме того, у меня было не слишком много денег.

– Даже если и так, выходит очень странно: тогда вы проявляли к ней так мало уважения, а потом, когда она умерла, вас стала до того заботить ее репутация, что вы сбежали и хранили про себя тайну ее гибели, лишь бы, как вы говорите, сберечь ее доброе имя? Как это так получается?

– Ваша честь, – вмешался Белнеп, – это уже не вопрос, а целая речь.

– Беру свой вопрос назад, – огрызнулся Мейсон. – Кстати, Грифитс, – продолжал он, – сами-то вы признаете, что вы умственный и нравственный трус, или нет?

– Нет, сэр. Не признаю.

– Не признаете?

– Нет, сэр.

– Стало быть, когда вы лжете, да еще под присягой, вы ничем не отличаетесь от любого другого человека, не труса в умственном и нравственном отношении, и заслуживаете такого же презрения и кары, как и всякий клятвопреступник и лжесвидетель? Правильно?

– Да, сэр. Думаю, что правильно.

– Так вот, если вы не умственный и нравственный трус, тогда чем объяснить, что, нанеся мисс Олден нечаянный, по вашим словам, удар, вы оставили ее на дне Большой Выпи и, зная, какие страдания причинит ее родным эта утрата, не сказали никому ни слова, а просто-напросто ушли, – спрятали штатив в кусты и удрали тайком, как самый обыкновенный убийца? Что вы подумали бы, если бы вам рассказали такую вещь о ком-нибудь другом? Что это, по-вашему: поведение человека, который задумал и совершил убийство и потом попытался благополучно скрыться, или просто подлые, хитрые уловки умственного и нравственного труса, который старается избежать ответственности за случайную гибель соблазненной им девушки, потому что огласка может повредить его благоденствию? Что именно?

– А все-таки я не убивал ее, – упрямо повторил Клайд.

– Отвечайте на вопрос! – прогремел Мейсон.

– Прошу суд разъяснить свидетелю, что он не обязан отвечать на подобный вопрос, – вмешался Джефсон, поднимаясь и пристально посмотрев сперва на Клайда, потом на Оберуолцера. – Это вопрос чисто риторический, не имеющий прямого отношения к обстоятельствам данного дела.

– Правильно, – подтвердил Оберуолцер. – Свидетель может не отвечать.

И Клайд только молча посмотрел на всех, чрезвычайно ободренный этой неожиданной помощью.

– Ладно, продолжаем, – сказал Мейсон. Более чем когда-либо он был раздосадован и обозлен бдительностью Белнепа и Джефсона и их стремлением свести на нет силу и смысл каждой его атаки и тверже чем когда-либо решил, что не позволит им восторжествовать. – Так вы говорите, что до этой поездки вы не намерены были жениться на мисс Олден, если бы только удалось этого избежать?

– Да, сэр.

– Она хотела, чтобы вы с ней обвенчались, но вы еще не пришли к такому решению?

– Да.

– Ну, а не припоминаете ли вы поваренную книгу, солонку, перечницу, ложки, ножи и все прочее, что она уложила в свой чемодан?

– Да, сэр, припоминаю.

– Так что же, по-вашему, уезжая из Бильца и беря все это с собой, она могла думать, что останется не замужем и поселится где попало в дешевой комнатушке, а вы будете навещать ее раз в неделю или раз в месяц?

И прежде чем Белнеп успел заявить протест, Клайд выпалил именно то, что следовало:

– Мне неизвестно, что она могла думать на этот счет.

– А вы случайно в телефонном разговоре, – например, после того, как она написала вам, что, если вы не приедете за нею в Бильц, она сама приедет в Ликург, – не обещали ей жениться?

– Нет, сэр, не обещал.

– Вы не были до такой степени умственным и нравственным трусом, чтобы с перепугу сделать что-нибудь в этом роде, а?

– Я никогда не говорил, что я умственный и нравственный трус.

– И не дали бы девушке, которую вы соблазнили, запугать себя?

– Просто я тогда не чувствовал, что должен на ней жениться.

– Вы думали, что она не такая блестящая партия, как мисс X?

– Я думал, что не должен жениться на ней, раз я больше не люблю ее.

– Даже и для того, чтобы спасти ее честь и самому не оказаться непорядочным человеком?

– Видите ли, я тогда думал, что мы не можем быть счастливы вместе.

– Это было, конечно, до великого перелома в вашей душе?

– Да, это было до того, как мы поехали в Утику.

– Тогда вы еще были без ума от мисс X?

– Да, я был влюблен в мисс X.

– Помните, в одном из своих писем, на которые вы никогда не отвечали, Роберта Олден писала вам (тут Мейсон достал одно из первых семи писем и прочел): «Меня мучит тревога и ужасная неуверенность, хоть я и стараюсь гнать их от себя, – ведь теперь у нас все решено и ты приедешь за мной, как обещал». Так что же именно она подразумевала, говоря: «теперь у нас все решено»?

– Не знаю, – разве только то, что я должен приехать за ней и увезти ее куда-нибудь на время.

– Но не жениться на ней, конечно?

– Нет, этого я ей не обещал.

– Однако сразу же после этого, в том же самом письме, она пишет: «По пути сюда, вместо того чтобы поехать прямо домой, я решила остановиться в Гомере и повидаться с сестрой и зятем. Ведь неизвестно, когда мы увидимся опять, потому что я хочу встретиться с ними только как порядочная женщина

– или уж никогда больше не встречаться!» Как, по-вашему, что она хотела сказать словами «порядочная женщина»? Что, пока не родится ребенок, она будет жить где-то вдали от всех, не выходя замуж, а вы будете понемножку посылать ей деньги, а потом, может быть, она вернется и будет изображать из себя невинную девушку или молодую вдову, – или как? А не кажется вам, что она себе представляла нечто другое: что она выйдет за вас замуж, хотя бы на время, и ребенок будет законным? «Решение», о котором она упоминает, не могло означать чего-то меньшего, не так ли?

– Ну, может быть, она и так себе это представляла, – уклончиво ответил Клайд. – Но я никогда не обещал на ней жениться.

– Ладно, пока мы это оставим, – упрямо продолжал Мейсон. – Займемся вот чем (и он стал читать из десятого письма): «Милый, ведь ты, наверно, мог бы приехать и на несколько дней раньше, – какая разница? Все равно, пускай у нас будет немножко меньше денег. Не бойся, мы проживем и так, пока будем вместе, – наверно, это будет месяцев шесть – восемь самое большее. Ты же знаешь, я согласна тебя потом отпустить, если ты хочешь. Я буду очень бережливой и экономной… Иначе невозможно, Клайд, хотя ради тебя я хотела бы найти другой выход». Как, по-вашему, что все это означает: «быть бережливой и экономной» и отпустить вас не раньше, чем через восемь месяцев? Что она будет ютиться где-то, а вы навещать ее раз в неделю? Или что вы действительно соглашались уехать с нею и обвенчаться, как она по-видимому, думала?

– Не знаю, может быть, она думала, что сумеет меня заставить, – ответил Клайд; публика и присяжные – все эти фермеры и лесорубы, обитатели лесной глуши, возмущенно и насмешливо зафыркали, разъяренные выражением «сумеет меня заставить», так незаметно для Клайда слетевшим у него с языка. – Я никогда не соглашался на ней жениться, – закончил он.

– Разве что она сумела бы вас заставить. Стало быть, вот как вы к этому относились, да, Грифитс?

– Да, сэр.

– И вы присягнете в этом с такой же легкостью, как в чем угодно еще?

– Я ведь уже принес присягу.

И тут Мейсон почувствовал – и это почувствовали и Белнеп, и Джефсон, и сам Клайд, – что страстное презрение и ярость, с какими почти все присутствующие с самого начала относились к подсудимому, теперь с потрясающей силой рвутся наружу. Презрение и ярость переполняли зал суда. А у Мейсона впереди было еще вдоволь времени, чтобы наугад, как придется, выхватывать из массы материалов и показании все, чем ему вздумается издевательски терзать и мучить Клайда. И вот, заглядывая в свои заметки (для удобства Эрл Ньюком веером разложил их на столе), он снова заговорил:

– Грифитс, вчера, когда вас допрашивал здесь ваш защитник мистер Джефсон (тут Джефсон иронически поклонился), вы показали, что в вашей душе произошел этот самый перелом после того, как вы снова встретились с Робертой Олден в Фонде, – то есть как раз когда вы пустились с нею в это гибельное для нее путешествие.

– Да, сэр, – сказал Клайд, прежде чем Белнеп успел заявить протест; однако адвокату удалось добиться замены «гибельного для нее путешествия» просто «путешествием».

– Перед этим вашим с нею отъездом вы уже не любили ее по-прежнему, верно?

– Не так сильно, как прежде… верно, сэр.

– А как долго – с какого именно времени и по какое – вы ее действительно любили? То есть не успели еще разлюбить?

– Ну, я любил ее с того времени, как встретился с нею, и до тех пор, пока не встретился с мисс X.

– Но не дольше?

– Ну, я не могу сказать, чтобы после я совсем ее разлюбил. Она была мне дорога… даже очень… но все-таки не так, как раньше. Мне кажется, я главным образом жалел ее.

– Это значит… дайте сообразить… примерно с первого декабря и до апреля или до мая, так?

– Да, примерно так, сэр.

– И что же, все это время – с первого декабря до апреля или мая – вы оставались с нею в интимных отношениях, да?

– Да, сэр.

– Несмотря на то, что уже не любили ее по-прежнему?

– То есть… да, сэр, – ответил Клайд с запинкой.

И едва разговор перешел на сексуальные темы, как все эти сельские жители, заполнявшие зал суда, встрепенулись и заинтересованно подались вперед.

– И, зная, как вы тут сами же показывали, что, безукоризненно верная вам, она по вечерам сидит одна в своей комнатушке, вы все-таки отправлялись на танцы и вечеринки, на званые обеды и автомобильные прогулки и оставляли ее в одиночестве?

– Да, но ведь я не всегда уходил.

– Ах, не всегда? А вы слышали, что показали здесь по этому поводу Трейси Трамбал, Фредерик Сэлс, Фрэнк Гарриэт и Бэрчард Тэйлор, или, может быть, не слыхали?

– Слышал, сэр.

– Так что же, они все лгали или, может быть, говорили правду?

– Мне кажется, они говорили правду, насколько могли припомнить.

– Но припоминали они не слишком точно, так, что ли?

– Просто я не всегда уходил. Пожалуй, раза два-три в неделю… может быть, иногда и четыре, но не больше.

– А остальные вечера вы проводили с мисс Олден?

– Да, сэр.

– Стало быть, именно это она и хотела сказать вот здесь в письме? – Мейсон взял еще одно из пачки писем Роберты и прочел: – «Почти все время после того ужасного рождества, когда ты покинул меня, я вечер за вечером провожу совсем одна». Что же, она лжет? – свирепо рявкнул Мейсон, и Клайд, понимая, как опасно обвинить Роберту во лжи, робко и сконфуженно ответил:

– Нет, она не лжет. Но все-таки часть вечеров я проводил с нею.

– И, однако, как вы слышали, миссис Гилпин и ее муж засвидетельствовали, что, начиная с первого декабря, мисс Олден постоянно, вечер за вечером, сидела одна у себя в комнате, что они жалели ее и считали такое затворничество неестественным и старались сблизиться с нею и немного развлечь ее, но она уклонялась от их приглашений. Слышали вы эти показания?

– Да, сэр.

– И тем не менее утверждаете, что часть вечеров проводили с нею?

– Да, сэр.

– И в то же время вы любили мисс Х и стремились чаще встречаться с нею?

– Да, сэр.

– И старались добиться, чтобы она вышла за вас замуж?

– Да, я хотел этого, да, сэр.

– И, однако, между делом, в вечера, не занятые ухаживанием за другой, продолжали свои прежние отношения с мисс Олден?

– То есть… да, сэр, – снова запнулся Клайд.

Его безмерно огорчало, что все эти разоблачения выставляют его в таком жалком виде, и, однако, он чувствовал, что был вовсе не так подл – по крайней мере не хотел быть таким, каким изображал его Мейсон. Ведь и другие поступали не лучше, хотя бы те же светские молодые люди в Ликурге, во всяком случае, это можно было понять по их разговорам.

– А вам не кажется, что ваши просвещенные защитники нашли для вас весьма мягкое наименование, называя вас умственным и нравственным трусом?

– ехидно заметил Мейсон.

И тут откуда-то из глубины длинного и узкого зала суда среди глубокой тишины раздался мрачный, мстительный выкрик какого-то разъяренного лесоруба:

– И на кой черт возиться с этим окаянным выродком! Прикончить его – и все тут!

В то же мгновение Белнеп закричал, что он протестует, и Оберуолцер, водворяя тишину, застучал молотком и приказал арестовать нарушителя порядка, а заодно удалить из зала всех, для кого не хватало сидячих мест, что и было исполнено. Нарушитель был немедленно арестован: ему надлежало наутро предстать перед судом. И потом в наступившей тишине вновь заговорил Мейсон:

– Вы говорили, Грифитс, что, уезжая из Ликурга, не намеревались жениться на Роберте Олден, если только вам удастся уладить все каким-либо иным путем.

– Да, сэр. В то время так оно и было.

– И, следовательно, вы были вполне уверены, что вернетесь в Ликург?

– Да, сэр, я рассчитывал вернуться.

– Тогда почему вы уложили все свои вещи в сундук и заперли его?

– Это… это… просто… – Клайд замялся. Нападение было столь внезапно, столь мало оно было связано со всем сказанным ранее, что Клайд не успел собраться с мыслями. – Видите ли, я был не вполне уверен… я думал – вдруг мне придется уехать, независимо от того, хочу я или нет.

– Понятно. Стало быть, если бы вы неожиданно решили уехать с мисс Олден, как оно и вышло (тут Мейсон фыркнул ему в лицо, будто говоря: «Так тебе и поверили!»), у вас могло не оказаться времени для того, чтобы вернуться домой и перед отъездом спокойно уложить вещи?

– Н-нет, сэр, дело было не в этом.

– А в чем же?

– Видите ли… – И так как он прежде не думал об этом и ему не хватало смекалки, чтобы сразу же найти подходящий и правдоподобный ответ, Клайд опять замялся, что было замечено всеми и прежде всего Белнепом и Джефсоном; потом он продолжал: – Видите ли, я думал, что если понадобится уезжать, хотя бы и на короткое время, мне, пожалуй, придется спешно захватить все свои вещи.

– Понятно. Но вы опасались такой спешки при отъезде не потому, что полиция могла выяснить, кто такие Клифорд Голден и Карл Грэхем? Вы в этом уверены?

– Нет, сэр, не в этом дело.

– И, значит, вы не говорили миссис Пейтон, что отказываетесь от комнаты?

– Нет, сэр.

– Вчера, давая показания, вы говорили что-то такое о недостатке денег. Будто вам не на что было увезти мисс Олден, жениться и прожить с нею вместе хоть некоторое время, хотя бы даже полгода.

– Да, сэр.

– Сколько у вас было денег, когда вы отправились из Ликурга в эту поездку?

– Около пятидесяти долларов.

– «Около» пятидесяти? Вы не знаете точно, сколько у вас было?

– Знаю, сэр, – пятьдесят долларов.

– Сколько вы истратили, пока были в Утике и на Луговом озере и после, пока не добрались до Шейрона?

– По-моему, у меня ушло на эту поездку долларов двадцать.

– А точно не знаете?

– Точно… нет, сэр… но примерно что-то около двадцати долларов.

– Ладно, попробуем подсчитать точнее, – продолжал Мейсон, и Клайд, почуяв западню, снова заволновался: ведь у него были еще и те деньги, которые дала ему Сондра, и часть их он тоже истратил. – Сколько вам лично стоил проезд от Фонды до Утики?

– Доллар с четвертью.

– А комната в Утике, в гостинице, где вы останавливались с Робертой?

– Четыре доллара.

– Вы, конечно, пообедали там в тот вечер и позавтракали на другое утро,

– во сколько вам это обошлось?

– Около трех долларов за все вместе.

– И больше вы ничего не потратили в Утике?

Мейсон изредка косился на листок с какими-то цифрами и пометками, но Клайд этого не замечал.

– Нет, сэр.

– А как насчет соломенной шляпы, которую, как тут было установлено, вы купили в Утике?

– Ах да, сэр, я и забыл про нее! – спохватился Клайд. – Да, сэр, это еще два доллара.

Он понял, что следует быть осторожнее.

– Проезд до Лугового озера обошелся вам, разумеется, в пять долларов, правильно?

– Да, сэр.

– Затем, на Луговом озере вы взяли напрокат лодку. Сколько это стоило?

– Тридцать пять центов в час.

– А сколько времени вы катались?

– Три часа.

– Это составляет доллар и пять центов.

– Да, сэр.

– А потом вы переночевали в гостинице, сколько с вас за это взяли? Пять долларов, так?

– Да, сэр.

– И затем вы купили завтрак, который взяли с собой на озеро Большой Выпи?

– Да, сэр. Он стоил центов шестьдесят.

– А сколько вам стоила дорога до Большой Выпи?

– Мы ехали поездом до Ружейной, – это доллар, и оттуда автобусом до Большой Выпи – еще доллар.

– Я вижу, вы недурно помните все цифры. Да это и естественно. У вас не было денег, и приходилось учитывать свои расходы. А сколько вам потом стоил проезд от Бухты Третьей мили до Шейрона?

– Семьдесят пять центов.

– Вы ни разу не пробовали подсчитать общую сумму?

– Нет, сэр.

– Не подсчитаете ли сейчас?

– Но ведь вы уже, наверно, и сами подсчитали?

– Да, сэр, подсчитал. Получается двадцать четыре доллара и шестьдесят пять центов. А вы сказали, что потратили двадцать долларов. Выходит, разница в четыре доллара шестьдесят пять центов. Как вы это объясните?

– Ну, наверно, я что-нибудь не очень точно вспомнил, – сказал Клайд, раздраженный этими мелочными подсчетами.

Но тут Мейсон лукаво и мягко спросил:

– Ах да, Грифитс, я и забыл! Сколько стоит прокат лодки на Большой Выпи?

Он долго и тщательно готовил эту западню и теперь с нетерпением ждал, что ответит Клайд.

– Э… м-м… то есть… – неуверенно начал Клайд.

Он вспомнил, что на озере Большой Выпи не потрудился справиться о цене лодки, так как знал, что ни он, ни Роберта не вернутся. И только теперь впервые всплыл этот вопрос.

А Мейсон, понимая, что поймал его, быстро переспросил:

– Ну, что же?

И Клайд ответил наугад:

– А, да – тридцать пять центов в час, то же самое, что и на Луговом, – так мне лодочник сказал.

Но он чересчур поспешил. Он не знал, что в резерве у Мейсона имеется лодочник, который должен засвидетельствовать, что Клайд не стал спрашивать его о цене. И Мейсон продолжал:

– Вот оно что! Стало быть, это вам лодочник сказал?

– Да, сэр.

– А вы забыли, что даже и не спросили лодочника о цене? Лодка стоила вовсе не тридцать пять центов в час, а пятьдесят. Но, ясное дело, вы этого не знаете, потому что вы ужасно спешили отчалить и вовсе не собирались возвращаться и платить за лодку. Ясно, потому вы и не спросили о цене. Понятно, да? Теперь припоминаете? – Тут Мейсон достал счет, полученный им от лодочника, и помахал им перед самым носом Клайда. – Лодка стоила пятьдесят центов в час, – повторил он. – На Большой Выпи за лодку берут дороже, чем на Луговом. Но я хочу знать, как случилось, что вы, будучи столь осведомлены обо всех остальных ценах, – вы это нам только что доказали, – вовсе не знакомы именно с этой цифрой? Что же, отправляясь с мисс Олден на озеро, вы не подумали, во сколько вам обойдется катание на лодке с полудня и до вечера?

Эта внезапная и ожесточенная атака сразу привела Клайда в замешательство. Он крутился и вертелся, судорожно глотал и смотрел в пол, не решаясь взглянуть на Джефсона, который как-то упустил из виду возможность подобного вопроса.

– Ну, – рявкнул Мейсон, – получу я какое-нибудь объяснение по этому поводу? Вам-то самому не кажется странным, что вы можете вспомнить все статьи своих расходов, все без исключения, но только не эту?

И снова все присяжные в напряженном ожидании подались вперед. И Клайд, заметив их нетерпеливое и явно подозрительное любопытство, наконец ответил:

– Вот уж, право, не представляю, как я это забыл.

– Еще бы! Конечно, не представляете! – фыркнул Мейсон. – Человек, который собирается убить девушку на пустынном озере, должен думать о целой массе вещей, – не удивительно, если вы и забыли кое-что. Однако вы не забыли спросить кассира, сколько стоит билет до Шейрона, когда пришли в Бухту Третьей мили, верно?

– Не помню, спрашивал ли я об этом.

– Зато он помнит. Он дал соответствующие показания. Вы позаботились справиться о цене комнаты на Луговом озере. Вы спросили там и о стоимости проката лодки. Вы даже спросили, сколько стоит проезд на автобусе до Большой Выпи. Какая жалость, что вы не подумали спросить, сколько стоит прокат лодки на Большой Выпи! Вам не пришлось бы теперь так волноваться из-за этого, правда?

И тут Мейсон посмотрел на присяжных, словно говоря: «Сами видите!»

– Наверно, я об этом просто не подумал, – повторил Клайд.

– Исчерпывающее объяснение, по-моему, – язвительно заметил Мейсон и затем продолжал на всех парах: – Надо полагать, вы вряд ли помните и расход в тринадцать долларов двадцать центов на завтрак в «Казино» девятого июля – на другой день после смерти Роберты, – так, что ли?

Мейсон был драматичен, быстр и напорист и не давал Клайду времени ни подумать, ни хотя бы перевести дух. При этом его вопросе Клайд чуть не подскочил: он и не подозревал, что Мейсону известно о том завтраке.

– А вы помните, – продолжал Мейсон, – что еще свыше восьмидесяти долларов было у вас обнаружено при аресте?

– Да, теперь я припоминаю, – ответил Клайд.

Он совсем забыл об этих восьмидесяти долларах. Однако сейчас он ничего об этом не сказал, так как не сообразил, что можно сказать.

– В чем же тут дело? – настойчиво и беспощадно допытывался Мейсон. – Выезжая из Ликурга, вы имели только пятьдесят долларов, а в момент ареста

– свыше восьмидесяти, – и при этом истратили двадцать четыре доллара шестьдесят пять центов плюс тринадцать долларов на завтрак. Откуда же у вас взялись остальные деньги?

– На это я сейчас не могу ответить, – угрюмо сказал Клайд, чувствуя, что его загнали в угол и притом оскорбили. Эти деньги он получил от Сондры, и никакие силы в мире не вырвали бы у него такого признания.

– То есть почему вы не можете ответить? – заорал Мейсон. – Вы где, собственно, находитесь, как по-вашему? И для чего мы все здесь собрались, как по-вашему? Чтобы вы рассуждали, на что вам угодно отвечать, а на что не угодно? Вы перед судом, и речь идет о вашей жизни, не забудьте! Вам не удастся играть в прятки с законом, сколько бы вы мне прежде ни лгали. Вы отвечаете перед лицом этих двенадцати присяжных, и они ждут прямого ответа. Ну, что же? Откуда вы взяли эти деньги?

– Занял у друга.

– Что за друг? Как его имя?

– Это мое дело.

– Ах, ваше! Значит, вы солгали насчет той суммы, которую имели при себе, уезжая из Ликурга, это ясно. Да еще под присягой. Не забывайте этого! Под присягой, которую вы так свято чтите. Что, неправда?

– Да, неправда, – сказал наконец Клайд, придя в себя под ударами этих обвинений. – Я занял денег после того, как приехал на Двенадцатое озеро.

– У кого?

– Этого я не могу сказать.

– Стало быть, грош цена вашему заявлению, – отрезал Мейсон.

Клайд заартачился. Он все больше понижал голос, и Мейсон каждый раз приказывал ему говорить громче и повернуться так, чтобы присяжные могли видеть его лицо. И каждый раз, повинуясь ему, Клайд испытывал все большее и большее озлобление против этого человека, хотевшего вырвать у него все его тайны. Мейсон коснулся и Сондры, а она была еще слишком дорога сердцу Клайда, чтобы он мог открыть что-либо, бросающее на нее тень. И вот Клайд сидел и смотрел на присяжных как-то даже вызывающе. Тем временем Мейсон взял со стола какие-то фотографии.

– Это вам знакомо? – спросил он, показывая Клайду несколько неясных, попорченных водою изображений Роберты, несколько фотографий самого Клайда и еще кое-какие снимки (ни на одном из них не было Сондры): Клайд сделал их во время первого посещения дачи Крэнстонов, а четыре – позже, на Медвежьем озере, причем на одной из последних фотографий был снят он сам, играющий на банджо. – Помните, когда это было снято? – спросил Мейсон, показывая сперва фотографию Роберты.

– Да, помню.

– Где это было?

– На южном берегу Большой Выпи, в тот день, когда мы там были.

Клайд знал, что эти пленки были в аппарате, и говорил о них Белнепу и Джефсону; однако теперь он немало удивился, увидев, что их сумели проявить.

– Грифитс, – продолжал Мейсон, – ваши защитники не говорили вам, как упорно они старались выудить из озера Большой Выпи фотографический аппарат

– тот самый, которого, как вы клялись, у вас не было? Не говорили, как выуживали его до тех пор, пока не выяснили, что он у меня в руках?

– Они никогда мне ничего такого не говорили, – ответил Клайд.

– Очень жаль. Я мог бы их избавить от массы хлопот. Итак, это снимки, найденные в аппарате, и сделаны они были сразу после пережитого вами душевного переворота, – помните?

– Я помню, когда они были сделаны, – угрюмо ответил Клайд.

– Ну да, они были сделаны перед тем, как вы оба в последний раз отплыли от берега, перед тем, как вы наконец сказали ей все, что вы там хотели сказать, перед тем, как убили ее, – в то самое время, когда, по вашим же показаниям, она была очень печальна.

– Нет, печальна она была накануне, – возразил Клайд.

– А, понятно. Ну, во всяком случае, на этих снимках она что-то чересчур весела для человека, который был так подавлен и расстроен, как выходит по вашим рассказам.

– Но ведь в это время она вовсе не была такой подавленной, как накануне, – выпалил Клайд: это была правда, и он хорошо это помнил.

– Понятно. А теперь поглядите вот на эти снимки. Хотя бы на эти три. Где они были сделаны?

– Кажется, на даче Крэнстонов на Двенадцатом озере.

– Правильно. Восемнадцатого или девятнадцатого июня, так?

– Кажется, девятнадцатого.

– А не помните ли, какое письмо написала вам Роберта девятнадцатого июня?

– Нет, сэр.

– Вы не помните ни одного из ее писем в отдельности?

– Нет, сэр.

– Но вы говорили, что все они были очень грустные?

– Да, сэр, это верно.

– Так вот, у меня в руках письмо, написанное в то самое время, когда сделаны эти снимки. – Тут Мейсон повернулся к присяжным: – Я попрошу вас, господа присяжные заседатели, взглянуть на снимки, а затем выслушать один отрывок из письма, которое мисс Олден написала в тот день подсудимому. Он признался, что отказывался писать ей и старался пореже звонить по телефону, хотя и жалел ее. – И Мейсон взял письмо и, обращаясь к присяжным, прочел вслух длинную, горькую жалобу Роберты. – А вот еще четыре фотографии, Грифитс, – продолжал он, вручая Клайду снимки, сделанные на Медвежьем озере. – Очень весело, как, по-вашему? Не слишком похоже на портрет человека, только что пережившего великий душевный переворот после длительных, ужасающих сомнений, тревог и дурного поведения, – человека, только что видевшего внезапную гибель женщины, с которой он поступил самым жестоким и бесчестным образом и свою вину перед которой как раз перед этим хотел загладить. Судя по этим снимкам, вы были беззаботнейшим человеком на свете, верно?

– Но ведь это групповые снимки. Мне неудобно было не сняться вместе со всеми.

– Ну, а этот, где вы в воде? Вам ничуть не трудно было войти в воду на второй или на третий день после того, как Роберта Олден нашла свою могилу на дне Большой Выпи? Да еще после пережитого вами столь облагораживающего нравственного переворота, совершенно изменившего ваше к ней отношение?

– Я не хотел, чтобы кто-либо понял, что я был там с нею.

– Знаем, знаем. А как насчет вот этой фотографии – с банджо? Поглядите-ка! – И Мейсон протянул ему фотографию. – Очень весело, а? – съязвил он.

И растерянный, испуганный Клайд ответил:

– Но все равно, мне совсем не было весело!

– Даже когда вы играли на банджо? И когда развлекались гольфом и теннисом со своими друзьями на другой же день после ее смерти? И когда поедали тринадцатидолларовые завтраки? И когда снова находились в обществе мисс X, что, по вашим собственным показаниям, предпочитали всему на свете?

Мейсон не говорил, а рычал – гневный, зловещий, свирепо иронизирующий.

– А все-таки именно тогда мне не было весело, сэр.

– Что значит «именно тогда»? Разве вы не были там, куда стремились?

– Видите ли, в известном смысле это, конечно, верно, – ответил Клайд, спрашивая себя, что-то подумает Сондра: ведь она наверняка прочтет его показания…

Все материалы процесса изо дня в день публикуются во всех газетах. Он не может отрицать, что был тогда подле Сондры и что стремился к этому. И, однако, ведь он не был счастлив. Как отчаянно несчастен он был, оттого что запутался в своем постыдном и жестоком замысле! Но как объяснить это, чтобы Сондра поняла, когда она станет читать, и чтобы все эти присяжные тоже поняли?

И Клайд прибавил, судорожно глотая пересохшим горлом и облизывая губы пересохшим языком:

– А все-таки мне было очень жаль мисс Олден. Я не мог тогда чувствовать себя счастливым, просто не мог. Я только старался так себя вести, чтобы люди не подумали, что я имею какое-то отношение к этой ее поездке, вот и все. Я не знал, как иначе этого добиться. Я не хотел, чтобы меня арестовали за то, чего я не делал.

– Да разве вы сами не знаете, что все это ложь! Вы же знаете, что лжете! – закричал Мейсон, словно призывая весь свет в свидетели, и его неистовства, страстного недоверия и презрения было достаточно, чтобы убедить и присяжных и публику, что Клайд – отъявленнейший лжец. – Вы слышали показания Руфуса Мартина, младшего повара, ездившего с вашей компанией на Медвежье озеро?

– Да, сэр.

– Вы слышали, как он под присягой показал, что видел вас с мисс X в укромном уголке на берегу у Медвежьего озера и вы держали ее в объятиях и целовали? Было это?

– Да, сэр.

– И это ровно через четыре дня после того, как Роберта Олден осталась лежать на дне озера Большой Выпи?! Что же, вы и тогда боялись ареста?

– Да, сэр.

– Даже тогда, когда держали мисс X в объятиях и целовали ее?

– Да, сэр, – тоскливо и безнадежно повторил Клайд.

– Ну, знаете ли! – заорал Мейсон. – Никто бы не поверил, что такую чушь можно нести на суде, если бы мы тут не слышали все это собственными ушами! И вы сидите тут и под присягой заявляете суду, что могли разводить нежности, обнимая одну обманутую девушку, в то самое время как другая обманутая вами девушка лежала на дне озера за сто миль от вас, и при этом чувствовали себя несчастным и мучились угрызениями совести?

– А все-таки именно так и было, – ответил Клайд.

– Превосходно! Бесподобно! – вскричал Мейсон.

Утомленно вздыхая, он снова вытащил из кармана большой белый платок, обвел взглядом зал суда и стал вытирать лицо, всем своим видом говоря: «Ну, и тяжкая задача!» Потом продолжал с еще большей силой, чем прежде:

– Грифитс, только вчера, вот здесь, на свидетельском месте, вы под присягой показали, что, уезжая из Ликурга, вы совсем не предполагали отправиться на озеро Большой Выпи.

– Да, сэр, не предполагал.

– А оказавшись с мисс Олден вдвоем в номере гостиницы в Утике и увидев, как она утомлена и измучена, вы подали мысль, что какой-то отдых – небольшая прогулка, доступная вам при общих ваших скромных средствах, – пойдет ей на пользу. Так было дело?

– Да, сэр, так, – ответил Клайд.

– Но до той минуты вам и в голову не приходило поехать именно к озерам в Адирондакских горах?

– Нет, сэр… то есть я не думал о каком-либо определенном озере. Я думал, что мы могли бы, пожалуй, съездить в какое-нибудь дачное место – они ведь тут почти все около озер, – но я не имел в виду никакого определенного озера.

– Понятно. А когда вы предложили это, именно мисс Олден сказала, что надо достать какие-нибудь карты и путеводители, так?

– Да, сэр.

– И вы спустились в вестибюль гостиницы и достали их?

– Да, сэр.

– В гостинице «Ренфру», в Утике?

– Да, сэр.

– А может быть, случайно, где-нибудь в другом месте?

– Нет, сэр.

– А потом, просматривая эти карты, вы оба увидели Луговое озеро и озеро Большой Выпи и решили туда поехать? Так было дело?

– Да, так мы решили, – ответил Клайд, с трудом подавляя тревогу. Он уже жалел, что сказал, будто достал путеводители в утикской гостинице. Может быть, тут опять скрыта какая-то западня…

– Вы и мисс Олден?

– Да, сэр.

– И вы вдвоем выбрали Луговое озеро, как самое подходящее, потому что там все особенно дешево, так было дело?

– Да, сэр, так.

– Понятно. А это вы припоминаете? – И, взяв со стола несколько путеводителей (было удостоверено, что все они оказались среди вещей Клайда в его чемодане на Медвежьем озере в момент ареста), Мейсон вручил их Клайду. – Просмотрите их. Это и есть те справочники, которые я обнаружил в вашем чемодане на Медвежьем озере?

– Как будто те самые.

– Те самые, которые вы отыскали в киоске гостиницы «Ренфру» и отнесли наверх, в номер, чтобы показать мисс Олден?

Немало испуганный тщательностью, с которой Мейсон разбирался в этой истории с путеводителями, Клайд взял брошюрки и повертел в руках. Но так как штамп ликургской гостиницы «Привет из Ликурга – отель „Ликург“, штат Нью-Йорк» был красный, почти такой же, как красный шрифт всего текста, Клайд даже теперь его не заметил. Он все вертел справочники в руках и наконец, решив, что тут нет никакого подвоха, ответил:

– Да, мне кажется, те самые.

– Ну, а в котором из них вы нашли рекламу гостиницы на Луговом озере и тамошние цены? – коварно выспрашивал Мейсон. – Не в этом ли?

И он снова подал Клайду тот же справочник с ликургским штампом и указал страницу с тем самым объявлением, к которому Клайд когда-то привлек внимание Роберты. Посередине напечатана была карта Индийских гор вместе с Двенадцатым, Луговым, Большой Выпью и другими озерами, а в самом низу карты была ясно обозначена дорога, ведущая от Лугового озера и станции Ружейной на юг, мимо южной части озера Большой Выпи к Бухте Третьей мили.

Увидев опять через столько времени знакомую карту, Клайд вдруг решил, что Мейсон, должно быть, старается установить его осведомленность относительно этой дороги, – и робко, нетвердо ответил:

– Да, может быть. Как будто он похож на тот. Кажется, это он и есть.

– А точно вы не знаете? – мрачно и непреклонно настаивал Мейсон. – Вы не можете, прочитав это объявление, сказать, тот ли это путеводитель или не тот?

– Похоже, что тот, – уклончиво ответил Клайд, проглядев то самое объявление, которое заставило его вначале остановить свой выбор на Луговом озере. – Думаю, что, пожалуй, тот.

– Думаете! Думаете! Становитесь осторожнее, когда дело доходит до чего-то конкретного. Ладно, взгляните-ка еще раз на эту карту и скажите мне, что вы там видите. Не видите ли вы на ней дорогу, ведущую к югу от Лугового озера?

– Да, – не сразу, угрюмо и немного резко ответил Клайд, – так истерзал и измучил его этот человек, твердо решивший затравить его, загнать в могилу.

Клайд теребил карту и притворялся, будто разглядывает ее, как ему было велено, но увидел только то, что уже видел когда-то давно в Ликурге, перед самым своим отъездом в Фонду для встречи с Робертой. И вот теперь этим пользуются против него.

– Как же она проходит, эта дорога, скажите, пожалуйста? Будьте так любезны, скажите господам присяжным, откуда и куда она ведет?

И Клайд, издерганный, запуганный, чувствуя слабость во всем теле, ответил:

– От Лугового озера к Бухте Третьей мили.

– А что там по соседству, мимо каких мест она проходит?

– Мимо Ружейной. И все.

– А как насчет озера Большой Выпи? Разве дорога не проходит близко от его южной части?

– Да, сэр, проходит.

– Вы когда-нибудь видели или изучали эту карту, прежде чем поехали из Утики на Луговое озеро? – возбужденно и энергично добивался Мейсон.

– Нет, сэр, никогда.

– И не знали, что там есть эта дорога?

– Ну, может быть, я и видел ее, – ответил Клайд, – но если и видел, так не обратил на нее внимания.

– И уж, конечно, вы ни в коем случае не могли видеть и изучать этот справочник и эту дорогу до отъезда из Утики?

– Нет, сэр. Я его прежде никогда не видел.

– Понятно. Вы в этом совершенно уверены?

– Да, сэр, совершенно уверен.

– Ну так, помня свою торжественную присягу, которую вы столь глубоко чтите, объясните, если можете, мне или господам присяжным, откуда на этом путеводителе взялся штамп: «Привет из Ликурга – отель „Ликург“, штат Нью-Йорк»?

И, закрыв брошюрку, Мейсон показал Клайду сзади на обложке, среди остального красного шрифта, слабо оттиснутый красный штамп. А Клайд, впервые заметив штамп, в оцепенении уставился на него. Неестественно бледное лицо его снова посерело, тонкие пальцы судорожно сжимались и разжимались, красные, опухшие, усталые веки то и дело мигали, словно он ждал, не исчезнет ли возникшая перед его глазами проклятая неопровержимая улика.

– Не знаю, – упавшим голосом сказал он, помолчав. – Он, наверно, каким-то образом попал в киоск гостиницы «Ренфру».

– Вот как? А если я приведу двоих свидетелей, которые покажут под присягой, что третьего июля – за три дня до вашего отъезда из Ликурга в Фонду – они видели, как вы зашли в отель «Ликург» и взяли там четыре или пять путеводителей? Тогда вы тоже станете повторять, что он, наверно, каким-то образом попал в киоск гостиницы «Ренфру» шестого июля?

Мейсон замолчал и торжествующе посмотрел вокруг, словно хотел сказать: «Ну-ка, что ты на это ответишь!» И Клайд, потрясенный, помертвевший, задохнувшийся, добрую четверть минуты собирался с силами, прежде чем сумел настолько овладеть своими нервами и голосом, чтобы ответить.

– Да, наверно, так. Я не доставал его в Ликурге.

– Очень хорошо. Но пока дадим этим джентльменам взглянуть на него. – И Мейсон передал путеводитель старшине присяжных, а тот, в свою очередь, передал брошюрку своему соседу, и она стала переходить от присяжного к присяжному. А по всему залу суда тем временем поднялся взволнованный шепот и гул голосов.

И когда все присяжные осмотрели путеводитель, – к большому удивлению публики, ждавшей новых и новых непрерывных атак и разоблачений, – Мейсон заявил:

– Народ закончил.

И сразу же многие в зале суда стали шептать друг другу: «Попался! Попался!» Судья Оберуолцер тотчас объявил, что, ввиду позднего времени, а также принимая во внимание предстоящий допрос ряда дополнительных свидетелей со стороны защиты и нескольких со стороны обвинения, он считает разумным на сегодня закончить работу суда. И Белнеп и Мейсон с радостью согласились. Публику не выпускали из зала, пока Клайда не провели через площадь в тюрьму, в его камеру. Под охраной Сиссела и Краута он вышел через ту самую дверь и спустился по той самой лестнице, которые много дней назад были замечены им и навели его на размышления… Когда Клайда увели, Белнеп и Джефсон посмотрели друг на друга, но не обменялись ни словом, пока не укрылись в своей надежно запертой конторе.

– Не хватило выдержки. Лучшая система защиты, какая была возможна, но мало храбрости. Он на это не способен, и все тут, – начал Белнеп.

Джефсон, не сняв пальто и шляпы, тяжело опустился на стул.

– Нет, тут, несомненно, дело серьезное, – сказал он. – Должно быть, он действительно ее убил. Но, по-моему, теперь мы не можем удрать с корабля. А он в конце концов вел себя даже лучше, чем я ожидал.

– Ну, черт возьми, я в заключительной речи буду лезть из кожи вон, – отозвался Белнеп. – Это все, что я могу сделать.

И Джефсон ответил с ноткой усталости в голосе:

– Правильно, Элвин, теперь, к сожалению, это ложится плавным образом на вас. А пока что я, пожалуй, схожу в тюрьму и постараюсь его немножко подбодрить. Не годится, чтобы он завтра выглядел мокрой курицей. Он не должен вешать носа. Пускай присяжные видят, что сам он не чувствует себя виновным, что бы они там ни думали.

Он поднялся, засунул руки в карманы своего долгополого пальто и сквозь зимнюю холодную тьму зашагал по угрюмым улицам к Клайду.

Глава 26

Остальная часть процесса прошла в допросе одиннадцати свидетелей: четырех со стороны Мейсона и семи со стороны защиты. В числе последних был доктор А.К.Суорд из Риобета, который случайно оказался на озере Большой Выпи в тот день, когда тело Роберты доставили на лодочную станцию. Он показал, что осмотрел тогда тело и что кровоподтеки на лице, судя по их

тогдашнему виду, были похожи на следы именно случайного удара, в чем признался Клайд, – и, бесспорно, мисс Олден утонула, находясь в сознании, а не будучи оглушенной, как уверяет присяжных обвиняющая сторона. Выслушав это заключение, Мейсон занялся профессиональным прошлым господина медика, которое, увы, оказалось вовсе не столь солидным: доктор Суорд окончил второразрядную медицинскую школу в Оклахоме и с тех пор практиковал где-то в провинциальном городке. Вслед за ним появился свидетель Сэмюэл Ирсли, фермер из окрестностей станции Ружейной, постоянно ездивший по дороге, по которой тело Роберты везли с озера Большой Выпи на станцию. Ни словом не касаясь обвинения, предъявленного Клайду, он с глубоким убеждением заявил, что дорога эта, как он заметил, проезжая по ней в то утро, когда перевозили тело, была совсем плоха, вся в ухабах. Таким образом Белнеп, который вел допрос, получил возможность указать, что состояние дороги могло в какой-то мере усугубить серьезность ушибов на лице и голове Роберты. Однако позднее это показание было опровергнуто свидетелем со стороны Мейсона, – это был не более и не менее как кучер фирмы «Братья Луц», который столь же убежденно клялся, что нигде на дороге не видел никаких выбоин и ухабов. Далее, Лигет и Уигэм показали, что, насколько они могли заметить и судить, Клайд при исполнении своих служебных обязанностей на фабрике Грифитсов всегда был усерден, аккуратен и исполнителен. В деловом отношении они считали его безупречным. Затем еще несколько менее значительных свидетелей показали, что, по их наблюдениям, Клайд всегда вел себя в обществе очень благопристойно, осмотрительно и сдержанно. Они не замечали за ним ничего дурного. Но, увы, как быстро выяснил Мейсон при перекрестном допросе, они никогда не слыхали о Роберте Олден, о ее несчастье или хотя бы о том, что Клайд с нею знаком.

Наконец, после того как обе стороны по мере сил постарались подкрепить и обосновать или опровергнуть массу опасных и трудных мелочей, для Белнепа настал час сказать последнее слово в защиту Клайда. Он потратил на это целый день: с величайшей тщательностью, в духе своей вступительной речи, он вновь подчеркнул все доказательства того, как наивно и простодушно, почти бессознательно, Клайд завязал вначале знакомство с Робертой, окончившееся для обоих столь трагически. Умственное и нравственное малодушие, повторил Белнеп, возросшее под влиянием различных неблагоприятных обстоятельств в детстве и юности, вместе с открытием новых счастливых возможностей, о каких Клайд прежде не мог и мечтать, – вот что губительно подействовало на его «быть может, слишком неустойчивую, чувственную, непрактичную и мечтательную натуру». Без сомнения, он нечестно поступил с мисс Олден. Спору нет. Поступил нечестно. Но с другой стороны, – и это со всей очевидностью подтверждается теми признаниями, которые он сделал, когда его допрашивал защитник, – он в конечном счете вовсе не был таким жестоким негодяем, каким хочет выставить его обвинитель перед достопочтенными господами присяжными и публикой. Многие мужчины бывали гораздо более жестоки в делах любви, чем могло даже пригрезиться этому юноше, почти мальчику, – и, разумеется, отнюдь не всегда их за это вешали. Решая же с точки зрения закона вопрос о том, действительно ли этот мальчик совершил преступление, в котором его обвиняют, господа присяжные должны быть крайне осторожны: пусть благородное сочувствие к несчастной девушке, к страданиям, перенесенным ею из-за любовной связи с этим юношей, не окажет давления на господ присяжных и не заставит их поверить и заявить в своем решении, будто этот юноша действительно совершил преступление, указанное в обвинительном акте. Найдется ли такой мужчина или такая женщина, которые не бывали порою жестоки друг к другу в делах любви?

Далее, путем длительного и подробного анализа Белнеп постарался доказать, что против Клайда имеются одни лишь косвенные улики: ни один человек не видел и не слышал, как именно произошло предполагаемое преступление, а между тем сам Клайд совершенно исчерпывающе объяснил, каким образом он оказался в столь необычайном положении. Эпизод с путеводителем, а также то, что Клайд забыл справиться о цене лодки на озере Большой Выпи, предусмотрительно закопал штатив и, наконец, оказавшись в воде так близко от Роберты, не пришел ей на помощь, – все это Белнеп отмел в сторону: по его словам, это было либо чистейшей случайностью, либо забывчивостью. Клайд не попытался спасти Роберту потому, что был ошеломлен, растерян, испуган и «проявил роковую, но не преступную нерешительность, как раз в ту минуту своей жизни, когда следовало быть решительным».

Поистине, это была сильная, хотя и казуистическая защитительная речь, отнюдь не лишенная достоинства и значительности.

А затем Мейсон, страстно убежденный, что Клайд – гнуснейший и хладнокровнейший убийца, потратил целый день на то, чтобы распутать «паутину лжи и необоснованных утверждений», которыми защита надеялась отвлечь внимание присяжных от неразрывной, неопровержимой цепи веских и основательных улик, доказывающих, что этот «совершенно взрослый мужчина» поистине – «злодей и убийца». Долгие часы Мейсон заново перебирал утверждения различных свидетелей. И еще часы он потратил на то, чтобы очернить Клайда и снова пересказать скорбную повесть страданий Роберты, так что опять едва не довел и присяжных и публику до слез. И Клайд, сидя между Белнепом и Джефсоном, решил про себя, что присяжные ни в коем случае не оправдают его ввиду всей этой массы столь искусно и трогательно представленных улик.

Потом Оберуолцер с высоты своего судейского кресла произнес напутственное слово присяжным:

– Джентльмены! В сущности, всякие улики являются в какой-то мере косвенными, будь то факты, указывающие на виновность, или показания очевидцев. Ведь и самые показания очевидцев зависят от обстановки.

Если какие-либо существенные факты данного дела противоречат вероятной виновности подсудимого и говорят в его пользу, ваш долг, джентльмены, принять эти факты во внимание.

Следует помнить, что улики не могут быть поставлены под сомнение и отвергнуты только потому, что они косвенные. Нередко они могут быть надежнее и достовернее, чем прямые улики.

Здесь много говорилось о мотивах преступления и об их значении в данном деле, но вам надлежит помнить, что определение этих мотивов отнюдь не необходимо и не существенно для вынесения обвинительного приговора. Мотивы эти могут иметь значение *обстоятельства*, помогающего *установить* наличие преступления, но доказывать существование их вовсе не обязательно.

Если присяжные придут к заключению, что Роберта Олден случайно, непроизвольно упала за борт и подсудимый не попытался ее спасти, это еще не означает виновности подсудимого, и тогда следует признать, что он не виновен. С другой стороны, если присяжные придут к заключению, что при данных обстоятельствах подсудимый тем или иным путем преднамеренно вызвал эту роковую случайность или способствовал ей, нанеся Роберте Олден удар или как-либо иначе, тогда следует признать его виновным.

Я не настаиваю, чтобы вы обязательно вынесли единогласное решение, но я советовал бы каждому из вас не проявлять чрезмерного упорства и несговорчивости, если по тщательном размышлении он найдет, что заблуждался.

Так торжественно и поучительно судья Оберуолцер напутствовал присяжных с высоты судейского кресла.

Когда он закончил – ровно в пять часов дня, – присяжные поднялись и проследовали на совещание. И сразу же, прежде чем публике разрешено было покинуть зал суда, Клайда снова отвели в тюрьму: шериф все время опасался, как бы подсудимый не подвергся нападению. Пять долгих часов Клайд провел в ожидании: он то шагал взад и вперед, взад и вперед по своей камере, то делал вид, что читает или отдыхает; а Краут и Сиссел, которым различные репортеры дали «на чай», чтобы получить сведения о том, как он все это переносит, втихомолку старались держаться поближе и наблюдали за ним.

А тем временем судья Оберуолцер, Мейсон, Белнеп и Джефсон со своими помощниками и друзьями обедали в разных концах бриджбургского отеля «Сентрал» и, потягивая вино, чтобы успокоить свое нетерпение, ждали, пока присяжные договорятся между собою; и все от души желали, чтобы приговор, каким бы он ни оказался, был вынесен поскорее.

А тем временем двенадцать человек – фермеры, клерки, торговцы – для очистки совести стали вновь перебирать и обсуждать каждую мелочь, о которой говорили Мейсон, Белнеп и Джефсон. Но из всех двенадцати лишь один

– аптекарь Сэмюэл Апхем (он был политическим противником Мейсона, и притом на него произвел большое впечатление Джефсон) – сочувствовал Белнепу и Джефсону. Поэтому он делал вид, что сомневается в непреложности доводов Мейсона, пока, наконец, проголосовав пять раз кряду и не достигнув единодушия, остальные не пригрозили ему разоблачением и всеобщим возмущением и издевательствами, которых не миновать, если присяжные замешкаются с приговором.

– Мы вас выведем на чистую воду, так и знайте! Так просто вы не отделаетесь. Публика в точности узнает, какие у вас взгляды на этот счет!

И Апхем, у которого был недурной аптекарский магазин в Северном Мэнсфилде, счел за благо спрятать в карман свое несогласие с Мейсоном и присоединиться к общему мнению.

А затем – четыре глухих удара в дверь, ведущую из комнаты для совещаний в зал суда. Это стучал своим громадным кулаком старшина присяжных Фостер Ленд, торговец цементом и известью. И сотни людей, заполнивших после обеда жаркий, душный зал (многие, впрочем, и не уходили обедать), стряхнули с себя охватившее их оцепенение.

– Что такое? Что случилось? Присяжные вернулись с решением? Какой приговор?

И вся публика – мужчины, женщины, дети – подалась ближе к барьеру. А два пристава у двери откликнулись на стук:

– Ладно, ладно! Сейчас придет судья!

Другие пристава поспешили через площадь в тюрьму, чтобы известить шерифа и доставить Клайда в суд, третьи – в отель «Сентрал» вызвать Оберуолцера и остальных. Клайд, ошеломленный, оцепеневший от полного одиночества и убийственной неизвестности, был прикован наручниками к Крауту и отведен в суд под охраной Слэка, Сиссела и прочих. Оберуолцер, Мейсон, Белнеп и Джефсон и многочисленные репортеры, художники, фотографы вошли в зал и разместились в том же порядке, как и все эти долгие недели. Клайд мигал и щурился, усаживаясь на этот раз не между Белнепом и Джефсоном, как прежде, а позади них: прочно прикованный к Крауту, он должен был сидеть рядом с ним. Как только Оберуолцер и клерк

заняли свои места, дверь комнаты присяжных распахнулась и торжественно вошли двенадцать человек – странные, разнохарактерные фигуры в грубых, по большей части изрядно поношенных костюмах. Все они уселись на скамье присяжных, но тотчас снова поднялись, услышав вопрос клерка:

– Господа присяжные заседатели, готово ли ваше решение?

Никто из присяжных ни разу не взглянул в сторону Белнепа, Джефсона и Клайда, и Белнеп сразу понял, что в этом заключен роковой смысл.

– Сорвалось, – шепнул он Джефсону. – Не в нашу пользу. Ясно.

И тут Ленд объявил:

– Да, мы вынесли решение. Мы признаем подсудимого виновным в убийстве с заранее обдуманным намерением.

Клайд, совершенно ошеломленный, все же постарался сохранить самообладание и внешнее спокойствие и не мигая смотрел прямо перед собой, на присяжных, или, вернее, поверх них. Ведь только прошлой ночью в тюрьме Джефсон, застав его совершенно подавленным, сказал ему, что приговор этого суда, если даже он и будет неблагоприятным, не имеет значения. Все разбирательство с начала и до конца было пристрастным. Предубеждение и несправедливость определяли в нем каждый шаг. Любая высшая инстанция признает недопустимыми и незаконными одергивания, угрозы и инсинуации, которые позволял себе Мейсон на суде. Будет подана апелляция, после чего, безусловно, назначат новое разбирательство дела (впрочем, Джефсон предпочел не вдаваться в рассуждения о том, кто именно подаст эту апелляцию).

И теперь, вспоминая объяснения Джефсона, Клайд говорил себе, что, пожалуй, этот приговор и в самом деле не имеет особенного значения… Не может иметь, правда же! Или… Подумать только, что означают вот эти слова, если нельзя будет добиться пересмотра дела! Смерть! Это решение присяжных означало бы смерть, если бы оно было окончательным… а может быть, оно и есть окончательное. И тогда ему придется сесть на *тот* стул,

– это видение преследовало его уже давно, много дней и ночей, и у Клайда не хватало сил его отогнать. И сейчас ему снова привиделся этот ужасный, отвратительный стул, только ближе и больше, чем прежде: он был здесь, перед Клайдом, на полпути между ним и судьей Оберуолцером… Клайд ясно видел его: массивный, прочные ручки, широкая прочная спинка, по бокам и сверху ремни… Господи! Что, если никто ему не поможет! Вдруг Грифитсы не пожелают нести новые расходы… Подумать только! Или суд второй инстанции, о котором говорили Белнеп и Джефсон, отвергнет его апелляцию. И тогда решение присяжных станет окончательным. Конец! Конец! Господи! У Клайда застучали зубы, но он тотчас заметил это и стиснул челюсти. К тому же в эту минуту поднялся Белнеп и потребовал поименного голосования присяжных, а Джефсон обернулся к Клайду и прошептал:

– Вы не волнуйтесь. Приговор не окончательный. Мы наверняка добьемся пересмотра.

А в это время каждый присяжный по очереди говорил свое «Да!» – и Клайд слушал их, а не Джефсона. Почему все они так подчеркивают это «да»? Неужели ни один из них не подумал, что, вопреки всем речам Мейсона, Клайд мог ударить Роберту нечаянно? Неужели ни один не поверил хотя бы наполовину в пережитый им, по утверждению Белнепа и Джефсона, душевный переворот? Он смотрел на них. Все они, и высокие и низенькие, походили на почерневшие деревянные игрушки с темными или желтоватыми, как старая слоновая кость, руками и лицами. Потом он подумал о матери. Она обо всем узнает, ведь столько репортеров, художников, фотографов собралось здесь, чтобы услышать приговор. А что теперь подумают Грифитсы – его дядя и Гилберт? А Сондра? Сондра! От нее – ни слова. А ведь здесь, на суде, он все время открыто говорил – и Белнеп и Джефсон поощряли его – о властной, неодолимой страсти к Сондре, о страсти, которая одна была истинной причиной всего совершившегося? И вот – ни слова. И теперь она, уж конечно, не напишет ему ни строчки, а ведь она готова была выйти за него замуж и все ему отдать!

Однако толпа вокруг была безмолвна, хотя и ощущала глубокое удовлетворение, – или, быть может, именно поэтому. Не вывернулся, паршивец! Не удалось ему провести двенадцать здравомыслящих людей, представителей всего округа, своим вздором насчет нравственного переворота! Экая чушь!

Джефсон в это время сидел, неподвижно глядя прямо перед собой, а Белнеп, чье энергичное лицо явственно выражало презрение и вызов, возбуждал все новые ходатайства. Мейсон, Бэрлей, Ньюком и Редмонд едва прикрывали маской сверхъестественной суровости свое величайшее удовлетворение. Белнеп попросил отсрочить оглашение приговора на неделю, до следующей пятницы – тогда ему лично будет удобнее при этом присутствовать, – но судья Оберуолцер ответил, что не может согласиться, если ему не представят для этого серьезных оснований. Однако завтра он готов, если угодно защитникам, выслушать их доводы. В случае, если они окажутся убедительными, он отложит оглашение приговора, если же нет – приговор будет объявлен в ближайший понедельник.

И, однако, Клайда сейчас не занимали эти пререкания. Он думал о матери, о том, что она подумает и почувствует. Он постоянно писал ей все это время и упорно повторял, что не виновен: пусть она не верит тому, что читает о нем в газетах, – это просто басни. Он, безусловно, будет оправдан. Он сам будет свидетельствовать в свою пользу. А теперь… теперь… Ему так недостает ее теперь, так недостает… Все, решительно все покинули его. Он так страшно, бесконечно одинок. Надо поскорее написать ей. Скорее. Скорее. И, попросив у Джефсона листок бумаги и карандаш, он написал: «Миссис Грифитс, миссия „Звезда упования“, Денвер, Колорадо. Дорогая мама, я осужден. Клайд». Он протянул листок Джефсону и тревожно и жалобно спросил, нельзя ли сейчас же послать телеграмму.

– Ну конечно, дружок, сейчас пошлем, – ответил Джефсон, тронутый его несчастным видом, и, поманив стоявшего поблизости рассыльного, вручил ему листок и деньги на отправку телеграммы.

Потом двери для публики были заперты, и Клайда в сопровождении Краута и Сиссела вывели из суда через боковую дверь – дорогой, которой он когда-то надеялся ускользнуть. И представители печати, и публика, и присяжные, продолжавшие сидеть на своих местах, – все глазели на него, как будто они еще не насмотрелись на него вдосталь и непременно должны были уставиться ему в лицо, чтобы видеть, как он принял приговор. Зная, насколько публика враждебна Клайду, судья Оберуолцер по просьбе Слэка не закрывал заседания суда, пока ему не сообщили, что Клайд уже снова заперт в своей камере; только тогда двери зала суда вновь открылись. Толпа кинулась к выходу, но задержалась здесь, ожидая, пока выйдет Мейсон, ибо из всех, кто был причастен к этому делу, именно Мейсон оказался настоящим героем: он покарал Клайда, отомстил за Роберту! Но сперва появился не он, а Белнеп и Джефсон, и вид у них был не столько угнетенный, сколько суровый и презрительный, – особенно вызывающе и пренебрежительно смотрел Джефсон.

– А все-таки не удалось вам его вытащить! – крикнул кто-то из толпы.

И Джефсон, пожав плечами, ответил:

– Пока нет, но есть еще закон и за пределами этого округа.

И тотчас появился Мейсон; на плечи его было накинуто тяжелое мешковатое пальто, поношенная мягкая шляпа надвинута на глаза; за ним, как королевская свита, следовали Бэрлей, Хейт, Ньюком и прочие. Он шагал, словно совершенно не замечая лестного внимания ожидавшей его толпы. Ведь он был победитель, избранный судья округа! И мгновенно с приветственными возгласами его вплотную окружила возбужденная человеческая масса; те, кто оказался поближе, старались пожать ему руку или в знак благодарности хлопнуть по плечу.

– Ура Орвилу! Молодчина, судья! (Все уже привыкли к его новому званию.) Ей-богу, Орвил Мейсон, вы заслужили благодарность всего округа! Ура! Браво! Трижды ура Орвилу Мейсону!

И толпа разразилась троекратным громовым «ура». Клайд в своей камере услышал крики и хорошо понял, что это означает.

Они приветствуют Мейсона за то, что он добился обвинительного приговора. В этой громадной толпе нет ни одного человека, который не считал бы Клайда полностью виновным. Роберта… ее письма… ее твердое решение непременно заставить его обвенчаться с нею… и безмерная боязнь огласки… вот что привело его к этому. Осуждение. Быть может, смерть. Он утратил все, чего так жаждал, чем мечтал обладать. И Сондру! Сондра! Ни слова от нее! Ни слова! И, опасаясь, что Краут, Сиссел или еще кто-нибудь, возможно, следят за ним, – ведь они готовы даже теперь сообщать о каждом его движении, – и не желая показать, как велики в действительности его уныние и отчаяние, Клайд сел, взял в руки какой-то журнал и сделал вид, что читает… но смотрел он куда-то вдаль, сквозь страницы, и видел не их, а мать, брата и сестер, ликургских Грифитсов – всех, кого знал… Под конец ему стало невмочь от этих призрачных теней, он поднялся и, скинув одежду, забрался на свою железную койку.

Осужден! Осужден! Так, значит, надо умереть! Господи! Но какое счастье, что можно зарыться лицом в подушку, чтобы никто не мог увидеть его, как бы ни были справедливы их догадки!

Глава 27

Безрадостны плоды ожесточенной борьбы и жестокого поражения: столь суровое истолкование трагедии местным судом внушило всему народу от океана до океана непоколебимое убеждение, что Клайд действительно виновен и, как повсеместно возвестили газеты, осужден по заслугам. Бедная девушка, жертва злодейского убийства! Как печальны ее письма! Сколько она выстрадала! И что за жалкая защита! Даже денверские Грифитсы во время процесса были настолько потрясены множеством улик, что не осмеливались открыто читать газеты друг другу, но чаще всего читали их порознь, в одиночку, а после перешептывались о том, как ужасен этот убийственный ливень, этот поток косвенных улик. Но потом, прочитав речь Белнепа и свидетельские показания Клайда, маленькая семья, которая так долго жила одним чувством и одной мыслью, воспрянула духом и на время поверила в своего сына и брата, наперекор всему, что до тех пор пришлось прочитать о нем в газетах. Поэтому на

всем протяжении процесса, до самого его конца, они писали Клайду бодрые письма, исполненные надежды (основанной главным образом на письмах самого Клайда, в которых он снова и снова повторял, что не виновен). Но едва он был осужден и из пучины отчаяния телеграфировал матери – и газеты подтвердили приговор, – безмерный ужас охватил всю семью. Ведь это – доказательство, что он виновен? Разве не так? Видимо, таково мнение всех газет. К миссис Грифитс ринулись репортеры; она попыталась вместе со своим маленьким выводком укрыться от невыносимой известности на глухой окраине Денвера, совсем не связанной с тем миром, с которым ей приходилось соприкасаться во время миссионерской деятельности. Подкупленный служащий фирмы по перевозке вещей раскрыл ее новый адрес.

И вот эта американка, свидетельница того, как правит господь бог делами мирскими, сидит в своем жалком, убогом жилище, почти не имея средств к существованию; гнетущие силы бытия, свирепые и беспощадные удары судьбы обрушились на нее, но она непоколебима в своей вере.

– Сейчас я не могу думать, – заявляет она. – Я словно оцепенела, и все кажется мне непонятным. Моего мальчика признали виновным в убийстве! Но я

– его мать, и я отнюдь не убеждена в его виновности! Он писал мне, что не виновен, и я верю ему. Кому же, как не мне, мог он высказать правду? От кого другого мог ждать веры своим словам? Но есть еще господь, он все видит, и ему все ведомо.

И все же многое в нескончаемом потоке улик, вместе с воспоминанием о первой безрассудной выходке Клайда в Канзас-Сити, заставляло ее недоумевать – и страшило. Почему он не сумел объяснить, что произошло с этим путеводителем? Почему не пришел на помощь девушке, раз он так хорошо плавает? Почему он так заторопился к этой таинственной мисс X, кто бы она ни была? Нет, конечно, конечно, ее не заставят поверить наперекор глубокому ее убеждению, что ее старший сын, самый беспокойный, но и самый честолюбивый и самый многообещающий из всех ее детей, повинен в таком преступлении! Нет! Она не сомневается в нем даже теперь. Велико милосердие бога живого – и не совершит ли мать зла, поверив злу о чаде своем, как бы ужасны ни казались его заблуждения? Пока любопытные и докучливые посетители не заставили ее переехать, бросить миссию, сколько раз останавливалась она посреди какой-нибудь жалкой комнатушки, прервав уборку, и застывала в тишине, не опасаясь соглядатаев… Она стояла, закинув голову, сомкнув веки, черты ее энергичного смуглого лица были некрасивы, но дышали суровой прямотой и искренним убеждением – облик, выхваченный из далеких библейских времен, в мире, постаревшем на шесть тысячелетий, – и ревностно устремляла все мысли к воображаемому престолу, на котором, представлялось ей, восседал во плоти живой гигантский дух ее живого бога-творца. И она молилась по четверти часа, по получасу, чтобы он даровал ей силу и понимание и открыл ей, виновен ли или невинен ее сын. Если невинен, да будет снято с него и с нее и со всех, кто дорог им обоим, бремя жгучих страданий; если же виновен, да вразумит ее господь, что делать, как перенести такое горе, а Клайда – как навеки омыть свою душу от совершенного им ужасного греха, как – если это возможно – вновь очиститься перед всевышним.

– Ты всемогущ, господи, и ты един, и нет для тебя невозможного. В твоем благоволении вся жизнь. Будь милосерд, господи! Если грехи его как пурпур, убели их как снег, и если они как кровь, убели их как руно.

Но и в те минуты, когда она молилась, она обладала мудростью Евы в отношении к дочерям Евы. А что же девушка, которую будто бы убил Клайд? Разве она не согрешила тоже? И разве не была она старше Клайда? Так писали в газетах. Внимательно, строчку за строчкой читая письма Роберты, она была глубоко тронута ими, всей душой скорбела о несчастье, постигшем Олденов. И все же, как мать и как женщина, наделенная извечной мудростью Евы, она понимала, что Роберта сама согласилась на грех, что в ней таился соблазн, который способствовал слабости и падению Клайда. Стойкая, добродетельная девушка никогда бы не согласилась – не могла бы согласиться. Сколько признаний в таком же прегрешении выслушала она в миссии и на уличных молитвенных собраниях! Разве не может быть сказано в защиту ее сына, как в начале бытия, в садах Эдема: «Жена соблазнила меня»?

Поистине так… а потому…

«Ибо вовек милость его», – процитировала она. И если господне милосердие безгранично, неужели менее милосердной может быть к Клайду она, мать?

«Если вы будете иметь веру с горчичное зерно…» – снова процитировала она про себя и затем обратилась к неотвязным, ворвавшимся к ней репортерам:

– Правда ли, что мой сын ее убил? Вот в чем вопрос. Одно лишь это имеет значение в глазах создателя. – И она посмотрела на бесчувственных, видавших виды молодых газетчиков, как человек, убежденный в том, что бог просветит их. И даже на них произвели впечатление ее глубокая искренность и вера. – Признали его присяжные виновным или невиновным, – это суета в глазах того, кто держит звезды в руке своей. Присяжные – только люди, и решение их – мирское, человеческое. Я читала речь защитника. Мой сын сам говорил мне в письмах, что не виновен. Я верю своему сыну. Я убеждена, что он невинен.

А Эйса почти все это время молчал, забившись в дальний угол комнаты. Ему не хватало знания жизни, он понятия не имел о властной и неумолимой силе страстей, а потому не способен был уловить и осмыслить даже десятой доли случившегося. Он никогда не понимал Клайда, его неудовлетворенности, его пылкого воображения, сказал он, и потому предпочитает не обсуждать его поступки.

– Но я никогда не оправдывала Клайда в его грехе против Роберты Олден,

– продолжала миссис Грифитс. – Он поступил дурно, однако и она тоже поступила дурно, ибо не противилась ему. Нельзя мириться с грехом, кто бы его ни совершил. Душа моя полна сочувствия и любви к ее несчастным родителям, чьи исстрадавшиеся сердца обливаются кровью. И, однако, нельзя упускать из виду, что в грехе повинны оба – не один мой сын. Люди должны знать это и сообразно с этим судить. Я вовсе не хочу его оправдывать, – повторила она. – Ему следовало лучше помнить все, чему его учили с детства. – И тут ее губы сжались скорбно и укоризненно. – Но я читала и ее письма. И я знаю: если бы не они, прокурор не мог бы обвинить моего сына. Он воспользовался ими, чтобы повлиять на чувства присяжных. – Она поднялась, словно сжигаемая мучительным огнем, и воскликнула в прекрасном порыве: – Но он мой сын! Он только что выслушал свой приговор. И я, мать, должна думать о том, чтобы ему помочь, как бы я ни относилась к его прегрешению. – Она стиснула руки, и даже репортеры были тронуты ее горем.

– Я должна поехать к нему! Мне надо было еще прежде поехать, теперь я понимаю…

Она замолчала, спохватившись, что перед нею – уши и голос толпы, люди, которым совершенно непонятны и глубоко безразличны ее сокровенные муки, ее страдания и опасения.

– Многих удивляет, – вставил один из репортеров, весьма практический и внутренне очерствевший юноша, ровесник Клайда, – почему вы не присутствовали на процессе. У вас не было денег, чтобы туда поехать?

– Да, не было денег, – просто ответила она. – Во всяком случае, слишком мало. И, кроме того, мне не советовали приезжать, говорили, что я там не нужна. Но теперь… теперь я должна поехать, так или иначе, должна придумать, как это сделать. – Она подошла к жалкому столику, такому же убогому, как и вся скудная и бесцветная обстановка этой комнаты. – Вы сейчас пойдете в город, молодые люди, – сказала она. – Не возьмется ли кто-нибудь из вас отправить телеграмму? Денег я вам дам.

– Ну конечно! – воскликнул тот, кто задал ей самый бестактный вопрос. – Давайте ее мне. Денег не нужно. Я отправлю ее за счет газеты.

Он подумал, что перепишет телеграмму и вставит ее в свой отчет о визите к миссис Грифитс.

Она подсела к желтому, покрытому царапинами столу и, отыскав бумагу и перо, написала: «Клайд. Уповай на господа, для него все возможно. Немедля подай апелляцию. Читай псалом 50. Новый суд установит твою невиновность. Мы скоро к тебе приедем. Отец и мать».

– Пожалуй, лучше я все-таки дам вам денег, – сказала она; ее охватило беспокойство: хорошо ли позволять газете платить за телеграмму? И захочет ли дядя Клайда оплачивать издержки по апелляции? На это, должно быть, нужны большие деньги. – Телеграмма получилась длинная, – прибавила она.

– Да вы не беспокойтесь! – воскликнул еще один из этого трио (ему тоже хотелось поскорее прочесть телеграмму). – Пишите, что хотите, а отправить

– наше дело.

– Мне нужна копия, – резко и заносчиво потребовал третий, видя, что первый репортер взял у миссис Грифитс листок и уже сует его в карман. – Это не частная телеграмма. Я получу копию – от вас или от нее, сейчас же!

Услышав это, первый, чтобы избежать скандала, приближение которого почувствовала даже миссис Грифитс, вытащил из кармана записку, передал ее остальным, и они тут же стали снимать копии.

А в это самое время ликургских Грифитсов запросили, благоразумно ли, по их мнению, возбуждать новый процесс и как будет с издержками, и выяснилось, что они вовсе не считают, будто следует подавать апелляцию (во всяком случае, не за их счет!), и вообще отнюдь в ней не заинтересованы. Что это за пытка, и как все это гибельно сказывается если не на делах, то на положении в обществе! Каждый час – поистине Голгофа! Будущее Беллы, не говоря уже о положении Гилберта и самого Сэмюэла, загублено, разбито. И все потому, что оказалось выставленным напоказ это злодейское преступление, задуманное и

совершенное их кровным родственником! Сэмюэл Грифитс и его жена были просто раздавлены внезапной катастрофой, разразившейся как следствие пусть непрактичного и бессмысленного, но все же доброго поступка, в основе которого лежали наилучшие побуждения. А ведь долгий опыт жизненной борьбы научил Сэмюэла, что примешивать чувства к делам сумасбродно! До того часа, как он встретил Клайда, он никогда не позволял себе никакой чувствительности. Надо же было выдумать, будто отец несправедливо поступил с младшим братом! И вот что из этого вышло! Жене и дочери придется покинуть родные места, где прошли счастливейшие, безмятежные годы их жизни, и поселиться, словно изгнанницам, – быть может, навсегда, – в каком-нибудь предместье Бостона или еще где-нибудь… или вечно выносить сочувственные и назойливые взгляды окружающих! А сам он почти непрерывно с момента катастрофы обсуждал с Гилбертом, не слить ли предприятие на акционерных началах с какой-нибудь другой ликургской или иногородней фирмой или, может быть, перевести все дело (и не постепенно, а в самом срочном порядке), скажем, в Рочестер или Буффало, Бостон или Бруклин, где можно построить главную фабрику. Весь этот позор можно снести, только отказавшись от Ликурга и от всего, что с ним связано. Придется начинать жизнь заново, по крайней мере, заново создавать себе положение в обществе. Это не так уж важно для него самого и для его жены – ведь они уже почти отжили свой век. Но Белла, Гилберт, Майра… где и как теперь восстановить их доброе имя?

И, еще прежде чем закончился процесс, Сэмюэл и Гилберт решили перевести производство воротничков и рубашек в Южный Бостон, где они могли бы скромно оставаться в тени до тех пор, пока хотя бы отчасти не забудется эта несчастная и постыдная история.

Вот почему в дальнейшей помощи Клайду было отказано наотрез. И тогда Белнепу и Джефсону пришлось призадуматься. Ведь ясно, что их время, которое доныне было посвящено весьма успешной практике в Бриджбурге, надо расценивать на вес золота; многие дела, отложенные из-за необычайной срочности процесса Клайда, ожидали их внимания, и оба юриста отнюдь не были убеждены, что из деловых расчетов или филантропических побуждений они должны и могут позволить себе помогать Клайду и впредь, не надеясь на какое-либо вознаграждение. Совершенно очевидно, что издержки при подаче апелляции будут очень значительны. Протоколы суда огромны. Придется делать большие, дорогостоящие выдержки и конспекты, а отпускаемые на это государственные средства ничтожно малы. Однако, заявил Джефсон, нелепо предполагать, что западные Грифитсы совсем ничего не могут сделать. Ведь говорят же, что они долгие годы занимались религиозной и благотворительной деятельностью. Если им указать, как трагично теперь положение Клайда, быть может, они сумеют посредством всевозможных воззваний о помощи собрать средства хотя бы на то, чтобы покрыть расходы, связанные с подачей апелляции? Да, конечно, они до сих пор не помогали Клайду, но ведь в свое время мать предупредили, что ей нет надобности приезжать. Теперь – другое дело.

– Дадим ей телеграмму, пусть приедет, – предложил Джефсон. – Мы добьемся, чтобы Оберуолцер отложил оглашение приговора до десятого, если скажем, что она приезжает. И вот что: сперва просто предложим ей приехать, а если она ответит, что не может, тогда подумаем насчет денег. Но уж наверно она достанет на дорогу, а может быть, кое-что и на апелляцию.

Итак, были составлены и отосланы телеграмма и письмо, извещавшее миссис Грифитс, что хотя Клайду пока ни слова еще об этом не сказано, однако его ликургские родственники отказали ему на будущее в какой-либо помощи. Кроме того, приговор будет объявлен не позднее десятого числа, и ради душевного спокойствия Клайда необходимо, чтобы при этом был кто-нибудь из близких, лучше всего мать. Речь шла также о том, что следует изыскать средства на покрытие расходов по апелляции или хотя бы представить какие-то гарантии на этот счет.

И вот миссис Грифитс на коленях молит бога помочь ей. Ныне он должен явить свое всемогущество, свое неизменное милосердие. Откуда-то должны прийти просветление и помощь, иначе как достать денег на дорогу, не говоря уже о расходах на апелляцию?

Так она молилась, стоя на коленях, и вдруг – внезапная мысль. Газеты изводят ее, добиваясь интервью. Репортеры преследуют ее на каждом шагу. Почему она не поехала на помощь сыну? Что она думает о том и что об этом? Так почему бы, сказала она себе, не пойти к редактору какой-нибудь большой газеты из тех, что вечно осаждают ее расспросами, и не рассказать ему, в какой крайности она оказалась? Пусть редактор поможет ей вовремя поехать к сыну, так, чтобы она могла быть рядом с ним в день, когда будет прочитан приговор, – и она, мать, обещает сама написать обо всем в газету. Ведь репортеров посылают повсюду, даже в суд, – она об этом читала. Почему же не послать ее, мать Клайда? Разве не могла бы она все рассказать и написать? Разве не написано ею многое множество проповедей?

И она встала – лишь для того, чтобы снова опуститься на колени.

– Ты ответил мне, господи! – воскликнула она.

Снова поднявшись, она достала свое старое коричневое пальто, ужасную коричневую шляпу с завязками – порождение каких-то особых представлений о наряде, подобающем лицу, посвятившему себя религиозной деятельности, – и тотчас отправилась в редакцию самой большой и влиятельной денверской газеты. Процесс ее сына был так широко известен, что ее сейчас же провели к главному редактору. Необычайная посетительница очень заинтересовала его, и он выслушал ее сочувственно и уважительно. Он понял, каково ее положение, и сообразил, что согласиться – в интересах газеты. Он вышел и через несколько минут вернулся. Итак, она зачислена корреспондентом на три недели, о дальнейшем ее известят особо. Ее расходы на дорогу в

оба конца будут оплачены. Помощник, к которому он сейчас направит ее, разъяснит, как ей следует составлять и передавать корреспонденции. Он снабдит ее и некотором количеством наличных денег. Она может выехать уже сегодня вечером, если угодно: чем скорее, тем лучше. Для газеты желательно получить от нее перед отъездом несколько фотографий… Объясняя ей все это, редактор вдруг заметил, что глаза ее закрыты и голова откинута назад. Она благодарила бога, который так быстро внял ее молитве.

Глава 28

Бриджбург. В полночь восьмого декабря из почтового поезда на перрон вокзала выходит усталая, растерянная женщина. Резкий холод и яркие звезды. Одинокий дежурный в ответ на ее вопрос указывает ей путь к бриджбургскому отелю «Сентрал»: прямо по улице, начинающейся у вокзала, до первого поворота налево, и там еще два квартала. Заспанный ночной клерк тотчас отводит ей номер и, узнав, кто она, спешит объяснить, как пройти к окружной тюрьме. Но, пораздумав, она решает, что сейчас не время. Он, может быть, уже спит. И она ляжет спать, а завтра встанет чуть свет. Она телеграфировала ему несколько раз. Он знает, что она должна приехать.

Но уже в семь часов утра она на ногах, а в восемь с письмами, телеграммами, удостоверениями наготове, является в окружную тюрьму. И тюремное начальство, проверив ее документы, посылает предупредить Клайда о ее приезде. А он, подавленный, отчаявшийся, с радостью хватается за мысль об этой встрече, мысль, которая раньше приводила его в ужас. Потому что теперь многое изменилось. Страшная повесть была рассказана во всеуслышание. И благодаря разумной версии, разработанной для него Джефсоном, он теперь, пожалуй, сможет взглянуть матери в глаза и, не колеблясь, сказать, что это правда: у него не было намерения убивать Роберту, не по злому умыслу он дал ей утонуть. И вот он спешит в комнату для посетителей, где благодаря Слэку ему предоставлена возможность увидеться с матерью наедине.

Она встает навстречу, и он бросается к ней с немалой тревогой в смятенной своей душе и в то же время с уверенностью, что здесь он найдет опору, сострадание, а быть может, и помощь, не отравленную порицанием. И с усилием, словно что-то застряло в горле, у него вырывается:

– Ох, мама! Я так рад, что ты приехала!

Но она слишком взволнована, чтобы говорить, она только прижимает его к себе – своего мальчика, осужденного законом, кладет его голову себе на плечо, а сама устремляет взгляд к небу. Господь бог даровал ей эту милость. Быть может, он дарует и другие. Сын ее получит свободу – или хотя бы, назначено будет новое рассмотрение дела со справедливым разбором всех данных, говорящих в его пользу, чего ведь не было на этом суде. И так, не двигаясь, они стояли несколько мгновений.

Потом пошли рассказы о доме, о том, как ей удалось приехать, о ее обязанностях корреспондента: она должна проинтервьюировать его, а потом быть рядом с ним в час вынесения приговора… (Клайд вздрогнул при этих словах.) И дальше он услышал, что судьба его теперь целиком зависит от ее усилий. Ликургские Грифитсы из личных соображений решили больше не помогать ему. Но она, если только она сможет выступить перед людьми со справедливыми требованиями, – она еще может ему помочь. Ведь до сих пор господь не оставлял ее своей помощью. Но для того, чтобы она могла смело обратить мольбу к творцу и людям, нужно, чтобы он сейчас, здесь же, сказал ей всю правду – случайно или намеренно он ударил Роберту, невольно или умышленно дал ей погибнуть. Она читала его показания и его письма и отметила все уязвимые места в его рассказе о случившемся. Так правда или неправда то, что утверждал Мейсон?

Клайд, как и в былое время, почувствовал страх и стыд перед этой непоколебимой безукоризненной честностью, которую он никогда не мог понять до конца, но постарался заявить как можно тверже, хоть втайне и холодея, что все сказанное им под присягой – чистая правда. Он не совершал того, в чем его обвиняют. Не совершал! Но она, наблюдая за ним, с горечью отметила про себя, что в глазах у него что-то мелькнуло при этом – какая-то неуловимая тень.

В нем не чувствовалось той уверенности, того ясного и нерушимого сознания своей правоты, которых она ожидала, которые надеялась встретить. Нет, нет, во всей его повадке, в словах, которые он произносил, была какая-то едва заметная уклончивость, оттенок какой-то тревоги или сомнения, и при мысли об этом все замирало у нее внутри.

Ему не хватало твердости. Так, может быть, ее первые опасения были не напрасны, может быть, он и вправду замышлял это страшное дело, может быть, он и ударил девушку там, на глухом, пустынном озере? Кто знает! Как вынести жгучую и сокрушительную боль этой догадки! А ведь в показаниях своих он говорил совсем другое.

– Но – «Всевышний, ты не захочешь, чтобы мать усомнилась в сыне в самый страшный час своей и его жизни, чтобы она неверием своим подтвердила его смертный приговор! О нет, ты не потребуешь этого. Нет, нет, о агнец господень!» Она отвернулась; она раздавила пятой чешуйчатую голову ехидны подозрения; для нее оно было не менее страшно, чем для Клайда сознание вины. – «О Авессалом, мой Авессалом! Полно, полно, мы не допустим такой мысли. Сам великий господь не взыщет с материнского сердца». – Ведь вот он

– он, ее сын, – стоя перед нею, заявляет, что не совершал этого злодеяния. Она должна верить, она поверит ему безоговорочно. Должна и верит, хотя бы бес сомнения и притаился в уголке ее жалкой души. Полно, полно, люди должны услышать, что думает обо всем этом она, мать. Вдвоем с сыном они найдут выход. Он должен веровать и молиться. Есть у него Библия? Читает он ее? И Клайд, которого один из тюремных надзирателей давно уже снабдил Библией, поспешил успокоить мать: да, есть, и он читает.

А теперь она должна идти, нужно повидать адвокатов, затем отправить первую корреспонденцию, а потом она придет опять. Не успевает она, однако, выйти на улицу, как ее окружают репортеры и засыпают вопросами о цели и смысле ее приезда. Верит ли она в невиновность сына? Считает ли, что процесс велся справедливо и беспристрастно? Почему она до сих пор не приезжала? И миссис Грифитс с обычной своей прямотой, серьезностью и материнской задушевностью отвечает на все вопросы, объясняет, почему приехала теперь и почему не приезжала раньше.

Но раз уж она приехала, то так скоро не уедет. Господь укажет ей способ спасти жизнь сына, в невиновности которого она не сомневается. Может быть, и они попросят господа помочь ей? Может быть, помолятся за успех ее дела? И репортеры, тронутые и взволнованные, наперебой обещают ей помолиться, а потом описывают ее миллионам читателей такою, какой она была в ту минуту – средних лет, некрасивая, исполненная решимости и религиозного рвения, искренняя, серьезная и непоколебимо уверенная в невиновности своего сына.

Однако, когда это доходит до ликургских Грифитсов, они вне себя: ее приезд – еще новая неприятность! А Клайд в своей камере тоже читает газеты, правда, с некоторым опозданием, и хотя он болезненно воспринимает вульгарную огласку, которой подвергается теперь все, так или иначе связанное с ним, сознание, что мать здесь, близко, умиротворяет его, а немного спустя ему становится даже приятно. Ведь это же его мать, каковы бы ни были ее слабости и промахи! И она приехала, чтобы ему помочь. Пусть там думают, что хотят. Мать одна не оставила, не изменила, когда на него легла тень смерти. И разве не заслуживает всяческих похвал неожиданная находчивость, которую она проявила, связавшись с денверской газетой?

Раньше она не казалась способной на такие поступки. Кто знает, быть может, несмотря на горькую свою нищету, она сумеет разрешить проблему вторичного суда и спасти ему жизнь?! Кто знает?! А ведь как преступно равнодушен он бывал к ней подчас, как много, как глубоко он виноват перед нею!

А она все-таки поспешила к нему, мучится за него, и страдает, и любит, и ради его же блага собирается описывать для какой-то провинциальной газеты подробности его осуждения. Ее поношенное пальто и старомодная шляпка, ее широкое неподвижное лицо, неуклюжие, угловатые манеры уже не вызывали у него раздражения и стыда, как еще совсем недавно. Ведь это его мать, и она любит его, верит ему и борется за его спасение.

Зато Белнепа и Джефсона первая встреча с ней несколько обескуражила. Почему-то они не ожидали увидеть нечто до такой степени провинциальное и непросвещенное, хотя и столь уверенное в своей правоте. Эти тупоносые башмаки без каблуков. Эта невероятная шляпа. Это старое коричневое пальто. Но прошло несколько минут, и даже их заворожила серьезная простота ее речи, и сила ее веры и материнской любви, и прямой, вопрошающий взгляд ее чистых голубых глаз, в которых читалось непоколебимое убеждение и готовность жертвовать всем без оглядок и оговорок.

Верят ли они сами в то, что ее сын не виновен? Это ей нужно знать прежде всего. Или же втайне они считают его виновным? Все эти противоречивые показания замучили ее. Господь возложил тяжелый крест на плечи ее и ее близких. Но да святится имя его! И оба адвоката, видя и чувствуя ее великую тревогу, поспешили заверить ее, что не сомневаются в невиновности Клайда. Если его казнят за преступление, которого он не совершал, это будет страшная карикатура на правосудие.

И все же обоих во время этой беседы смущала мысль о материальной стороне дела, так как из ее рассказа о том, каким способом она приехала в Бриджбург, явствовало, что у нее ничего нет. Апелляция же, несомненно, должна стоить тысячи две, если не больше. Целый час они толковали с ней, перечисляя все статьи расхода – составление выписок, снятие копий, необходимые командировки, а миссис Грифитс только повторяла, что не знает, как быть. Потом вдруг, несколько неожиданно для своих собеседников, но с трогательной и волнующей силой она воскликнула:

– Господь не оставит меня! Я знаю. Он явил мне свою волю. Это его голос повелел мне обратиться в денверскую газету. И здесь я тоже положусь на него, и он меня направит.

Но Белнеп и Джефсон только переглядываются с недоверием и недоумением безбожников. Так верить! Да она одержимая! Или просто религиозная фанатичка. Но Джефсона вдруг осеняет идея. Религиозное чувство у публики – фактор, с которым приходится считаться, и такая исступленная вера всегда встретит отклик. Предположим, что ликургские Грифитсы будут упорствовать – что ж, тогда, раз уж она здесь, существуют ведь церкви и немалое количество верующих. Так нельзя ли использовать этот темперамент и эту силу веры для воздействия на те самые слои, которые до сих пор особенно решительно осуждали Клайда и способствовали вынесению сурового приговора,

– вызвать в них сочувствие и добыть от них необходимые средства?

Скорбящая мать! Ее вера в сына!

Скорей за работу!

Публичная лекция, столько-то за вход, и с лекторской эстрады мать, потрясенная своим явным для всех горем, попытается убедить враждебно настроенных слушателей в том, что дело ее сына – правое дело, и попробует добиться не только сочувствия, но и тех двух тысяч долларов, без которых нечего и думать о подаче апелляции.

И вот Джефсон посвящает ее в свой план и предлагает набросать текст лекции, используя материалы защиты, – все те данные, которые проливают истинный свет на дело ее сына, – а она вольна расположить и преподнести это публике по-своему. И у нее уже загораются глаза и смуглые щеки заливает краска: она согласна. Она попытается. Она обязана попытаться. Ибо разве это не господня длань протянулась к ней и не божий глас прозвучал в час беспросветного страдания?

На следующее утро Клайда привели в суд, чтобы объявить ему приговор, и миссис Грифитс с карандашом и блокнотом в руке заняла место рядом с ним, готовясь делать репортерские заметки об этой нестерпимо тягостной для нее сцены, происходящей на глазах у толпы, которая с любопытством ее разглядывала. Его родная мать! В роли репортера! В том, как они сидят рядом, во всей этой сцене есть что-то чрезмерно нелепое, бессердечное, даже противоестественное. И подумать только, что ликургские Грифитсы приходятся им ближайшей родней!

Но Клайда ее присутствие ободряет и поддерживает. Ведь вчера вечером она снова побывала в тюрьме и рассказала ему о своем плане. Сейчас же после объявления приговора – каков бы он ни был – она примется за дело.

И когда настает наконец этот самый страшный миг его жизни, он поднимается, почти машинально, и слушает монотонный голос судьи Оберуолцера, который излагает вкратце сущность обвинения и основные моменты процесса – по его мнению, вполне справедливого и беспристрастного. За этим следует обычный вопрос:

– Можете ли вы привести соображения, в силу которых объявление вам смертного приговора сейчас было бы противозаконно?

В ответ на это Клайд, к удивлению матери и всех присутствующих, кроме Джефсона, по чьему совету и подсказке он действует, твердым и ясным голосом произносит:

– Я не виновен в том преступлении, о котором говорится в обвинительном акте. Я не убивал Роберту Олден и потому считаю, что не заслужил такого приговора.

И устремляет в пространство невидящий взгляд, уловив только выражение восторга и любви в обращенных к нему глазах матери. Вот он, ее сын, высказался перед всеми этими людьми в роковую для него минуту. И, что бы ни почудилось ей там, в тюрьме, сказанное здесь не может не быть правдой. А значит, он не виновен. Не виновен. Не виновен. Да славится имя всевышнего! И она тут же решает особенно подчеркнуть это в своем сообщении (пусть все газеты напечатают его) и в своей лекции тоже.

Между тем Оберуолцер без тени удивления или замешательства продолжал:

– Имеете ли вы еще что-нибудь сказать?

– Нет, – после минутного колебания отвечал Клайд.

– Клайд Грифитс! – торжественно заключил тогда Оберуолцер. – Суд постановляет, что вы, Клайд Грифитс, виновны в преднамеренном убийстве некоей Роберты Олден, и настоящим приговаривает вас к смертной казни; суд далее определяет, что не позднее десяти дней после данного судебного заседания шериф округа Катараки передаст вас при должным образом засвидетельствованной копии решения суда начальнику и особоуполномоченному тюрьмы штата Нью-Йорк в Оберне, в каковой тюрьме вы будете содержаться в одиночном заключении до недели, начинающейся в понедельник 28 января 19.. года, после чего в один из дней указанной недели начальник и особоуполномоченный тюрьмы штата Нью-Йорк в Оберне предаст вас, Клайда Грифитса, казни в соответствии с законами и предписаниями, действующими в штате Нью-Йорк.

И как только приговор дочитан до конца, миссис Грифитс улыбается Клайду, и он отвечает ей улыбкой. Потому что, когда он здесь, – *здесь* – во всеуслышание заявил, что не виновен, она воспрянула духом, невзирая на приговор. Он в самом деле не виновен – иначе быть не может, раз он здесь сказал об этом. А Клайд, видя ее улыбку, говорит себе: да, мать в него верит. Ее

веры не поколебало все это нагромождение улик. А эта вера, даже если она покоилась на ошибке, так ободряла его, так была ему нужна. Теперь ему и самому казалось: то, что он сказал, – правда. Ведь он не ударил Роберту. Это-то правда. А значит, он не виновен. Но Краут и Слэк снова уводят его в тюрьму.

Между тем миссис Грифитс уселась за стол прессы и виновато объясняла столпившимся вокруг нее корреспондентам:

– Вы, господа журналисты, не осуждайте меня. Я в этом деле не много понимаю, но у меня не было другого способа приехать сюда и быть подле моего мальчика.

И тут один долговязый корреспондент протискивается поближе и говорит:

– Ничего, ничего, мамаша! Может, вам помочь чем-нибудь? Хотите, я выправлю то, что вы тут собираетесь написать? С удовольствием это сделаю.

И он подсаживается к ней и помогает изложить ее впечатления в той форме, которая представляется ему наиболее подходящей для денверской газеты. И другие тоже наперебой предлагают свои услуги, и все кругом растроганы.

Через два дня все необходимые бумаги были готовы – миссис Грифитс уведомили об этом, но сопровождать сына не разрешили, и Клайда перевезли в Оберн, западную тюрьму штата Нью-Йорк; здесь, в «Доме смерти», или «Каземате убийц» (так называлось это сооружение из двадцати двух камер, расположенных в два этажа), в мрачном аду, пытку которого, казалось, никакой смертный не в силах был вынести, ему предстояло дождаться либо решения о пересмотре дела, либо казни.

Поезд, везший его от Бриджбурга до Оберна, на каждой станции встречали толпы любопытных; старые и молодые, мужчины, женщины и дети – все стремились хоть одним глазком поглядеть на необыкновенного молодого убийцу. И бывало, что какая-нибудь женщина или девушка, у которой под видом участия скрывалось, в сущности, просто желание мимолетной близости с этим хоть неудачливым, но смелым романтическим героем, кидала ему цветок и громко и весело кричала вслед отходящему поезду: «Привет, Клайд! Мы еще увидимся», «Смотрите не засиживайтесь там!», «Подайте апелляцию, вас наверняка оправдают. Мы будем надеяться».

И Клайд, несколько удивляясь и даже радуясь этому лихорадочно-повышенному и, в сущности, нездоровому интересу, приятно неожиданному после настроения толпы в Бриджбурге, раскланивается, улыбается, а иной раз и машет рукой. Но все же его не покидает мысль: «Я на пути в Дом смерти, а они так дружелюбно приветствуют меня. Как это они решаются?» А Краут и Сиссел, его конвоиры, крайне горды сознанием, что именно им принадлежит двойная честь поимки и охраны столь важного преступника, и польщены необычным вниманием пассажиров в поезде и толп на перронах станций.

Но после коротких и ярких минут первой со дня ареста поездки по вольным просторам, мимо людных вокзалов, мимо освещенных зимним солнцем полей и снежных холмов, которые напомнили ему Ликург, Сондру, Роберту и весь калейдоскоп событий этого года, и такой роковой для него их конец, – серые, неприступные стены обернской тюрьмы, где угрюмый канцелярист, записав в книгу его имя и состав преступления, передал его двум надзирателям; ванна, и под ножницами парикмахера упали черные волнистые кудри, его краса и гордость; затем ему выдали полосатую тюремную одежду и премерзкую шапчонку из той же полосатой материи, тюремное белье и толстые серые войлочные туфли, благодаря которым не слышно, как мечутся иногда по камерам арестанты, – когда-нибудь и он будет так метаться, – и выдали номер: 77221.

Обрядив таким образом, его немедленно препроводили в самый Дом смерти и заперли там в одну из камер нижнего этажа – почти квадратное, восемь футов на десять, светлое, чистое помещение, где, кроме унитаза, находились еще железная койка, стол, стул и небольшая полка для книг. И, лишь смутно сознавая, что справа и слева от него, вдоль длинного коридора, тянутся еще ряды точно таких же камер, он сперва постоял, потом присел на стул и устало подумал о том, что более оживленная, более согретая человеческой близостью жизнь бриджбургской тюрьмы осталась позади, как и те странные, шумные встречи, которыми был отмечен его путь сюда.

Болезненное напряжение и мука этих часов! Смертный приговор, поездка и шумные, крикливые толпы на станциях; тюремная парикмахерская внизу, где парикмахер из заключенных остриг его; белье и платье, которое на него надели и которое теперь ему предстоит носить каждый день. Ни в камере, ни в коридоре не было зеркала, но все равно, он чувствует, какой у него вид. Эта мешковатая куртка и штаны, этот полосатый колпак. Клайд в отчаянии сорвал его и бросил на пол. Ведь всего только час назад на нем был приличный костюм, сорочка, галстук, ботинки, и, выезжая из Бриджбурга, он имел вполне пристойную и даже приятную внешность – так ему самому казалось. Но сейчас – на кого он стал похож! А завтра приедет его мать, а там, может быть, Джефсон и Белнеп. Боже!

Но это было еще не все. Он увидел, как в камере напротив худой, заморенный, страшный китаец, в такой же полосатой одежде, вплотную подошел к решетке и вперил в него загадочный взгляд своих раскосых глаз, но тут же отвернулся и стал яростно чесаться. «Может быть, вши?» – с ужасом подумал Клайд. В Бриджбурге ведь были клопы.

Китаец – убийца. Но ведь это Дом смерти. И здесь между ними нет никакой разницы. Даже одеты одинаково. Слава богу, посетители, видно, бывают редко. Мать говорила ему, что к заключенным почти никого не допускают, только раз в неделю смогут приходить она, Белнеп и Джефсон да еще священник, которого он сам укажет. А эти неумолимые, выкрашенные белой краской стены, – днем их, должно быть, ярко освещает солнце через стеклянную крышу здания, а ночью, вот как сейчас, электрические лампы из коридора – все совсем не так, как в Бриджбурге: гораздо больше света, яркого и беспощадного. Там тюрьма была старая, серо-бурые стены не отличались чистотой, камеры были просторные, более щедро обставленные, на столе порой появлялась скатерть, были книги, бумаги, шашки и шахматы, тогда как здесь… здесь ничего нет: только тесные, суровые стены, железные прутья решетки, доходящие до массивного, крепкого потолка, и эта тяжелая-тяжелая железная дверь с таким же, как в Бриджбурге, крошечным окошком для передачи пищи.

Но вот откуда-то раздается голос:

– Эй, ребята, у нас новенький! Нижний ярус, вторая камера по восточному ряду.

Ему откликнулся другой:

– Ей-богу? А на что он похож?

И сейчас же третий:

– Эй, новичок, как тебя звать? Не робей, мы тут все одного поля ягода.

И снова первый, в ответ второму:

– Да так, длинный, тощенький. Видать, маменькин сынок, но, в общем, ничего. Эй, ты, там! Как тебя звать?

Клайд сперва молчит – в раздумье, в недоумении. Как отнестись к подобной встрече? Что говорить, что делать? Стоит ли держаться с ними по-дружески? Но врожденный такт не покидает его даже здесь, и он спешит вежливо ответить:

– Клайд Грифитс.

И один из спрашивающих тотчас подхватывает:

– А, Грифитс! Слыхали, слыхали. Добро пожаловать, Грифитс! Мы не такие уж страшные, как кажется. Мы читали про твои бриджбургские дела. Так и думали, что скоро с тобой увидимся.

И еще новый голос:

– Не вешай носа, приятель! Не так уж здесь плохо. Как говорится: тепло и не дует.

И откуда-то слышен смех.

Но Клайду было не до разговоров; в тоске и страхе он оглядывал стены, дверь, потом перевел глаза на китайца, который, молча припав к своей двери, снова смотрел на него. Ужас! Ужас! И вот так они переговариваются между собой, так фамильярно встречают каждого новичка. Никакого внимания к его несчастью, к его растерянности перед новым, непривычным положением, к его мучительным переживаниям. А впрочем, кому придет в голову считать убийцу несчастным и растерянным? Страшней всего, что они тут заранее прикидывали, когда он попадет в их компанию, а это значит, что все обстоятельства его дела здесь известны. Может быть, его будут дразнить, изводить, пока не заставят вести себя, как им нравится. Если бы Сондра или кто-нибудь из прежних его знакомых мог видеть его здесь, мог хоть вообразить себе все это… Господи! А завтра сюда придет его родная мать!

Час спустя, когда уже совсем стемнело, высокий, мертвенно-бледный тюремщик в форменной одежде, менее оскорбительной для глаз, чем одежда заключенных, просунул в дверное окошечко железный поднос с едой. Ужин! Это ему. А тот худой, желтый китаец напротив уже получил и ест. Кого он убил? Как? И вот уже со всех сторон слышно, как скребут по жестяным тарелкам! Звуки, больше напоминающие кормление зверей, чем человеческую трапезу. А кое-откуда даже доносятся разговоры вперемежку с чавканьем и лязгом железа. Клайда стало мутить.

– А, дьявол! И чего они там, на кухне, ни черта не могут выдумать, кроме холодных бобов, жареной картошки и кофе?

– Ну, уж и кофе нынче! Вот когда я сидел в тюрьме в Буффало…

– Ладно, ладно, заткнись! – крикнули из другого угла. – Слыхали мы уже про тюрьму в Буффало и про тамошнюю шикарную жратву. Что-то не видать, чтоб ты здесь страдал отсутствием аппетита.

– Нет, правда, – продолжал первый голос, – даже вспомнить и то приятно. По крайней мере сейчас так кажется.

– Ох, Раферти, будет тебе! – крикнул еще кто-то.

А Раферти все не унимался:

– Вот теперь немножко отдохну после ужина, а потом скажу шоферу, чтоб подавал машину, – поеду прокатиться. Приятный вечерок сегодня.

Послышался новый, хриплый голос:

– А, пошел ты со своими бреднями! Вот я бы жизнь отдал, лишь бы курнуть. А потом перекинуться в картишки.

«Неужели они тут играют в карты?» – подумал Клайд.

– Пожалуй, Розенстайн теперь играть не будет, после того как продулся.

– Ты уверен? – Это, очевидно, отвечал Розенстайн.

Из камеры слева от Клайда чуть слышно, но отчетливо окликнули проходившего тюремщика:

– Эй! Из Олбани все ни слова?

– Ни слова, Герман.

– И писем тоже нет?

– И писем нет.

В вопросах звучали тревога, напряжение, тоска. Потом все стихло.

Минуту спустя донесся голос из дальнего угла, полный невыразимого, предельного отчаяния, точно голос из последнего круга ада:

– Боже мой! Боже мой!

Другой откликнулся с верхнего яруса:

– Ах ты, черт! Опять этот фермер начинает! Я не выдержу. Надзиратель! Дайте вы ему там чего-нибудь принять, ради бога.

И снова голос из последнего круга:

– Боже мой! Боже мой!

Клайд вскочил, судорожно сцепив руки. Нервы у него были натянуты, как струна, готовая лопнуть. Убийца! А теперь сам, должно быть, ждет смерти. И оплакивает свою скорбную участь, такую же, как и у него, Клайда. Стонет – как часто и он в Бридж бурте стонал, только про себя, не вслух. Плачет! Господи! А ведь он не один здесь такой, наверно!

И вот это предстоит изо дня в день, из ночи в ночь, пока, быть может… кто знает… если только не…

О нет, нет! Нет! С ним этого не будет… Нет, его день не придет. Нет, нет! Раньше чем через год это вообще не может случиться, так сказал Джефсон. Может быть, даже через два года. Но ведь все-таки!.. Через два года!!! Дрожь пробрала его при мысли о том, что так скоро, всего только через два года…

Та комната! Она тоже где-то здесь. Туда ведет ход прямо из этого помещения. Он знает, ему говорили. Там есть дверь. Открываешь, а за ней стул. *Тот стул*.

И снова прежний голос:

– Боже мой! Боже мой!

Клайд рухнул на постель и зажал руками уши.

Глава 29

Дом смерти в обернской тюрьме был одним из тех чудовищных порождений человеческой бесчувственности и глупости, настоящего виновника которых трудно бывает указать. Устройство этого дома и существовавший в нем распорядок явились следствием ряда отдельных правительственных актов, на которые постепенно наслаивались решения и постановления, выносившиеся различными начальниками в соответствии с темпераментом и прихотями каждого, причем ни один не давал себе труда думать над тем, что делает; в конце концов здесь подобрались и теперь применялись на практике все мыслимые образцы ненужной и, по существу, незаконной жестокости, нелепой, убийственной пытки. И все для того, чтобы человеку, осужденному на смерть, пришлось пережить тысячу казней еще до казни, предназначенной ему судебным приговором. Ибо самое расположение Дома смерти, равно как и режим, которому подчинялись его обитатели, невольно этому способствовали.

Это было сооружение из камня, бетона и стали – сорок футов в длину, тридцать в ширину и стеклянная крыша на высоте тридцати футов. По сравнению со старым, менее благоустроенным Домом смерти, который с ним граничил, в планировку было внесено усовершенствование: во всю длину шел широкий коридор, и по обе стороны его находились камеры, восемь на десять футов каждая; в первом этаже их было двенадцать: шесть справа, шесть слева, одна против другой. А над ними тянулась так называемая галерея – второй ярус камер, расположенных точно так же, только по пять с каждой стороны.

В центре главный коридор пересекался другим, поуже, делившим оба нижних ряда камер пополам; один его конец упирался в старый Дом смерти, как его называли (там теперь только принимали посетителей, являвшихся к смертникам), на другом находилась комната казней, где стоял электрический стул. Две из нижних камер, расположенные на перекрестке, были обращены в сторону комнаты казней. Из двух противоположных виден был другой конец узкого коридора и дверь, ведущая в старый Дом смерти, который при живом воображении можно было назвать приемной осужденных, так как там дважды в неделю происходили свидания с ближайшими родственниками или с адвокатом. Больше никто к смертникам не допускался.

Камеры старого Дома смерти (которые сохранились в прежнем виде и теперь использовались как часть приемной) расположены были в один ряд и только по одну сторону коридора; таким образом, заключенные не могли наблюдать друг за другом; кроме того, имелись особые зеленые занавеси, которые можно было задернуть перед каждой камерой. В прежнее время, когда заключенного приводили или уводили, или когда он шел на свою ежедневную прогулку, или же в баню, или когда его вели к маленькой железной двери в западном конце, где тогда находилась комната казней, – все занавеси бывали задернуты. Прочим заключенным не полагалось его видеть. Впоследствии, однако, решили, что старый Дом смерти, ввиду такой предусмотрительной изоляции заключенных, обрекающей их на полное одиночество, – учреждение недостаточно гуманное, и тогда был спроектирован и построен новый дом, более совершенный с точки зрения заботливых и сострадательных властей.

Здесь, правда, камеры были не такие тесные и мрачные, как в старом Доме с его низким потолком и первобытной санитарией; потолок здесь был высокий, в камерах и коридорах много света и сами камеры просторнее – не меньше, чем восемь футов на десять. Но огромным недостатком по сравнению со старым Домом было то, что вся жизнь заключенного протекала на глазах у других.

Кроме того, при таком сосредоточении всех камер в одном двухъярусном коридоре каждый заключенный должен был мучиться, поневоле становясь свидетелем чужих настроений – чужого гнева, бешенства, отчаяния, тоски. Никакой возможности остаться действительно одному. Днем – поток ослепительного света, беспрепятственно льющегося через стеклянную крышу. Ночью – яркие, сильные лампы, освещающие каждый угол, каждый закоулок камеры. Ни покоя, ни развлечений, кроме карт и шашек – единственных игр, в которые заключенные могли играть, не выходя из своих камер. Правда, для тех, кто способен был читать и находить удовольствие в чтении при таких обстоятельствах, оставались еще книги и газеты. И посещения духовных наставников: утром и вечером являлся католический священник; раввин и протестантский пастор, хотя и менее регулярно, тоже приходили для молитвы и утешения к тем, кто соглашался их слушать.

Но истинным проклятием этого места было то, что вопреки всем благим намерениям усовершенствователей создавалась эта постоянная и неизбежная близость между людьми, чье сознание затуманила и исказила неотвратимость надвигающейся смерти, для многих столь близкой, что они уже ощущали у себя на плече холод ее тяжелой руки. И никто, сколько ни храбрись, не мог уберечь себя от тех или иных проявлений распада личности под действием этой пытки. Уныние, безнадежность, безотчетные страхи, словно дуновения, носились по всему Дому, всех по очереди заражая ужасом или отчаянием. В самые неожиданные минуты все это находило выход в проклятиях, вздохах, даже в слезах; откуда-нибудь вдруг доносилась жалобная мольба: «Ради бога! Хоть бы спели что-нибудь!» – или просто раздавались вопли и стоны.

Но самые, быть может, нестерпимые мучения были связаны с поперечным коридором, соединявшим старый Дом смерти с комнатой казней. Ведь ему – увы, довольно часто! – приходилось служить подмостками для одной из сцен той трагедии, которая опять и опять совершалась в этих стенах, – трагедии казни.

Ибо по этому коридору осужденного накануне казни переводили из *благоустроенной* камеры нового здания, где он протомился год или два, в одну из камер старого Дома смерти, чтобы он мог провести свои предсмертные часы в тишине и одиночестве; в последнюю минуту, однако, он должен был совершить – на глазах у всех – обратный путь, все по тому же узкому коридору, в комнату казней, расположенную в другом его конце.

Отправляясь на свидание с адвокатом или с кем-нибудь из родных, тоже надо было пройти сначала по главному коридору, а затем по узкому поперечному до двери, ведущей в старый Дом смерти. Там заключенного вводили в камеру, и он мог наслаждаться беседой со своим гостем (женой, сыном, матерью, дочерью, братом, защитником), причем каждое слово этой беседы слышал надзиратель, сидевший между решеткой камеры и проволочной сеткой, натянутой в двух футах от нее. Ни рукопожатие, ни поцелуй, ни ласковое прикосновение, ни слово любви не могли укрыться от этого стража. И когда для одного из заключенных наступал роковой час, все остальные – угрюмые и добродушные, чувствительные и толстокожие – если не по чьей-то злой воле, то в силу обстоятельств должны были наблюдать все заключительные приготовления: перевод осужденного в одну из камер старого Дома, последнюю скорбную встречу с матерью, сыном, дочерью, отцом.

И никто из занимавшихся планировкой здания и установлением порядков в нем не подумал, на какие ненужные, неоправданные мучения они обрекали тех, кому приходилось отсиживать здесь долгие месяцы в ожидании решений высшего апелляционного суда.

Первое время, разумеется, Клайд ничего этого не замечал. В свой первый день в обернской тюрьме он только пригубил горькую чашу. А назавтра, к облегчению или усугублению его страданий, приехала мать. Не получив разрешения сопровождать его, она задержалась, чтобы еще раз посовещаться с Белнепом и Джефсоном и написать подробный отчет о своих впечатлениях, связанных с отъездом сына. (Сколько жгучей боли таилось в этих впечатлениях!) И как ни заботила ее необходимость подыскать комнату поближе к тюрьме, все же по приезде она сразу поспешила в тюремную канцелярию, предъявила распоряжение судьи Оберуолцера, а также письменное ходатайство Белнепа и Джефсона о том, чтобы ей дали свидание с Клайдом, и ей тотчас разрешили повидать сына, да не в старом Доме смерти, а совсем в другом помещении. Дело в том, что начальник тюрьмы читал о ее энергичной деятельности в защиту сына, и ему самому интересно было взглянуть и на нее и на Клайда.

Но неожиданная и разительная перемена во внешности Клайда потрясла ее, и она не вдруг нашлась что сказать при виде его бледных, запавших щек, его ввалившихся, лихорадочно блестящих глаз. Эта коротко остриженная голова! Эта полосатая куртка! И этот жуткий Дом с железными дверьми и тяжелыми запорами, и длинные переходы с охраной в тюремной форме на каждом углу…

На мгновение она вздрогнула, пошатнулась и едва не лишилась чувств, хотя ей не раз случалось бывать в тюрьмах, больших и малых – в Канзас-Сити, Чикаго, Денвере; она ходила туда разъяснять слово божие и поучать и предлагать свои услуги тем, кому они могли пригодиться. Но это… это! Сын, родной сын! Ее сильная, широкая грудь вздымалась и опускалась. Она взглянула еще – и отвернулась, чтобы хоть на миг скрыть лицо. Губы и подбородок ее дрожали. Она стала рыться в сумочке, отыскивая носовой платок, и в то же время повторяла вполголоса:

– Господи, за что ты покинул меня?

Но в ту же минуту в ее сознании возникла мысль: нет, нет, сын не должен видеть ее такой! Так нельзя, так никуда не годится, ее слезы только расстроят его. Но даже ее сильной воли не хватило, чтобы сразу переломить себя, и она продолжала тихо плакать.

Видя это, Клайд позабыл о своем решении держать себя в руках и найти для матери какие-то слова утешения и ободрения и бессвязно залепетал:

– Ну, ну, мама, не надо. Не надо плакать. Я знаю, что тебе тяжело. Но все еще устроится. Наверно, устроится. И не так уж тут плохо, как я думал.

А про себя воскликнул: «Боже мой, до чего плохо!»

И миссис Грифитс тотчас отозвалась:

– Бедный мой мальчик! Сынок мой дорогой! Но мы не должны терять надежду. Нет. Нет. «И спасу тебя от сетей зла». Господь не покидал нас до сих пор. Не покинет и впредь, я твердо знаю это. «Он водит меня к водам тихим». «Он укрепляет дух мой». Будем уповать на него. И потом, – добавила она быстро и деловито, чтобы подбодрить не только Клайда, но и себя, – я ведь уже все подготовила для апелляции. На этой неделе она будет подана. А это значит, что твое дело не может быть рассмотрено раньше, чем через год. Просто я не ожидала увидеть тебя таким. Оттого и растерялась. – Она расправила плечи, подняла голову и даже выжала некоторое подобие улыбки. – Начальник тюрьмы, видно, добрый человек, так хорошо ко мне отнесся, но когда я тебя увидела…

Она вытерла глаза, еще влажные после этого неожиданного и страшного удара, и, чтобы отвлечь себя и его, заговорила о предстоящих ей неотложных делах. Мистер Белнеп и мистер Джефсон очень обнадежили ее в последний раз, когда она с ними виделась. Она заходила к ним в контору перед отъездом, и они сказали, что ни она, ни Клайд не должны унывать. А теперь она, не откладывая, приступит к своим лекциям, и это сразу же даст ей необходимые средства. Пусть Клайд и не думает, что все уже кончено. Ничего подобного! Тот приговор наверняка будет отменен, и дело направят на новое рассмотрение. Ведь процесс был сплошной комедией. Клайд сам это знает.

Ну вот, а она, как только найдет себе комнату где-нибудь неподалеку от тюрьмы, отправится к самым видным представителям обернского духовенства и постарается добиться, чтобы ей разрешили устроить свои выступления в церкви, и не в одной, а в нескольких. Мистер Джефсон должен через два-три дня прислать ей кое-какие материалы, она сможет их использовать. А потом она поедет в Сиракузы, Рочестер, Скенэктеди и в другие города на востоке и будет ездить, пока не наберет достаточно денег. Но она не оставит и его. Она будет приезжать к нему по крайней мере раз в неделю и будет писать ему письма через день или даже каждый день, если сможет. Она поговорит с начальником тюрьмы. И пусть Клайд не отчаивается. Конечно, ей предстоит большая работа, но господь будет с ней во всех ее начинаниях. Она это знает твердо. Разве он не явил уже ей свою великую и чудотворную милость?

А Клайд пусть молится за нее и за себя. Пусть читает Исайю. Псалмы 23, 50 и 91, каждый день. И Аввакума тоже. «Есть ли препоны деснице господней?» И в конце концов, после новых слез, после трогательной и надрывающей душу сцены, она простилась и ушла, а Клайд вернулся к себе в камеру, безмерно потрясенный ее горем. Мать в ее годы, нищая, без гроша, будет колесить по городам, собирая деньги, необходимые для его спасения. А он был таким скверным сыном – теперь он это понимает.

Он присел на край койки и уронил голову на руки, а в это самое время миссис Грифитс остановилась у ворот тюрьмы – тяжелые железные ворота захлопнулись за нею, а впереди ждала чужая, неприветливая комната и все испытания задуманной ею поездки… Сама она совсем не чувствовала той уверенности, которую старалась внушить Клайду. Но, конечно, господь ей поможет. Ведь он никогда ее не покидал. Так неужели же он покинет ее теперь – в самый страшный ее час, в самый страшный час ее сына? Неужели?

Она дошла до автомобильной стоянки неподалеку и снова остановилась, чтобы еще раз взглянуть на тюрьму, на ее высокие серые стены, сторожевые башни с вооруженными часовыми в тюремной форме, зарешеченные окна и двери. Каторжная тюрьма. И ее сын теперь там, в самом ее сердце – тесном и отгороженном от мира Доме смерти. И его ждет смерть на электрическом стуле. Если только… если только… Нет, нет, нет, это невозможно. Этого не случится. Апелляция, Необходимые средства. Она должна сейчас же взяться за работу, а не поддаваться тоске и отчаянию. Нет, нет! «Щит мой и опора моя». «Свет мой и источник силы моей». «О господи, ты сила моя и избавление мое. На тебя уповаю». Снова она вытерла глаза и прошептала:

– Верую, господи! Помоги моему неверию.

И пошла дальше, продолжая молиться и плакать.

Глава 30

Для Клайда потянулись долгие дни заключения. Лишь раз в неделю его одиночество прерывалось свиданием с матерью, – ведь хлопоты, в которые миссис Грифитс ушла с головой, не оставляли ей времени для большего – за два месяца она объездила все кругом от Олбани до Буффало, побывала даже в Нью-Йорке, но результаты обманули ее ожидания. После трехнедельных упорных, фанатических стараний добиться успеха она вынуждена была устало сознаться (если не Клайду, то себе самой), что христиане отнеслись к ней по меньшей мере равнодушно, отнюдь не так, как подобает христианам. Ибо все, к кому она обращалась, по крайней мере все местные духовные руководители, считавшие себя обязанными как можно сдержаннее и осторожнее выражать мнение своей паствы, склонны были видеть в деле Клайда лишь нашумевший и достаточно скандальный

судебный процесс, закончившийся осуждением, вполне справедливым с точки зрения всех солидных и благонамеренных граждан – по крайней мере, если судить по газетам.

Во-первых, кто такая, собственно, эта женщина – мать осужденного? Самозванка, подпольная проповедница, которая, в обход всех установлений организованной, исторически сложившейся и веками освященной церковной иерархии (богословские семинарии, официальная церковь и ее ответвления и новообразования, аккуратно и осмотрительно занимающиеся традиционным и догматическим, а потому законным истолкованием слова божия), вздумала на свой страх и риск руководить никем не разрешенной и, следовательно, сомнительной миссией. А во-вторых, если бы она сидела дома, как добрая мать, и посвятила бы себя воспитанию сына и других своих детей, может быть, тогда и не случилось бы то, что случилось.

Да, и, кроме того, – убил или не убил Клайд эту девушку, но, как бы то ни было, он находился с нею в преступной связи, что видно из его собственных показаний на суде. А это в глазах многих грех едва ли меньший, чем убийство. И в этом грехе он сам сознался. Так позволительно ли в церкви произносить речи в защиту осужденного прелюбодея, а может быть, и убийцы, – кто знает. Нет, нет, – отдельные христиане любого толка вправе сколько угодно сочувствовать миссис Грифитс или возмущаться юридическими неправильностями, допущенными при разборе дела ее сына, но христианская церковь не место для критики этого процесса. Нет, нет! Это было бы нарушением нравственных основ. Это даже грозило бы пагубными последствиями, так как внимание молодежи было бы привлечено к подробностям преступления.

Наконец, под влиянием газетных сообщений о цели приезда миссис Грифитс на Восток, дополненных личным впечатлением от ее старомодной причудливой фигуры, большинство клерикальных властей решило, что перед ними просто полубезумная фанатичка из тех, которые не признают ни религиозных сект, ни научного богословия, и уже одно ее появление перед аудиторией может набросить тень на истинную и непогрешимую религию.

И потому каждый из запрошенных, не то чтобы ожесточившись сердцем, но просто хорошенько подумав, решал: нет, можно найти другой путь, менее рискованный для христиан, – скажем, снять в городе какой-нибудь зал и, несомненно, объявив через печать, привлечь туда тех же добрых христиан. Таким образом, миссис Грифитс неизменно получала отказ и совет обратиться в другое место. Искать же помощи у католического духовенства ей даже ни разу не пришло в голову отчасти в силу предубеждения, отчасти же в силу безотчетного недоверия, не лишенного оснований. Она знала, что милосердие Христово в понимании ключаря св.Петра не для тех, кто отказывается признавать наместника Христа.

И вот, после того как она много дней безуспешно стучалась то в одни, то в другие двери, пришлось ей скрепя сердце обратиться к одному еврею, содержателю самого большого в Утике кинотеатра – истинного вертепа. И он предоставил ей бесплатно свой зал для выступления с речью об обстоятельствах осуждения Клайда. «Речь матери в защиту сына» – так гласили афиши, и при входной плате в двадцать пять центов это принесло ей двести долларов. Как ни мала была эта сумма, миссис Грифитс в первую минуту возликовала: ей уже казалось, что, вопреки недружелюбию ортодоксальных христиан, она непременно соберет деньги, необходимые для апелляции. Пусть на это потребуется время, но она их соберет.

Однако очень быстро обнаружилось, что есть еще статьи расхода, которые необходимо принять во внимание: проезд, ее траты на ночлег и еду в Утике и других городах, не говоря уже о тех суммах, которые она должна высылать в Денвер мужу – ему совсем не на что было жить, и вдобавок он тяжко заболел из-за всех трагических переживаний, выпавших на долю семьи, и письма Фрэнка и Джулии звучали все тревожнее. Видимо, существовала опасность, что он больше не поправится. Помощь была необходима.

Таким образом, помимо личных трат, миссис Грифитс приходилось снова и снова заимствовать из этого единственного источника своих доходов. Это было ужасно, учитывая положение Клайда, но разве не обязана она всячески поддерживать свои силы во имя конечной победы?! И мужа ведь тоже нельзя совсем забросить ради Клайда.

Но хотя выступления ее собирали все меньше и меньше народу (через неделю ей уже приходилось говорить перед каким-нибудь десятком человек) и хотя она с трудом сводила концы с концами в своем личном бюджете, ей все же удалось, покрыв неизбежные расходы, отложить тысячу сто долларов.

Как раз в это время, в самую трудную для нее минуту, она получила телеграмму от Фрэнка и Джулии, что если она еще хочет увидеть Эйсу живым, то пусть поспешит домой. Ему очень плохо, и дни его, как видно, сочтены. Не зная, что делать под напором всех этих бедствий, не решаясь лишить Клайда своих посещений, иногда раз в неделю, иногда два раза, если обстоятельства позволяли, – единственной радости, которую она в силах была ему сейчас доставить, – миссис Грифитс бросилась за советом к Белнепу и Джефсону.

Почтенные адвокаты, убедясь, что добытые ее трудами тысяча сто долларов им обеспечены, в порыве человеколюбия посоветовали ей ехать к мужу. Положение Клайда сейчас не так уж плохо, поскольку должно пройти не менее десяти месяцев или года, прежде чем апелляционная инстанция затребует необходимые материалы и документы. И, несомненно, до решения пройдет еще год. За это время она, надо думать, еще успеет собрать остальную сумму, необходимую для покрытия расходов,

связанных с апелляцией. А если это даже и не удастся – ну, все равно, пусть она не тревожится. Мистеры Белнеп и Джефсон (которые видят, как она извелась и исстрадалась) будут стоять на страже интересов ее сына. Они подадут апелляционную жалобу, подготовят материалы для защиты и вообще сделают все необходимое для того, чтобы обеспечить своевременное и беспристрастное рассмотрение дела.

Таким образом, главное бремя свалилось с ее души, и, побывав еще два раза у Клайда, которого она заверила, что вернется очень скоро, – как только Эйса поправится и можно будет изыскать средства на новую поездку, – она отправилась в Денвер, где сразу же убедилась, что даже с ее приездом о быстром выздоровлении старика не может быть и речи.

А Клайд остался коротать время, раздумывая и пытаясь как-то приспособиться к существованию в этом духовном аду, над которым, как над Дантовым адом, можно было написать: «Оставь надежду всяк сюда входящий».

Беспросветность. Тупой, но нестерпимый гнет. Ужас и отчаяние, постоянно, неотвязно владеющие всеми – смельчаками и трусами, склонными к браваде и впавшими в полное безразличие (были даже и такие), – всеми, кто вынужден еще думать и ждать. Ибо, по условиям этой особенно жестокой и тягостной тюремной обстановки, он находился в постоянном если не физическом, то психическом общении с двадцатью другими осужденными разного нрава и разных национальностей, и каждый из них, так же как и он сам, не устоял перед какой-нибудь страстью или слабостью своей натуры, или роковым стечением обстоятельств. И заключительным актом драмы явилось убийство, давшее исход предельному напряжению душевных и телесных сил; а потом, пережив поимку и арест и пройдя через мучительные этапы безуспешных попыток юридической и нравственной самозащиты, так хорошо знакомые и Клайду, все они очутились здесь, запертые, замурованные в одной из двадцати двух железных клеток, в ожидании – чего? О, они хорошо знали – чего, хорошо знал и он. Какие страшные припадки бешенства, отчаяния, молитвенного экстаза приходилось здесь слышать и наблюдать! А иногда ругань, грубые и непристойные шутки, длинные рассказы во всеуслышание, похотливый смех или вздохи и стоны в те поздние часы, когда должен был наступить отдых для тела и для истомленной души.

В конце длинного центрального коридора был дворик для прогулок, и туда, дважды в день, между десятью и пятью часами, выводили на несколько минут заключенных группами по пять-шесть человек размять ноги, подышать воздухом, проделать несколько гимнастических упражнений или даже побегать и попрыгать, если у кого-нибудь появлялась охота. Но все это под неусыпным надзором охраны, достаточно многочисленной, чтобы сладить с ними в случае попытки бунта. Сюда же со второго дня его пребывания в тюрьме стали выводить и Клайда, каждый раз с другой группой. Но первое время он был твердо убежден, что никогда не примет участия в жалких развлечениях, которые, несмотря на атмосферу обреченности, царившую кругом, видимо, доставляли удовольствие другим узникам.

Два черноглазых мрачных итальянца: один зарезал девушку, которая не пожелала выйти за него замуж; другой ограбил и убил своего тестя, потому что ему и его жене не давали покоя деньги старика, а потом пытался сжечь труп. Великан Лэрри Донэхью с квадратной головой, с квадратными плечами, с огромными ручищами и ножищами, бывший солдат экспедиционных войск, который, лишившись места сторожа на одной из бруклинских фабрик, подстерег ночью уволившего его директора и убил, но при этом имел неосторожность потерять на месте преступления военную медаль, и по ней его опознали и изловили. Все это Клайд узнал от тюремщиков, которые несли при них охрану попарно, сменяясь через каждые восемь часов; к заключенным они относились на редкость равнодушно, но в общем довольно снисходительно. Был тут и полицейский, некто Райордан из Рочестера; он убил свою жену за то, что она хотела уйти от него, а теперь и сам должен был умереть. И Томас Маурер, тот самый «фермер», стоны которого Клайд слышал в первый вечер, – на самом деле это был батрак с фермы, заколовший своего хозяина вилами; до казни ему осталось всего несколько дней – так сказали Клайду, – и на прогулке он все шагал и шагал вдоль самой стены, понурив голову, заложив руки за спину, сильный, неуклюжий человек лет тридцати, на вид такой прибитый и загнанный, что его трудно было представить себе в роли мучителя и убийцы. Клайд глядел на него и думал: неужели он в самом деле виновен?

Затем Миллер Николсон, адвокат из Буффало, лет сорока, высокий, стройный, внешне выгодно отличавшийся от всех остальных – утонченный интеллигент, так же мало похожий на убийцу, как и сам Клайд; и тем не менее он был осужден за то, что отравил богатого старика и пытался завладеть его состоянием. Глядя на него, никак нельзя было подумать, что он совершил такое страшное злодеяние, – так по крайней мере казалось Клайду.

Этот адвокат был вежливый, любезный; он в первое же утро, заметив Клайда, подошел к нему и спросил: «Страшно?» – таким ласковым, участливым тоном, что Клайд поневоле был тронут его добротой, хотя от ужаса совсем оцепенел, боялся даже шевелиться, даже думать.

Повинуясь этому чувству ужаса, сознанию, что он погиб, Клайд ответил:

– Да, признаться, страшно.

И тотчас сам изумился своему унизительному признанию, и именно потому, что в этом человеке было что-то ободряющее, пожалел о сказанном.

– Ведь ваша фамилия – Грифитс?

– Да.

– А моя – Николсон. Не бойтесь. Скоро привыкнете.

Он улыбнулся бледной, ласковой улыбкой. Но в глазах у него улыбки не было.

– Да нет, не так уж мне страшно, – возразил Клайд, стараясь сгладить впечатление от своего первого, слишком поспешного ответа.

– Ну, тем лучше. Не вешайте носа. Нам нельзя распускаться, иначе здесь совсем с ума сойдешь. Лучше старайтесь побольше наглотаться свежего воздуха. Походите быстрым шагом. Увидите, как это помогает.

Он отошел на несколько шагов и стал делать различные гимнастические упражнения для рук, а Клайд, все еще не овладевший собой, старался стоять на том же месте, повторяя чуть не вслух: «Нам нельзя распускаться, иначе здесь совсем с ума сойдешь». Справедливые слова, разве не почувствовал он это в первую же свою ночь в тюрьме? Именно сойдешь с ума. Или замучит насмерть постоянное созерцание чужих трагедий, их страшная, разрушительная сила. Но долго ли ему придется это терпеть? Надолго ли хватит у него сил?

Но прошел день или два, и он убедился, что не все в Доме смерти так мрачно, как ему показалось сначала; не все в нем сплошной ужас, по крайней мере внешне. В самом деле, несмотря на близость смерти, тяготевшую над каждым обитателем, здесь шутили, смеялись, насмешничали, даже играли, спорили на все мыслимые темы – от смерти до женщин и спорта, состязались в разных видах остроумия или его отсутствия, – все это применительно к довольно низкому общему уровню развития.

Сейчас же после завтрака те, кто не попадал в первую очередь на прогулку, принимались обычно за шашки или карты. Это не значит, что играющие выходили из своих камер и усаживались вдвоем за одной доской или сдавали партнерам карты из одной колоды: нет, просто тюремщик вручал каждому любителю шашек доску, но без фигур. В них не было надобности. Один из игроков объявлял ход; f2-e1. Горизонтальные ряды клеток обозначались цифрами, а вертикальные – буквами. Ходы отмечали карандашом.

Второй игрок, отметив на своей доске ход противника и изучив, как он отразился на его положении, в свою очередь, объявлял: e7-f5. Если находились охотники принять участие в игре на стороне того или иного из сражающихся, каждому тоже приносили доску и карандаш. И тогда можно было услышать голос, скажем, «Коротышки» Бристола, заинтересованного в победе «Голландца» Сунгхорта, который сидел за три камеры от него:

– Не советую, Голландец. Погоди минутку, тут можно лучше пойти.

И игра продолжалась под крики, насмешки, хохот, споры по поводу каждого промаха или удачи. Так же играли и в карты. Здесь тоже каждый партнер оставался запертым у себя в камере, однако интерес игры от этого не страдал.

Но Клайд не любил карт и не находил удовольствия в грубой болтовне, длившейся часами. За исключением одного только Николсона, все кругом изощрялись в непристойных и даже оскорбительных выражениях, которые резали его слух. К Николсону его тянуло. Спустя некоторое время ему стало казаться, что близость адвоката, дружеские беседы с ним во время прогулки, когда они попадали в одну группу, помогут ему вынести все это. Николсон был самым интеллигентным, самым» приличным из всех обитателей тюрьмы. Остальные резко отличались от него: они либо угрюмо молчали, либо – что случалось чаще – говорили, но их речи казались Клайду слишком мрачными, грубыми или непонятными.

Шла вторая неделя его пребывания в тюрьме, и благодаря Николсону он уже начал чувствовать себя немного тверже, но вот наступил день, назначенный для казни Паскуале Кутроне, итальянца из Бруклина, который убил родного брата за то, что тот пытался соблазнить его жену. Паскуале занимал одну из камер у скрещения коридоров, и Клайд слышал, что от страха он несколько помутился в уме. Во всяком случае, его никогда не выводили на прогулку вместе с остальными. Но Клайду хорошо запомнилось его лицо, которое он видел, проходя мимо, – жуткое, исхудалое лицо, как бы разрезанное натрое двумя глубокими бороздами – тюремными складками горя, – шедшими от глаз к углам рта.

В тот вечер, когда Клайд был доставлен в тюрьму, Паскуале вдруг начал молиться и молился, не переставая, день и ночь. Потом оказалось: его предупредили, что ему предстоит умереть на следующей неделе. После этого он стал ползать по камере на четвереньках, целовать пол и лизать ноги Христа на небольшом бронзовом распятии. Несколько раз навещали его брат и сестра, только что приехавшие из Италии, и для свидания с ними его водили в старый Дом смерти. Но кругом шептались, что помраченный разум Паскуале уже не может воспринять никаких родственных утешений.

Весь день и всю ночь, за исключением этих часов свиданий, он ползал по камере и бормотал молитвы, и те из заключенных, которые не могли уснуть и читали, чтобы скоротать время, должны были беспрестанно слушать его бормотанье и постукиванье четок, на которых он отсчитывал бесчисленные «Отче наш» и «Богородице, дево, радуйся».

И так без конца, без конца – хоть порой и раздавался откуда-нибудь жалобный голос: «О господи, хоть бы он поспал немного!» И снова глухой стук земного поклона – и снова молитва, и так до самого кануна казни, когда Паскуале перевели в старый Дом смерти, где, как Клайд узнал позднее, происходили последние прощания, если было с кем прощаться. Кроме того, осужденному предоставлялось несколько часов покоя и уединения, чтобы он мог приготовить свою душу к свиданию с творцом.

Но страшное смятение овладело в ту ночь всеми обитателями рокового Дома. Почти никто не прикоснулся к ужину, о чем говорили унесенные подносы. В камерах царила тишина, кое-кто молился вполголоса, зная, что и ему в недалеком будущем предстоит та же участь. Потом с одним итальянцем, осужденным за убийство сторожа в банке, сделался нервный припадок: он стал кричать, разломал свой стул и стол о прутья решетки, в клочья изодрал простыни на постели и даже пытался удавиться, но его связали и унесли в другое отделение тюрьмы, где врач должен был установить его вменяемость.

Остальные во время всей этой суматохи метались по своим камерам и твердили молитвы, а некоторые звали тюремщиков и требовали, чтоб те навели порядок. А Клайд, который никогда еще не переживал и не представлял себе ничего подобного, дрожал неуемной дрожью от страха и отвращения. Всю эту ночь, последнюю ночь жизни Паскуале Кутроне, он лежал на койке, отгоняя кошмары. Вот, значит, какова здесь смерть: люди кричат, молятся, сходят с ума, но страшное действо, несмотря ни на что, совершается своим чередом. В десять часов, чтобы успокоить тех, кто еще оставался жить, принесли холодную закуску, но никто не стал есть, кроме китайца, что сидел напротив Клайда.

А на рассвете следующего дня, ровно в четыре, тюремные служители, выполняя свою страшную обязанность, бесшумно появились в центральном коридоре и задернули тяжелые зеленые занавеси перед решетками камер, чтобы никто не увидел, как роковая процессия пройдет из старого Дома смерти в комнату казней. Но, несмотря на эту предосторожность, Клайд и все остальные проснулись при первом же звуке.

Вот она, казнь! Час смерти пробил. Это был сигнал. Те из заключенных, которых страх, раскаяние или врожденное религиозное чувство побуждали искать защиты и утешения в вере, стояли на коленях и молились. Остальные – кто просто шагал по камере, кто бормотал что-то про себя. А другие вскрикивали порой, не совладав с лихорадочным приступом ужаса.

Клайд же точно отупел и онемел. Даже мысли в нем замерли. Сейчас там, в той комнате, убьют человека. Стул, этот стул, который с первого дня стоял перед ним неотвязным кошмаром, он здесь, совсем близко. Но ведь и мать и Джефсон говорили, что его срок наступит еще очень нескоро, если только… если вообще наступит… если… если…

Новые звуки. Чьи-то шаги взад и вперед по коридору. Где-то далеко стукнула дверь камеры. А это отворяется дверь старого Дома, – совершенно ясно, потому что теперь стал слышен голос, голоса… пока еще только смутный гул. Вот еще голос, более отчетливый, будто кто-то читает молитву. Зловещее шарканье подошв – процессия движется по коридору.

– Боже, смилуйся над нами! Иисусе, смилуйся!

– Пресвятая матерь божия, преблагая Мария, мать милосердная, моли бога обо мне! Ангел-хранитель, моли бога обо мне!

– Пресвятая Мария, моли бога обо мне! Святой Иосиф, моли бога обо мне! Святой Амвросий, моли бога обо мне! Все святые и ангелы, молите бога обо мне!

– Святой Михаил, моли бога обо мне? Ангел-хранитель мой, моли бога обо мне!

То был голос священника, который сопровождал осужденного на смерть и напутствовал его словами молитвы. А тот, говорили, давно не в своем уме. Но ведь вот и его голос тоже слышится. Да, его. Клайд узнал этот голос. За последнее время он достаточно часто его слышал. Вот сейчас отворится та, другая дверь. Он заглянет туда – человек, осужденный умереть, – так скоро, так скоро… увидит… все увидит… этот шлем… эти ремни. О, Клайд уже хорошо знает, какие они на вид, хотя ему, может быть, никогда не придется надеть их… может быть…

– Прощай, Кутроне! – хриплый, срывающийся голос из какой-то камеры неподалеку. Клайд не мог определить, из какой именно. – Счастливого пути в лучший мир!

И тотчас другие голоса подхватили:

– Прощай, Кутроне! Храни тебя господь, хоть ты и не говоришь по-английски!

Процессия прошла. Хлопнула *та* дверь. Вот он уже там. Сейчас его, наверно, привязывают ремнями. Спрашивают, не хочет ли он сказать еще что-нибудь, – он, который не в своем уме. Теперь, наверно, ремни уже закрепили. Надели шлем. Еще миг, еще один миг, и…

Тут – хотя Клайд в ту минуту не заметил или не понял – все лампочки в камерах, в коридорах, во всей тюрьме вдруг мигнули: по чьей-то глупости или недомыслию электрический стул получал ток от той же сети, что и освещение. И сейчас же кто-то отозвался:

– Вот оно. Готово, Крышка парню.

И кто-то другой:

– Да, сыграл в ящик, бедняга.

А через минуту лампочки мигнули снова и через полминуты еще раз, третий.

– Так. Ну вот и конец.

– Да. Теперь он уже видит, что там, на том свете, делается.

И потом тишина – гробовое молчание. И только изредка слышно, как кто-то шепчет молитву. Но Клайда бьет страшная, леденящая дрожь. Он не смеет даже думать, не то что плакать. Значит, вот как это бывает… Задергивают зеленые занавеси. А потом… потом… Паскуале нет больше. Трижды мигнул свет. Это когда пропускали ток, ясно. Как он молился все эти ночи! Как стонал! Сколько бил земных поклонов! И ведь только минуту назад он был еще жив – шел вон там, по коридору. А теперь умер. А когда-нибудь и он… он сам… разве можно поручиться, что этого не будет? Разве можно?

Он лежал ничком, уткнувшись лицом в подушку, и неукротимо дрожал. Пришли тюремщики и отдернули зеленые занавеси – так спокойно, такими уверенными, живыми движениями, как будто в мире вовсе не было смерти. Потом он услышал разговор в коридоре; обращались не к нему – он слишком замкнуто держался до сих пор, – а к кому-то из его соседей.

Бедный Паскуале! Следовало бы вообще отменить смертную казнь. Начальник тюрьмы так считает. И они тоже. Начальник даже хлопочет об ее отмене.

Но Кутроне, Кутроне! Как он молился! А теперь его уже нет. Камера его пуста, и скоро в нее посадят другого, а рано или поздно и его не станет. И здесь, в этой камере, тоже раньше был другой… много других… таких же, как он, как Кутроне… и они лежали на этой койке… Клайд встал, пересел на стул. Но тот… те… тоже сидели на этом стуле. Он вскочил – и снова рухнул на койку. «Боже мой! Боже мой!» – повторял он про себя, и сразу ему вспомнился тот заключенный, который так напугал его в первый раз. Он еще здесь. Но скоро и его не станет. И так же будет со всеми остальными… может быть, и с ним, если только… если только…

Это была первая казнь при Клайде.

Глава 31

Между тем здоровье Эйсы поправлялось плохо, и прошло целых четыре месяца, прежде чем он окреп настолько, что мог хотя бы сидеть на постели, и миссис Грифитс получила возможность вновь подумать о своих выступлениях. Но за это время интерес публики к ней и к судьбе ее сына значительно упал. В Денвере не нашлось газеты, которая сочла бы для себя выгодным финансировать ее поездку. Что же касается жителей того края, где совершилось преступление, они, правда, еще достаточно хорошо помнили все дело и к самой миссис Грифитс относились с сочувствием, но на сына ее почти все смотрели как на преступника, получившего по заслугам, и поэтому считали, что апелляцию вообще незачем подавать, а если она будет подана, то решение должно быть отрицательным. Уж эти преступники со своими бесконечными апелляциями!

А в обиталище Клайда казнь следовала за казнью, но каждый раз он, к ужасу своему, убеждался, что к таким вещам не привыкают. Был казнен батрак Маурер за убийство хозяина, полицейский Райордан за убийство жены, – и каким бравым воякой он казался всего за минуту до смерти! В том же месяце настала очередь китайца, у которого почему-то все это особенно затянулось (пошел он на смерть, никому ничего не сказав на прощанье, хотя известно было, что несколько слов по-английски он знает). А следующим оказался Лэрри Донэхью, солдат экспедиционной армии; этот храбро крикнул перед тем, как дверь за ним закрылась:

– Прощайте, ребята! Желаю счастья!

А затем… о, это было самое ужасное, самое тяжелое для Клайда, – казалось даже, что после этого у него не хватит сил тянуть дальше лямку тягостного тюремного существования, – настал черед Миллера Николсона. За эти пять месяцев они так привыкли гулять вместе, беседовать, иногда переговариваться, сидя в своих камерах, и Николсон советовал ему, какие книги читать, и дал одно очень ценное указание на случай пересмотра дела и вторичного суда, а именно: всеми способами протестовать против публичного оглашения писем Роберты на том основании, что сила их эмоционального воздействия на любой состав присяжных препятствует трезвой и беспристрастной оценке фактов, о которых в них идет речь, и добиваться, чтобы вместо оглашения их полностью были сделаны выборки по существу и только эти выборки представлены присяжным на рассмотрение.

– Если вашим адвокатам удастся убедить апелляционный суд в справедливости такого требования, можете считать свое дело выигранным.

Клайд тотчас же потребовал свидания с Джефсоном и передал ему это соображение, которое Джефсон признал совершенно разумным и сказал, что они с Белнепом непременно используют его, составляя апелляционную жалобу.

Но однажды тюремщик, запирая Клайда после возвращения с прогулки, мотнул головой в сторону камеры Николсона и шепнул:

– Следующая очередь – его. Он вам сказал? Через три дня.

Клайд содрогнулся – на него точно ледяным холодом дохнуло при этом известии. Только что они гуляли вместе, разговаривая о новом заключенном, поступившем сегодня, – венгерце из Утики, который сжег в печи свою любовницу и сам потом во всем сознался. Это был огромный, тупой, невежественный детина с лицом химеры. Николсон говорил, что в нем, безусловно, больше от животного, чем от человека. Но о себе Николсон так и не сказал ни слова. Через три дня! А он так спокойно гулял и разговаривал, как будто ничего особенного не должно было произойти, хотя, по словам тюремщика, его предупредили еще накануне.

И на другой день он вел себя так же: гулял, разговаривал как ни в чем не бывало, смотрел на небо и дышал свежим воздухом. Зато Клайд, который всю ночь не мог уснуть от одних только мыслей об этом, шагая с ним рядом, чувствовал себя совсем разбитым и больным, даже не в силах был вести разговор и только думал: «И он еще может гулять! И казаться таким спокойным! Что же это за человек такой?» – и замирал от благоговейного ужаса.

На следующее утро Николсон не вышел на прогулку: он сидел у себя в камере и рвал письма, которые он во множестве получал со все» сторон. Около полудня он окликнул Клайда, сидевшего через две камеры от него:

– Я вам тут кое-что посылаю на память.

И ни слова о том, что его ожидало.

Надзиратель передал Клайду две книги: «Робинзона Крузо» и «Тысячу и одну ночь». Вечером Николсона перевели в старый Дом смерти, а на рассвете повторилась обычная процедура: зеленые занавеси, шаги зловещей процессии по коридору – все то, что было уже так хорошо знакомо Клайду. Но на этот раз он ощущал происходящее особенно остро, с особенной мукой. И перед тем как хлопнула дверь, голос:

– Храни вас всех бог, друзья! Желаю вам благополучно выбраться отсюда.

А потом та страшная тишина, которая всегда водворялась под конец.

Для Клайда настала пора полного одиночества. Не было теперь никого – ни одного человека, который хоть сколько-нибудь был бы ему близок. Ему оставалось только думать, или читать, или делать вид, будто он интересуется разговорами окружающих, потому что интересоваться ими на самом деле он не мог. Склад его ума был таков, что если ему удавалось отвлечься мысленно

от своей несчастной судьбы, его больше влекло к мечтам, чем к действительности. Легкие романтические произведения, рисовавшие тот мир, в каком ему хотелось бы жить, он предпочитал книгам, которые напоминали о суровой неприглядности подлинной жизни, не говоря уже о его жизни в тюрьме. А что ожидало его впереди? Он был так одинок! Только письма матери, брата и сестер нарушали это одиночество. Но в Денвере все обстояло неважно: здоровье Эйсы не поправлялось, мать не могла еще и думать о возвращении. Она подыскивала себе какое-нибудь дело, которое можно было бы совместить с уходом за больным, – занятия в религиозной школе, например. Но она обратилась к преподобному Данкену Мак-Миллану, молодому священнику, с которым познакомилась во время своих выступлений в Сиракузах, и просила его побывать у Клайда. Это очень добрый, большой души человек. И она убеждена, что Клайд обретет в нем поддержку и опору в эти горькие дни, когда сама она не может быть с ним рядом.

Еще в то время, когда миссис Грифитс искала помощи у клерикальных авторитетов округа, – что, как известно, не увенчалось успехом, – она повстречалась с преподобным Данкеном Мак-Милланом. Это было в Сиракузах, где он возглавлял маленькую независимую церковную общину, не принадлежавшую ни к какой определенной секте. Он был молод и так же, как Эйса и она сама, проповедовал слово божие, не имея духовного сана, однако обладал гораздо более энергичным и пламенным религиозным темпераментом. Еще до появления на сцене миссис Грифитс он много читал о Клайде и о Роберте и считал вынесенный приговор справедливым и не вызывающим сомнений. Но горе миссис Грифитс и ее метания в поисках помощи глубоко тронули его сердце.

Он сам был преданным сыном. И благодаря своей возвышенно поэтической и эмоциональной, несмотря на подавленную сексуальность, натуре он был одним из немногих жителей этого северного края, кого всерьез глубоко взволновали обстоятельства преступления, приписываемого Клайду. Эти письма Роберты, полные страсти и муки! Эта печальная жизнь, которую она вела в Ликурге и в Бильце! Сколько раз он задумывался над всем этим еще до своей встречи с миссис Грифитс! Простые и высокие добродетели, носителями которых были, видимо, Роберта и ее родные в тихом, поэтическом мирке, откуда они вышли! Виновность Клайда, казалось, не подлежала сомнению. Но вот неожиданно появляется миссис Грифитс, жалкая, убитая горем, и утверждает, что сын ее не виновен. А где-то там, в тюремной камере, сидит обреченный на смерть Клайд. Возможно ли, что в силу несчастного стечения обстоятельств допущена судебная ошибка и Клайд осужден безвинно?

Мак-Миллан был человек редкого темперамента – неукротимый, не знающий компромиссов. Настоящий святой Бернар, Савонарола, святой Симеон, Петр Отшельник наших дней. Все формы жизни, мышления, общественной организации для него были словом, выражением, дыханием господа. Именно так и не иначе. Однако в его представлении о мире находилось место и дьяволу с его адской злобой – Люциферу, изгнанному из рая. Любил он размышлять о Нагорной проповеди, о святом Иоанне, который видел Христа и истолковал слово его: «Кто не со мною, тот против меня; кто не собирает со мною, тот расточает». В общем, это была своеобразная, сильная, богатая, смятенная, добрая и по-своему прекрасная душа, истомившаяся жаждой справедливости, недостижимой на земле.

Миссис Грифитс, беседуя с ним, настойчиво напоминала, что и Роберта была не безгрешна. Разве не согрешила она вместе с Клайдом? Как же можно полностью оправдывать ее? Тут большая юридическая ошибка. Сын осужден несправедливо – и все из-за жалостных, исполненных романтики писем этой девушки, писем, которые вообще не следовало показывать присяжным. Мужчины, утверждала миссис Грифитс, не способны судить справедливо и беспристрастно там, где речь идет о горестях молодой и красивой девушки. Она достаточно убедилась в этом на своей миссионерской работе.

Эта мысль показалась преподобному Данкену Мак-Миллану существенной и верной. А миссис Грифитс между тем продолжала: если бы какой-нибудь авторитетный и справедливый посланец божий посетил Клайда и силою своей веры и слова божьего заставил бы его понять то, чего он до сих пор не понимает и чего она, как мать, и притом угнетенная горем, не в силах ему разъяснить, – всю глубину и весь позор его греха с Робертой и все, чем этот грех грозит его бессмертной душе в этом мире и в будущем, – он преисполнился бы благодарности, веры и смирения, и содеянное им зло было бы смыто. Ведь совершил он приписываемое ему преступление или нет, – она-то уверена, что нет! – но сейчас ему угрожает электрический стул, угрожает опасность окончить свое земное существование и предстать перед творцом с душой, отягченной смертным грехом прелюбодеяния, не говоря уже о лжи и двоедушии, в которых он повинен не только перед Робертой, но и перед той, другой девушкой из Ликурга. А признание своих заблуждений и покаяние очистит его от этой скверны. Только бы спасти его душу, и тогда она – да и он – обретут покой.

И вот после двух умоляющих писем от миссис Грифитс, уже из Денвера, в которых она описывала ему одиночество Клайда и то, как он нуждается в помощи и совете, преподобный Данкен отправился в Оберн. И, разъяснив начальнику тюрьмы истинную цель своего посещения, – спасение души Клайда во имя его собственного благополучия, и благополучия его матери, и во славу божию, – получил право доступа в Дом смерти и в камеру Клайда. У самой двери он помедлил, разглядывая внутренность камеры и жалкую фигуру Клайда, свернувшегося на койке с книгой в руке. Затем Мак-Миллан приник своим длинным, худощавым телом к прутьям решетки и без всякого вступления, склонив голову в молитвенном порыве, начал:

– «Помилуй меня, боже, по великой милости твоей и по множеству щедрот твоих изгладь беззакония мои.

Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня.

Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда передо мною.

Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сотворил, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем.

Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя.

Вот, ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость твою.

Окропи меня иссопом, и чищуся; омой меня, и паче снега убелюся.

Дай мне услышать радость и веселие, и возрадуются кости, тобою сокрушенные.

Отврати лицо твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои.

Сердце чистое сотвори во мне, боже, и дух правый обнови внутри меня.

Не отвергни меня от лица твоего и духа твоего святого не отними от меня.

Возврати мне радость спасения твоего и духом владычественным утверди меня.

Научу беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся.

Избавь меня от кровей, боже, боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду твою.

Господи? Отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу твою.

Ибо жертвы ты не желаешь – я дал бы ее – и к всесожжению не благоволишь.

Жертва богу – дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного ты не уничижишь, боже».

Он умолк лишь после того, как своим звучным, удивительно богатым по интонации голосом дочитал 50-й псалом до конца. А Клайд в полном недоумении сначала присел на койке, потом, привлеченный обаянием этого юношески стройного, крепкого на вид, хотя и бледного человека, встал и подошел к двери; тогда гость поднял голову и произнес:

– Клайд, я принес вам милость и спасение господне. Он призвал меня – и вот я здесь. Он послал меня возвестить вам, что если грехи ваши красны, как кровь, они станут белы, как снег. И если они алы, как пурпур, то убелятся, как руно. Давайте же поразмыслим о могуществе господа бога.

Он помолчал, ласково глядя на Клайда. Светлая, немного мечтательная юношеская полуулыбка играла у него на губах. Его подкупали молодость и сдержанность Клайда, а тот, в свою очередь, явно все больше поддавался обаянию необыкновенного гостя. Еще новый священник, конечно. Но совсем не похож на тюремного пастора, в котором нет ничего привлекательного и располагающего.

– Меня зовут Данкен Мак-Миллан, – сказал гость, – и я из Сиракуз, где тружусь во славу господа. Это он послал меня сюда, он и вашу мать направил ко мне. Из ее слов я понял, что она думает о вашем деле. Из газет узнал, что вы сами говорили. И мне известно, почему вы здесь. Но я здесь затем, чтобы дать вам радость и веселие духовное. – И он вдруг прочел третий стих из 12-го псалма: – «Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь». Это псалом двенадцатый, стих третий. А вот и еще слова, которые приходят мне на память, слова, которые я должен сказать вам. Это тоже из Библии – псалом девятый: «Говорит в сердце своем: „не поколеблюсь; в род и род не приключится мне зла“. Но вот вам приключилось зло. Всем нам, нечестивым, не миновать этого. А вот и еще слова, которые вам полезно услышать, – это из девятого псалма, стих тридцать второй: „Говорит в сердце своем: «забыл бог, закрыл лицо свое, не увидит никогда“. Но мне велено сказать вам, что бог не закрыл лица своего. Мне велено привести вам еще вот эти слова из семнадцатого псалма:

«Они восстали на меня в день бедствия моего: но господь был мне опорою».

«Он простер *руку* с высоты и взял меня и извлек меня из вод многих».

«Избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня».

«Он вывел меня на пространное место и избавил меня; ибо он благоволит ко мне».

Клайд, все это слова, обращенные к вам. Они приходят мне на ум здесь в беседе с вами, словно кто-то шепотом подсказывает мне их. Я лишь рупор, доносящий эти слова, сказанные непосредственно для вас. Спросите же совета у собственного сердца. Обратитесь из тьмы к свету. Разобьем оковы горя и уныния; разгоним тень и мрак. Вы согрешили. Господь может простить вас и простит. Покайтесь. Придите к тому, кто создал этот мир и хранит его. Он не отвергнет ваших молитв, не презрит веры вашей. Обратитесь к господу – внутри себя, не покидая этих тесных стен, и скажите: «Боже, помоги мне! Боже, услышь мою молитву! Боже, дай свет очам моим!»

Или вы думаете, что нет бога, что он не ответит вам? Молитесь. В бедствии прибегайте лишь к нему, не ко мне, ни к кому иному. Лишь к нему одному. Молитесь. Говорите с ним. Взывайте к нему. Поведайте ему правду и просите его о помощи. И если только в душе своей вы подлинно раскаиваетесь в содеянном зле, воистину, воистину вы услышите его и восчувствуете – это так же верно, как то, что я сейчас стою перед вами. Он возьмет вас за руку. Он войдет в эту камеру и войдет в душу вашу. Вы узнаете его по тому свету и покою, которых исполнится ваш разум и ваше сердце. Молитесь. А если вы почувствуете, что я могу что-нибудь сделать для вас – помолиться с вами, оказать какую-либо услугу, просто скрасить на время ваше одиночество, – вам стоит только позвать меня, хотя бы почтовой открыткой. Я дал слово вашей матери и готов сделать все, что только в моих силах. Мой адрес есть у начальника тюрьмы.

Он остановился, произнеся последние слова особенно веско и вразумительно, потому что до сих пор во взгляде Клайда было больше любопытства и удивления, чем каких-либо иных чувств.

Но юный, почти мальчишеский облик Клайда и какое-то жалкое, беспомощное выражение, застывшее на его лице после отъезда матери и казни Николсона, заставили Мак-Миллана тут же прибавить:

– Помните, я всегда в вашем распоряжении. У меня много работы в Сиракузах, но я охотно прерву ее, как только узнаю, что могу еще чем-нибудь быть вам полезен.

С этими словами он повернулся, словно собираясь уйти. Но Клайд, уже плененный им – тем дыханием жизни, уверенности и добра, которым вдруг повеяло от священника среди вечного напряжения, страха и одиночества, непрестанно мучивших его в тюрьме, – воскликнул вслед Мак-Миллану:

– Не уходите еще! Пожалуйста, не уходите. Это так хорошо с вашей стороны, что вы приехали навестить меня, и я вам так благодарен. Мне мать писала, что вы, может быть, приедете. Здесь, знаете, очень тоскливо. Может быть, я не слишком задумывался над теми вещами, о которых вы тут говорили, но это потому, что я за собой не чувствую той вины, какую мне приписывают. Но я очень жалею о многом. И, конечно, всякий, кто сюда попадает, платится очень горько.

Взгляд у него был тревожный и грустный.

И Мак-Миллан, впервые за время этого свидания глубоко, по-настоящему тронутый, поспешил откликнуться:

– Не печальтесь, Клайд. Я снова приеду к вам не позже, чем через неделю, ведь теперь я вижу, что нужен вам. Я не потому прошу вас молиться, что считаю вас виновным в смерти Роберты Олден. Этого я не знаю. Вы мне еще ничего не говорили. Все ваши грехи и все ваши печали известны только вам да господу богу. Но я знаю, что вы нуждаетесь в духовной поддержке, а это вы найдете – верьте мне. «И будет господь прибежищем страждущему, прибежищем в час бедствия».

Он ласково улыбнулся, казалось, он уже по-настоящему полюбил Клайда. И Клайд, к немалому своему удивлению, почувствовав это, ответил, что сейчас ему ничего не нужно, он только просит сообщить матери, что здоров, и, если можно, хоть немножко ее подбодрить. Письма от нее приходят очень печальные. Она слишком тревожится за него. По правде сказать, он и сам чувствует себя неважно последние дни – тяжело и тревожно на душе. Что ж, не мудрено. Честное слово, если молитва может дать ему хоть немного покоя душевного, он с радостью будет молиться. Мать всегда старалась приучать его к этому, но, стыдно сознаться, он не очень-то прислушивался к ее советам. Вид у Клайда был удрученный и мрачный – лицо его давно уже приобрело землистый оттенок, характерный для тюремных узников.

И преподобный Данкен Мак-Миллан, окончательно растроганный его жалким положением, ответил:

– Ничего, Клайд, не печальтесь. Вот увидите, мир и благодать снизойдут в вашу душу. Я в этом не сомневаюсь. У вас, я вижу, есть Библия. Откройте любую страницу псалтыри и читайте – пятьдесят первый псалом, девяносто первый, двадцать третий. Откройте Евангелие от Иоанна, прочтите его все от начала и до конца. Размышляйте и молитесь – размышляйте обо всем, что

вас окружает: о луне, звездах и солнце, о деревьях и море, о вашем собственном бьющемся сердце, о вашем теле, о вашей силе, и спросите себя: кто все это создал? Откуда взялось оно? И если не найдете объяснения, спросите себя еще: неужели у создавшего все это – и вас в том числе, – кто бы он ни был, где бы ни пребывал, не хватит мудрости и милосердия и силы помочи вам в час, когда вы нуждаетесь в помощи, просветить вас, утешить и указать вам путь? Только спросите себя: кто же творец этого зримого мира? А потом обратитесь к нему, создателю всего сущего, и у него ищите ответа, как быть и что делать. Не предавайтесь сомнениям. Спрашивайте – и вы получите ответ. Спрашивайте днем и ночью. Склоняйте голову, молитесь и ждите. Воистину он не оставит вас. Я знаю, потому что сам обрел покой душевный.

Он пристально посмотрел на Клайда, словно стараясь внушить ему свою веру, потом улыбнулся и пошел прочь. А Клайд задумался, прислонясь к решетке. Создатель! Его создатель! Создатель мира!.. Спрашивайте и получите ответ.

И все-таки еще жило в нем старое недоверие к религии и ее плодам – память о вечных, но напрасных молитвах и проповедях отца и матери. Неужели же теперь и он обратится к утешениям религии лишь потому, что ему тоже тяжело и страшно? Нет уж. Или, во всяком случае, не так.

Но все же преподобный Данкен Мак-Миллан – его жар и страстная, вдохновенная сила убеждения, его юношеская ладная фигура, лицо, глаза – все это произвело на Клайда такое глубокое впечатление, какого никогда не производил ни один проповедник или священнослужитель. Вера этого человека заинтересовала, пленила и словно загипнотизировала его, хоть он и не знал, сумеет ли сам когда-нибудь до конца проникнуться такой верой.

Глава 32

Каких-нибудь полтора года назад человек типа преподобного Мак-Миллана вряд ли мог бы поразить Клайда силою духа и религиозного убеждения (поскольку он с детства привык к таким вещам), но сейчас это произвело на него совсем иное впечатление. Сидя за решеткой, вдали от мира, вынужденный в силу ограниченности тюремной жизни искать прибежища и утешения в собственных мыслях, Клайд, как и всякий другой в подобных обстоятельствах, должен был сосредоточиться на своем прошедшем, настоящем или будущем. Но о прошедшем вспоминать было слишком тяжело. В нем все жгло и палило. А настоящее (его непосредственное окружение) и будущее с грозной неизбежностью того, что должно случиться, если апелляция окажется безуспешной, одинаково отпугивали его пробуждающееся сознание.

И произошло то, что неминуемо происходит при пробуждении сознания, омраченного тревогой. От того, что внушает страх или ненависть, но является неотвратимым, оно обращается к тому, что сулит надежду или хотя бы тешит мечтой. Но на что мог надеяться Клайд, о чем мечтать? Благодаря идее, поданной Николсоном, его мог спасти лишь один-единственный поворот судьбы – постановление о пересмотре дела, и если бы новый суд нашел возможным оправдать его, он мог бы уехать куда-нибудь подальше – в Австралию, Африку или Мексику и там, под другим именем, отказавшись от честолюбивых притязаний на беспечную светскую жизнь, которая еще так недавно влекла его, зажить совсем по-иному, тихо и скромно. Но путь к этим обнадеживающим мечтам преграждал грозный призрак – возможный отказ апелляционного суда направить дело на новое рассмотрение. Это вполне вероятно – после бриджбургского суда. И тут, как в том сне, когда он, попятившись от клубка змей, натолкнулся на рогатое чудовище, вставало перед ним страшное видение – стул из комнаты в конце коридора. *Тот* стул! Ремни и ток, от которого опять и опять мигал свет в Доме смерти. Мысль о том, что когда-нибудь придется переступить порог этой комнаты, была для него невыносима. И все-таки вдруг апелляция встретит отказ? Нет! Не надо об этом думать.

Но если не об этом, о чем же тогда думать? Этот вопрос и мучил Клайда, когда появился преподобный Данкен Мак-Миллан и стал призывать его обратиться прямо к творцу всего живого с мольбой, которая (как он уверял) не могла остаться без ответа. И вот как просто разрешался этот вопрос!

– «Дано вам познать мир божий», – настаивал Мак-Миллан словами апостола Павла и затем, приводя отдельные фразы из посланий к коринфянам, галатам, ефесянам, доказывал, как легко Клайду, – если только он захочет исполнять все его наставления и молиться, – познать «мир божий, который превыше всякого ума», и насладиться им. Ибо мир этот с ним и вокруг него. Надобно лишь искать; сознаться в слабостях и заблуждениях души своей и принести покаяние. «Просите, и дастся вам; ищите и обрящете; стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий обретает, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею?» – Так, сосредоточенно и вдохновенно, повторял он святые слова.

И все же перед Клайдом неизменно стоял пример его отца и матери. Чего они добились в жизни? Не очень-то им помогли молитвы. Вот и здесь он пока не замечал, чтобы молитва помогла его товарищам по заключению, хотя большинство из них усердно слушало молитвы и увещания католического священника, раввина, пастора, каждый день поочередно посещавших тюрьму. Все равно, в назначенный срок каждый шел на смерть – кто с жалобами, кто с протестом, кто обезумев, как Кутроне, кто равнодушно. Что касается Клайда, то он до сих пор не обращал никакого внимания на священников. Чушь? Фантазии! А почему? Этого он не мог бы сказать. Но вот преподобный Данкен Мак-Миллан. Его ясный, кроткий взгляд. Его мелодичный голос. Его вера. Она и трогала и привлекала Клайда. А может быть… может быть? Он так одинок, так несчастен, так нуждается в помощи.

И разве неправда (настолько уже успело сказаться влияние поучений Мак-Миллана), что если б он вел более добропорядочную жизнь, – больше прислушивался к словам и наставлениям матери, не ходил бы в тот публичный дом в Канзас-Сити, не преследовал бы своими домогательствами Гортензию Бригс, а позднее Роберту, думал бы только о работе и сбережениях, как, должно быть, большинство людей, – все сложилось бы для него гораздо лучше. Но, с другой стороны, нельзя ведь отрицать, что существуют властные желания и стремления, которые так трудно побороть и вместе с тем нельзя заставить замолчать. Это тоже побуждало его задуматься. Но ведь вот многих других людей, – хотя бы его мать, дядю, двоюродного брата, этого священника, – по-видимому, не тревожат подобные чувства. Впрочем, иногда ему приходило в голову, что, быть может, и им знакомы те же страсти, но, обладая большей нравственной и духовной силой, они легче с ними справляются. Быть может, он просто давал слишком много воли этим мыслям и чувствам, видимо, так считают его мать, и Мак-Миллан, и те, чьи речи ему пришлось слышать со времени ареста.

Что же это все означает? Есть ли бог? Вмешивается ли он в дела и поступки людей, как утверждает мистер Мак-Миллан? Верно ли, что в тяжкую минуту ты можешь обратиться к нему или к какой-то иной всемогущей силе и просить о помощи, даже если ты прежде никогда не верил? А помощь так нужна, когда ты одинок и покинут и находишься во власти закона – закона, а не людей, потому что все эти люди вокруг тебя только слуги закона. Но захочет ли эта таинственная сила помочь? Существует ли она, слышит ли людские молитвы? Преподобный Мак-Миллан утверждает, что да. «Говорит он: забыл бог; закрыл лицо свое. Но бог не забыл. Он не закрыл лица». Но так ли это? Можно ли этому верить? Теперь, когда ему грозила смерть, томясь жаждой поддержки хотя бы моральной, если не материальной, Клайд занимался тем, чем занимается всякий при подобных обстоятельствах: искал – и притом самым окольным, извилистым путем, чуть ли не вслепую – признаков существования какой-нибудь, хотя бы сверхъестественной личности или силы, которая могла и захотела бы ему помочь, и уже начинал склоняться – пока еще нетвердо и бессознательно – к приданию человеческих черт и свойств тем силам, которые были ему известны только в формах, подсказываемых религией. «Небеса возглашают славу господу, и твердь являет плоды трудов его». Он вспомнил плакат с этими словами в окне миссии, которой руководила его мать. Вспомнил и другой: «Ибо он есть жизнь твоя и мера дней твоих». И все-таки, даже при внезапном своем расположении к преподобному Данкену Мак-Миллану, неужели он серьезно готов допустить, что какая бы то ни было религия может дать ему избавление от его несчастья?

Но время шло, и не реже двух раз в месяц, а то и каждую неделю преподобный Мак-Миллан навещал Клайда в тюрьме, расспрашивал о его самочувствии, выслушивал его жалобы, давал советы, касавшиеся физического и душевного равновесия. И Клайд, боясь лишиться этого участия и этих встреч, все больше и больше поддавался его дружескому влиянию. Высокий дух этого человека. Его чудесный голос. И всегда он находит такие льющиеся в душу слова: «Братья, все мы – чада господни. И неведомо еще, чем мы будем; знаем только, что, когда он придет, будем подобны ему, ибо увидим его, как он есть. И всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя, так как господь чист».

«Узнаем, что пребываем в нем, он же в нас, ибо он уделил нам от духа своего».

«Ибо нам есть цена».

«По собственной воле зачал он нас словом истины, и мы должны быть как бы первыми плодами среди созданного им. И всякое благо, и всякий совершенный дар дарован свыше и исходит от отца всех светов, который не ведает перемен, ни тени отклонения».

«Приблизьтесь к господу, и он приблизится к вам».

Порой Клайд склонен был поверить, что, обратясь к этой силе, можно обрести мир и спокойствие, и даже – как знать? – реальную помощь. Так действовали на него настойчивость и целеустремленность преподобного Мак-Миллана.

Но вставал вопрос о покаянии и, следовательно, об исповеди. Кому же исповедаться? Преподобному Мак-Миллану, разумеется. Тот как будто чувствовал потребность Клайда излить свою душу перед ним – или кем-нибудь ему подобным, – посланцем божьим, духовным, но облеченным во плоть. Но здесь-то и возникала трудность. Как быть с теми ложными показаниями, которые он давал на суде и на которых была основана вся его апелляция? Отречься от них сейчас, когда апелляционной жалобе уже дан ход? Лучше подождать, посмотреть, к чему приведет апелляция.

Ох, как он жалок, лицемерен, изменчив, фальшив! Станет господь бог нянчиться с человеком, который вот так торгуется по мелочам. Нет, нет! Это тоже неправильно. Что подумал бы о нем преподобный Мак-Миллан, если бы мог прочесть его мысли?

Но снова в сознании возникал тревожный вопрос о его подлинной виновности – о степени этой виновности. Да, конечно, вначале у него был замысел убить Роберту – сейчас этот замысел казался ему ужасным. Ведь, когда немного рассеялся хаос противоречий и страстей, созданный его неистовым влечением к Сондре, он обрел способность рассуждать, не испытывая той безумной, болезненной одержимости, которая им владела в пору встречи с нею. Те смутные, страшные дни, когда он, помимо своей волн (теперь, после защитительной речи Белнепа, он это хорошо понимал), сгорал от страсти, которая в своих проявлениях напоминала какую-то форму душевной болезни… Прекрасная Сондра! Изумительная Сондра! Какая колдовская

сила и огонь были тогда в ее улыбке! Даже сейчас пламя не совсем угасло в нем – оно еще тлеет, наперекор всем страшным событиям, что произошли за это время.

И нужно, необходимо отдать ему справедливость: никогда, ни при каких обстоятельствах не возникла бы у него такая страшная мысль или намерение – убить человека, девушку, да еще такую, как Роберта, если б не эта страсть, овладевшая им, подобно наваждению. Но не захотели же в Бриджбурге посчитаться с этим доводом. Захочет ли апелляционный суд? Наверно, не захочет. А между тем разве это неправда? Разве он в самом деле кругом виноват? Может ли преподобный Мак-Миллан или кто другой, услышав от него подробный рассказ обо всем, дать ответ на этот вопрос? Ему хотелось завести разговор с преподобным Мак-Милланом – признаться во всем, чтобы раз навсегда все стало ясно. Ведь пусть люди не знают этого, но бог знает,

– замыслив злодеяние ради Сондры, он в конце концов не сумел его совершить. А на суде об этом не было речи, потому что ложная основа, избранная для защиты, не позволяла тогда раскрыть всю истину, а тут очень важное смягчающее обстоятельство, – сумеет ли преподобный Мак-Миллан это понять? Джефсон настоял на том, чтобы он солгал. Но разве от этого правда перестала быть правдой?

Вспоминая теперь свой дикий, жестокий замысел, Клайд ясно видел в нем такие моменты, такие запутанные и противоречивые обстоятельства, которые нельзя было просто взять и сбросить со счета. Самых серьезных было два: во-первых, когда он завез Роберту в дальнюю, безлюдную бухту на том озере и вдруг почувствовал, что не в состоянии совершить задуманное, его охватила такая жгучая и бессильная злоба на самого себя, что он испугал ее и тем самым заставил встать и сделать движение к нему. И тогда он случайно ударил ее, и таким образом все-таки выходит, что он в какой-то мере повинен в этом ударе – так ведь? – ударе, который в этом смысле оказался преступным. Может быть. Что скажет на это преподобный Мак-Миллан? И второе: раз от этого удара она в конце концов упала в воду – значит, он виноват в ее падении. Его теперь больше всего смущала мысль о его реальной, фактической вине в совершившемся несчастье. Правда, Оберуолцер на суде сказал (когда речь шла о том, как он уплыл от нее), что если она упала в воду нечаянно, то нежелание помочь ей еще не является преступлением с его стороны, но сам он теперь, рассматривая это в связи со всем своим прежним отношением к Роберте, приходил к мысли, что все равно преступление было. Разве бог – или Мак-Миллан – не рассудит так же? Совершенно верно указал на процессе Мейсон – ведь он вполне мог ее спасти. И спас бы, без всякого сомнения, если бы это случилось с Сондрой или с тою же Робертой, но прошлым летом. А кроме того, страх, что она потащит его с собою под воду, – недостойный страх! (Обо всем этом он думал и спорил с самим собой по ночам, после того как Мак-Миллан стал побуждать его покаяться и примириться с богом.) Да, в этом он должен себе сознаться. Будь на месте Роберты Сондра, он тотчас же бросился бы спасать ее. А значит, он должен будет признать это и вслух, если решит покаяться перед Мак-Милланом или перед кем совершаются подобные покаяния… может быть даже, они приносятся публично? Но ведь такое покаяние, если на него решиться, наверняка приведет к его окончательному и безвозвратному осуждению. А разве он хочет признать себя виновным и умереть?

Нет, нет, лучше подождать еще немного, хотя бы до решения апелляционного суда. Зачем рисковать? Ведь бог все равно знает правду. А он горько, очень горько обо всем сожалеет. Он теперь хорошо понимает, как все это ужасно, сколько горя и несчастья, не говоря уже о смерти Роберты, он посеял кругом… Но… но жизнь так хороша… Ах, если бы только вырваться! Если бы только уйти отсюда и никогда больше не знать, не чувствовать, не вспоминать кошмара, который сейчас нависает над ним! Медленно сгущаются сумерки. Медленно наступает рассвет. Долгая ночь! Эти вздохи… Эти стоны! Пытка эта длится день и ночь, так что порой кажется: вот-вот он сойдет с ума; и, наверно, сошел бы, если бы не Мак-Миллан, который все больше и больше привязывается к нему и так умеет обласкать, утешить, ободрить. Как хорошо было бы как-нибудь сесть с ним рядом, здесь или в другом месте, и рассказать ему все, и от него услышать, виновен ли и насколько виновен, – и если виновен, то чтобы Мак-Миллан помолился за него! Иногда Клайд ясно чувствовал, что заступнические молитвы его матери и преподобного Данкена Мак-Миллана будут иметь больший успех у этого их бога, чем его собственные. Он еще не мог молиться. И, слушая порою мягкий, мелодичный голос Мак-Миллана, несущий к нему из-за решетки слова молитвы или посланий к галатам, коринфянам, фессалоникийцам, он думал, что нужно рассказать этому человеку все – и как можно скорей.

Но дни шли, а он упорно хранил молчание, так что преподобный Данкен стал уже терять надежду когда-либо склонить его к покаянию и спасению души, как вдруг через полтора месяца пришло письмо, вернее, записка, от Сондры. Оно было получено через канцелярию начальника и передано Клайду преподобным Престоном Гилфордом, протестантским духовником тюрьмы. Подпись отсутствовала, но бумага была хорошая, дорогая. Согласно тюремным правилам, письмо распечатали и прочли. Но в содержании его начальник и преподобный Гилфорд не усмотрели ничего, кроме сочувствия и укора, а так как, кроме того, было совершенно очевидно, что автор не кто иной, как неоднократно упоминавшаяся на суде мисс X, то после должного размышления решено было, что Клайду можно прочесть письмо – и даже следует прочесть. Это может послужить ему полезным уроком. «Пути беззаконных…» А потому как-то под вечер – дело было осенью, сменившей долгое томительное лето, и уже шел к концу год пребывания Клайда в тюрьме – ему принесли это письмо. Он взял его в руки. И хотя оно было написано на машинке и не имело ни даты, ни обратного адреса (только почтовый штемпель был нью-йоркский), он мгновенно почувствовал, что это от Сондры. И сразу же разволновался – даже рука, державшая конверт, слегка задрожала. Потом прочел строчки, которые много дней после этого перечитывал без конца:

«Клайд! Эти строки пишутся для того, чтобы вы не думали, будто та, которая была вам дорога когда-то, совсем вас забыла. Она тоже много выстрадала. И хотя она никогда не доймет, как вы могли сделать то, что сделали, все же и сейчас, хотя вы с ней никогда больше не увидитесь, она жалеет вас и желает вам свободы и счастья».

Без подписи – без единого следа ее руки. Она побоялась подписать свое имя и внутренне уже настолько отдалилась от него, что не захотела даже сообщить, где она теперь. Нью-Йорк? Но письмо могло быть написано где угодно и только отправлено из Нью-Йорка. И он никогда не узнает… никогда не узнает… даже если умрет в этих стенах, что легко может случиться. Рухнула его последняя надежда, последний проблеск его мечты. Конец! Так бывает, когда ночь гасит последнюю слабую полоску света над горизонтом. Неясный розоватый отблеск – и затем полный мрак.

Он присел на койку. Полосатая ткань его жалкой одежды и серые войлочные туфли привлекли его взгляд. Уголовный преступник. Эти полосы. И туфли. И камера. И смутная угроза впереди, о которой всегда одинаково страшно думать. И теперь – это письмо. Вот и кончился его чудесный сон! И ради этого он так отчаянно стремился освободиться от Роберты – готов был даже убить ее. Ради этого! Этого! Он повертел в руках письмо, потом руки его опустились. Где она теперь? В кого влюблена? За год ее чувства могли измениться. Может быть, у нее это было лишь легкое увлечение. А страшные вести о нем, вероятно, разбили всякое чувство к нему. Она свободна. Она хороша… богата. И, наверно, кто-нибудь другой…

Он встал и прошелся до двери камеры, чтобы заглушить растущую боль. Напротив, в камере, которую раньше занимал китаец, теперь сидел негр Уош Хиггинс. Говорили, что он зарезал в ресторане официанта, который отказался ему подавать и еще оскорбил вдобавок. А рядом сидел молодой еврей. Он убил владельца ювелирного магазина с целью грабежа. Но здесь, в ожидании казни, он все время был в подавленном, угнетенном состоянии – сидел целыми днями на койке, обхватив голову руками, и молчал. Клайд из своей камеры видел их обоих. Еврей сидел, как всегда, уронив голову на руки. А негр лежал на койке, закинув ногу на ногу, курил и пел:

Вот большое колесо катится – бац!

Вот большое колесо катится – бац!

Вот большое колесо катится – бац!

Прямо на-а меня!

Клайд отвернулся, не в силах спастись от собственных мыслей.

Впереди казнь! Он должен умереть! А это письмо – знак, что и с Сондрой тоже все кончено. Ясно. Это – прощание. «Хотя вы с ней никогда больше не увидитесь…» Он бросился ничком на койку – не плакать, просто отдохнуть, он так устал. Ликург. Двенадцатое озеро. Смех… Поцелуи… Улыбки. Все, чего он жаждал прошлой осенью. И вот – год спустя…

Но тут раздался голос молодого еврея. Когда молчание становилось нестерпимым для его истерзанных нервов, он начинал бормотать нараспев что-то вроде молитвы, но так, что это надрывало душу. Многие из заключенных пытались протестовать. Но сейчас его причитания пришлись как нельзя более кстати.

– Я был злым. Я грешил. Я лгал. О-о-о! Я нарушал слово. В сердце моем гнездился порок. Я был заодно с теми, кто творил дурные дела. О-о-о! Я воровал. Я лицемерил. Я был жесток. О-о-о!

Из другого конца откликнулся Большой Том Руни, осужденный за убийство некоего Тайса (тот отбил у него какую-то девицу из уголовного мира):

– Послушай, бога ради! Тебе нелегко, верно. Но ведь и мне не легче. Ради бога, перестань!

Клайд сидел на своей, койке, и мысли его кружились в такт причитаниям еврея, безмолвно вторя им: «Я был злым. Я грешил. Я лгал. О-о-о! Я нарушал слово. В сердце моем гнездился порок. Я был заодно с теми, кто творил дурные дела. О-о-о! Я лицемерил. Я был жесток. Я замышлял убийство. О-о-о! А ради чего? Ради пустой, несбыточной мечты. О-о-о! О-о-о!»

Когда час спустя тюремщик поставил ужин на полку дверного окошка, Клайд не шевельнулся. Ужинать! И вернувшийся через полчаса тюремщик нашел поднос на том же месте нетронутым, как и у еврея напротив, и унес его, не сказав ни слова. Тюремщики знали, что, когда на обитателей этих клеток находит тоска, они не могут есть. А случалось, что даже самим тюремщикам не шел кусок в горло.

Глава 33

Когда два дня спустя явился Мак-Миллан, Клайд все еще был угнетен и подавлен; это не укрылось от Мак-Миллана, и он захотел узнать причину. В их последние встречи Клайд своим поведением дал ему право думать, что хотя не все его поучения воспринимаются так горячо, как хотелось бы, но все же Клайд мало-помалу начинает проникаться теми религиозными идеями, которые он пытался ему внушить. Казалось, он сумел довести до сознания Клайда мысль, что не следует предаваться унынию и отчаянию. Как! Разве путь к благодати господней не открыт для вас? Тот, кто ищет и находит господа, – а кто ищет, тот находит, – не ведает печали, но лишь радость. «Узнаем, что пребывали в нем, он же в нас, ибо он уделил нам от духа своего». Таков был смысл всех его поучений и цитат, и вот наконец через две недели после письма Сондры, все еще находясь под тем тяжелым впечатлением, которое это письмо на него произвело, Клайд попросил Мак-Миллана похлопотать у начальника тюрьмы, чтобы им разрешили уединиться в какой-нибудь другой камере, подальше от этой части тюрьмы, где, казалось Клайду, самые стены пропитаны были его тяжелыми мыслями, и там он, Клайд, хочет поговорить с ним и просить его совета. По-видимому, сказал он Мак-Миллану, он не в состоянии сам решить, как велика его ответственность за все то, что произошло в его жизни в последнее время, и именно потому не может обрести тот душевный покой, о котором так много говорит преподобный Мак-Миллан. Может быть… может быть, он заблуждается в чем-то основном. Одним словом, он хотел бы обсудить с Мак-Милланом все подробности преступления, в котором его обвиняют, и выяснить, нет ли ошибки в том, как он сам ко всему этому относится. У него возникли кое-какие сомнения. И Мак-Миллан, сильно взволнованный, – это ли не духовная победа, это ли не вознаграждение за веру и благочестие! – поспешил к начальнику тюрьмы, который рад был содействовать такой благой цели и тут же разрешил ему свидание с Клайдом в одной из камер старого Дома смерти на неограниченное время и без надзирателя, только с охраной в коридоре.

И Клайд рассказал Мак-Миллану всю историю своих отношений с Робертой и Сондрой. О том, что было известно из судебных отчетов, он только упомянул, не касаясь, впрочем аргументов защиты, истории с душевным переломом и прочего; затем более подробно остановился на роковом эпизоде в лодке. Он хотел бы узнать мнение преподобного Мак-Миллана: виновен ли он, раз у него был такой замысел, и, следовательно, вначале было такое намерение? А тут еще его безумное увлечение Сондрой, все мечты о будущем, связанные с нею… значит, его действительно нужно считать убийцей? Он задает этот вопрос, потому что вот так на самом деле все и было – именно так, а не как выходило из показаний на суде. Это все неправда, будто у него в душе произошел перелом. Адвокаты придумали это для его защиты, потому что считали его невиновным и думали, что так легче всего будет добиться оправдания. Но это неправда. И насчет того, что он думал и чувствовал там в лодке, перед тем как Роберта встала и шагнула к нему, и после, – тут он тоже сказал неправду, верней, не всю правду. Тот случайный удар, который он нанес… очень хотелось бы разобраться во всем, что связано с этим ударом, потому что это мешает его попыткам религиозного просветления, его желанию с чистой совестью предстать перед творцом. (Он не упомянул, что до сих пор это его мало беспокоило.) Но сам он еще не вполне разобрался во всем этом. Даже сейчас тут для него много сомнительного и непонятного. На суде он сказал, что не чувствовал к ней злобы, что у него в душе произошел перелом. Но никакого перелома не было. На самом деле за минуту перед тем, как она встала, чтоб подойти к нему, им овладело какое-то странное, смутное состояние – что-то похожее на транс или столбняк, так ему теперь кажется, – а чем оно было вызвано, он и сам не знает. Тогда – нет, потом – он думал, что, может быть, ему вдруг стало жаль Роберту или стыдно за свою жестокость. А с другой стороны, была и злоба, и даже ненависть, ибо она хотела заставить его сделать то, чего он не хотел. И третье – правда, в этом он не уверен (он столько думал об этом, а все-таки до сих пор не уверен) – был еще, может быть, и страх перед последствиями такого злодеяния, хотя сейчас ему кажется, будто в ту минуту он думал не о последствиях, а лишь о своей неспособности совершить задуманное и злился на себя за эту слабость.

Но когда он ударил ее, – нечаянно ударил в то мгновение, как она встала с места и шагнула к нему, – может быть, тут бессознательно сказалась и злоба на нее за то, что она хочет к нему подойти. И может быть – наверняка он этого и сейчас не знает, – но, может быть, именно потому удар получился такой сильный. Так, во всяком случае, он подумал потом. Но верно и то, что, вставая, он хотел ей помочь, несмотря на свою ненависть. В ту минуту он пожалел, что ударил ее. Однако, когда лодка перевернулась и они оба очутились в воде и она стала захлебываться, у него сразу мелькнула мысль: «Пусть». Потому что это был случай от нее избавиться. Да, у него была такая мысль. Но не надо забывать, – и это особенно подчеркивали мистер Белнеп и мистер Джефсон, – что все это время он был одержим страстью к мисс X и что это была главная причина всего случившегося. Так вот, если принять во внимание все, как было, с начала до конца, – и то, что хоть он ударил Роберту и нечаянно, а все-таки со зла, так как был зол на нее за ее упрямство – да, был, – и то, что потом он не стал спасать ее (он сам сейчас честно старается это подчеркнуть), – думает ли преподобный Мак-Миллан, что он все-таки повинен в убийстве, что он совершил смертный грех, кровавое преступление и по совести и по закону заслуживает казни? Да? Он хотел бы знать это ради собственного спокойствия, чтоб можно было хотя бы молиться.

Преподобный Мак-Миллан слушал все это, глубоко потрясенный, – еще никогда в жизни он не стоял перед необходимостью решать такую сложную и необычную задачу, а кроме того, доверие и уважение Клайда налагало на него огромную ответственность. Он сидел не шевелясь, погруженный в глубокое, печальное, почти болезненное раздумье: слишком серьезным и важным был ответ, которого от него ждали, ответ, в котором Клайд надеялся обрести земной и душевный покой. А преподобный Мак-Миллан был слишком ошеломлен, чтобы так быстро найти нужный ответ.

– Клайд, значит, до того как вы сели с нею в лодку, ваше настроение не изменилось, – я хочу сказать, ваше намерение ее… ее…

Лицо у преподобного Мак-Миллана осунулось и побледнело. Глаза смотрели печально. Он только что выслушал грустную и страшную повесть – нехорошую, жестокую повесть, полную мучительного самобичевания. Этот мальчик… значит, в самом деле… Страстная, беспокойная душа, которая взбунтовалась, потому что ей не хватало многого, чего никогда не жаждал преподобный Мак-Миллан. И, взбунтовавшись, впала в смертный грех и была осуждена погибнуть. Сердце преподобного Мак-Миллана сжималось от жалости, а в мыслях царило смятение.

– Нет, не изменилось, – ответил Клайд.

– И вы сердились на себя, говорите вы, за то, что не находили в себе сил свершить задуманное?

– Да, это тоже было. Но я и жалел Роберту, понимаете? А может быть, еще и боялся. Я сам сейчас точно не знаю. Может быть, да, а может быть, и нет.

Преподобный Мак-Миллан покачал головой. Так странно все это! Так неопределенно! Так дурно! И все же…

– Но в то же время, если я вас верно понял, вы сердились и на нее за то, что она довела вас до такого положения?

– Да.

– Заставила вас разрешать столь мучительную задачу?

– Да.

Мак-Миллан огорченно поцокал языком.

– И тогда вам захотелось ее ударить?

– Да, захотелось.

– Но вы не смогли?

– Не смог.

– Да будет благословенна милость божия. Но в этом ударе, который вы ей нанесли, – нечаянно, как вы говорите, – сказалась все же ваша злоба против нее. И потому удар вышел такой… такой сильный. Вы не хотели, чтобы она к вам приближалась?

– Не хотел. По крайней мере так мне теперь кажется. Я не могу сказать с уверенностью. Может быть, я был немножко не в себе. То есть… ну, очень взволнован… почти болен. Я… я…

Клайд сидел перед ним, в тюремной полосатой одежде, остриженный под машинку, и силился честно и беспристрастно представить все, как оно было на самом деле, ужасаясь, что ему не удается даже для самого себя точно установить, виновен он или не виновен. Да или нет?

И преподобный Мак-Миллан, сам крайне взволнованный, мог только пробормотать:

– «Широки врата и просторен путь, ведущий к погибели». – Потом прибавил: – Но вы встали, чтобы прийти ей на помощь?

– Да, потом я встал. Я хотел подхватить ее, когда увидел, что она падает. Оттого и опрокинулась лодка.

– Это верно, что вы хотели ее подхватить?

– Не знаю. В ту минуту, по-моему, хотел. Во всяком случае, я пожалел, что так вышло.

– Но можете ли вы сказать точно и определенно, как перед богом, что вы пожалели об этом и что в ту минуту вы хотели ее спасти?

– Знаете, все произошло так быстро, – начал Клайд нервно, почти с отчаянием в голосе, – я просто боюсь утверждать. Нет, я не уверен, что пожалел очень сильно. Нет. Честное слово, я теперь сам не знаю. Иногда мне кажется: да, пожалуй, а иногда я сомневаюсь. Но когда ома исчезла под водой, а я выплыл на берег, тут я пожалел… немножко. Но была и радость – понимаете, ведь я почувствовал, что свободен… и страх тоже… Вы понимаете…

– Да, да, я понимаю. Вы думали об этой мисс X. Но раньше, когда вы только увидели, что она тонет…

– Тогда – нет.

– Вам не хотелось спасти ее?

– Нет.

– Вам не было тяжело? Не было стыдно?

– Стыдно – да, пожалуй. Может быть, и тяжело тоже. Я понимал, что все это ужасно. Я это чувствовал. Но все-таки… понимаете…

– Да, да, конечно. Эта мисс X. Вам хотелось вырваться.

– Да… но главное, я испугался, и мне не хотелось помогать ей.

– Понятно, понятно… Наверно, вы думали о том, что, если она утонет, вы сможете уйти к мисс X. Об этом вы думали?

Губы преподобного Мак-Миллана плотно и скорбно сжались.

– Да.

– Сын мой! Сын мой! Значит, вы совершили убийство в сердце своем!

– Да, вы правы, – задумчиво сказал Клайд. – Я уже и сам пришел к мысли, что это было именно так.

Преподобный Мак-Миллан помедлил, потом, чтобы укрепить свой дух для непосильной задачи, стал молиться – безмолвно, про себя: «Отче наш, иже еси на небеси – да святится имя твое, да приидет царствие твое, да будет воля твоя – яко на небеси и на земли». Потом вышел из своей неподвижности.

– Послушайте меня, Клайд. Нет Греха слишком большого для милосердия божьего. Я твердо знаю это. Он сына своего послал смертью искупить зло мира. Он простит и ваш грех, если только вы покаетесь. Но этот замысел! Этот ваш поступок! Многое вам надо замаливать, сын мой, очень многое! Ибо в глазах господа, боюсь я… да… Но все же… Я буду молиться о том, чтобы господь просветил меня и наставил. То, что вы рассказали мне, странно и страшно. На это можно смотреть по-разному. Может быть… но, впрочем, молитесь. Молитесь здесь, со мною, о ниспослании света очам нашим.

Он склонил голову и несколько минут сидел молча, и Клайд, тоже молча, а сомнении и нерешительности, сидел рядом с ним. Потом Мак-Миллан начал:

– О господи, не отринь меня в ярости твоей и не покарай во гневе твоем. Помилуй меня, господи, ибо я слаб… Исцели меня в моем стыде и печали, ибо душа моя изранена и темна пред очами твоими. Изгони нечестие из сердца моего. Осени меня, господи, праведностью твоею. Изгони нечестие из сердца моего и забудь о нем.

Клайд сидел, опустив голову, – тихо, совсем тихо. Теперь и он был потрясен и полон скорби. Да, видно, он совершил большой грех. Большой, тяжкий грех! И все же… Но тут преподобный Мак-Миллан умолк и встал, и Клайд тоже поспешил встать.

– Мне пора, – сказал Мак-Миллан. – Я должен помолиться… подумать. Все, что вы рассказали, смутило и взволновало меня. Видит бог, это так. А вы – вы, сын мой, ступайте к себе и продолжайте молиться в одиночестве. Кайтесь. На коленях просите господа о прощении, и он услышит вас. Да, да. Услышит. А завтра – или как только я почувствую себя готовым – я опять приду. Но не отчаивайтесь. Молитесь и молитесь, ибо только в молитве и покаянии – спасение. Уповайте на могущество того, кто весь мир держит в деснице своей. Его могущество и милосердие сулят вам прощение и мир душе вашей. Истинно так.

Он постучал в решетку кольцом ключа, который держал в руке, и надзиратель, шагавший по коридору, сейчас же подошел.

Преподобный Мак-Миллан проводил Клайда до его камеры и постоял, покуда его вновь запирали в эту тесную клетку; потом простился и вышел. Все, что он услышал сегодня, тяжелым камнем лежало у него на душе. А Клайд остался со своими размышлениями обо всем сказанном и о том, как это отразится на Мак-Миллане и на нем самом. Его новый друг был так подавлен. С каким ужасом и болью он выслушал все это! Неужели же он, Клайд, действительно и безоговорочно виновен? Действительно и безоговорочно заслуживает смерти за свою вину? Может ли быть, чтобы преподобный Мак-Миллан решил именно так? Несмотря на всю свою кротость и милосердие?

Прошла неделя, – за эту неделю преподобный Мак-Миллан, под впечатлением видимого раскаяния Клайда и всех осложняющих и смягчающих обстоятельств, на которые тот ему указывал, еще и еще раз тщательно продумал нравственную сторону дела, – и вот он вновь у двери его; камеры. Но он пришел лишь для того, чтобы сказать, что, даже со всей снисходительностью рассматривая факты, как их наконец правдиво обрисовал Клайд, он не может снять с Клайда вину – непосредственную или косвенную. Он замышлял убить Роберту – не так ли? Он не пытался спасти ее, когда мог это сделать. Он желал ей смерти и не испытывал потом сожаления. В ударе, который опрокинул лодку, нашла выход его злоба. И даже к чувствам, помешавшим ему нанести этот удар сознательно, тоже примешивалась злоба. То, что он замыслил свое преступление, пленившись красотой и высоким положением мисс X, и что Роберта, после их беззаконной связи, настаивала, чтобы он женился на ней,

– не может служить ему оправданием; напротив, это лишь новые доказательства его греховности я преступности перед людьми. Грешен он во многом и перед господом. В ту страшную пору он, увы, являл собою лишь сочетание корысти, беззаконных желаний и блуда – всех тех пороков, которые бичевал апостол Павел. И так продолжалось без изменений до самого конца, пока его не арестовали. Он не раскаялся даже на Медвежьем озере, где у него было достаточно времени для размышлений. И, кроме всего, разве не усугублял он свою вину с начала и до конца заведомой и злонамеренной ложью? Истинно так.

С другой стороны, без сомнения, послать его на электрический стул сейчас, когда он впервые, но так явно обнаружил признаки раскаяния, когда он только-только начал понимать весь ужас содеянного, не значит ли это помножить преступление на преступление, причем преступником в данном случае явилось бы государство? Подобно начальнику тюрьмы и многим другим, Мак-Миллан был противником смертной казни, считая, что разумнее заставлять правонарушителя в той или иной форме служить государству. Но тем не менее он должен был признать, что Клайд – далеко не безвинно осужденный. Сколько он ни думал и как бы ни хотел найти оправдание в своей душе, но разве не был Клайд на самом деле виновен?

Напрасно Мак-Миллан указывал Клайду, что его пробудившееся нравственное и духовное самосознание делает его более совершенным, более пригодным для жизни и деятельности, чем прежде. Клайд чувствовал, что он одинок. Не было на свете человека, который бы в него верил. Никого. Ни единого человека, который в его бессвязных и противоречивых действиях перед катастрофой усмотрел бы что-либо, кроме тягчайшего преступления. И все же… все же (наперекор Сондре, и преподобному Мак-Миллану, и всему миру, включая Мейсона, присяжных в Бриджбурге и апелляционный суд в Олбани, если он оставит в силе решение бриджбургских присяжных) в глубине его души жило чувство, что он не так виноват, как всем им, по-видимому, кажется. В конце концов ведь их не мучили, как мучила его Роберта своим упорным стремлением выйти за него замуж и тем испортить ему жизнь. Их не жгла неистребимая страсть к Сондре, к воплощению сказочной мечты. Они не изведали всех мук и унижений его несчастного детства, им не приходилось петь и молиться на улице, сгорая со стыда, когда вся душа, все существо рвалось к иной, лучшей доле. Кто из всех этих людей, включая и его мать, смеет судить его, не зная, какие нравственные, телесные и душевные муки он успел пережить? Даже сейчас, мысленно переживая все это вновь, он так же остро чувствует боль этих страданий. Хотя факты все против него и хотя нет человека, который не считал бы его виновным, что-то в глубине его существа громко протестует против этого, так что даже сам он порой удивляется. Но ведь вот преподобный Мак-Миллан – такой справедливый, хороший и добросердечный человек. Конечно, он лучше, чем сам Клайд, способен видеть и оценить все происшедшее… Так временами твердое сознание своей невиновности сменялось в нем мучительными сомнениями.

Ах, эти противоречивые, запутанные, мучительные мысли!! Неужели ему так и не удастся ясно – раз и навсегда – понять все это?

Так и не может Клайд найти истинное утешение в привязанности, дружбе и вере такой чистой и любящей души, как преподобный Мак-Миллан, или во всемогущем и всемилостивом боге, чьим посланцем он является. Что же все-таки делать? Где взять слова для молитвы, проникновенной, чистой, смиренной? И, следуя настояниям преподобного Данкена, увидевшего в исповеди Клайда доказательство полного его обращения к богу, он снова листает указанные ему страницы, читает и перечитывает уже хорошо знакомые псалмы, надеясь, что они вдохновят его на раскаяние – залог покоя и твердости духа, которых он так жаждет в эти долгие томительные часы. Но вдохновение не приходит.

Так миновало еще четыре месяца. А по истечении этого срока, в январе 19.. года апелляционный суд в составе Кинкэйда, Бриггса, Трумэна и Добшутера, рассмотрев дело (по докладу Дж.Фулхэма, резюмировавшего материалы Белнепа и Джефсона), признал Клайда виновным и постановил оставить в силе приговор суда присяжных округа Катараки и привести таковой в

исполнение в один из дней недели, начинающейся двадцать третьего февраля, то есть через полтора месяца. В постановлении говорилось:

«Мы учитываем, что обвинение основывается исключительно на косвенных уликах, и единственный очевидец отрицает, что смерть явилась результатом преступления. Но представитель обвинения в соответствии с самыми строгими требованиями, предъявляемыми к этому виду обвинений, весьма тщательно и умело собрал огромный материал в виде косвенных улик и показаний и представил его суду на предмет правильного решения вопроса о виновности подсудимого.

Можно было бы считать, что некоторые факты, взятые в отдельности, являются спорными ввиду недостаточности или противоречивости улик и что некоторые обстоятельства допускают толкование в пользу подсудимого. Защита весьма талантливо пыталась отстаивать эту точку зрения.

Но, будучи рассмотрены в общей связи, факты представляют собой столь убедительное доказательство виновности, что мы не можем опровергнуть его никаким логическим рассуждением и вынуждены заявить, что приговор не только не находится в противоречии с данными следствия и суда и с теми выводами, которые надлежит из них сделать, но, напротив, полностью таковыми оправдывается. Решение низшей судебной инстанции единогласно подтверждается».

Мак-Миллан услышал об этом в Сиракузах и немедленно поспешил к Клайду, чтобы в час официального объявления результатов апелляции быть с ним и духовно поддержать его, ибо он был убежден, что лишь господь – постоянная и вездесущая опора наша в тяжелую минуту – может дать Клайду силы перенести этот удар. Но, к глубокому его облегчению, оказалось, что Клайд еще ни о чем не подозревает, так как в подобных случаях решение объявляли осужденным, только когда прибывало распоряжение о казни.

После сердечной и вдохновенной беседы, в которой Мак-Миллан приводил слова Матфея, Павла и Иоанна о бренности мира сего и об истинных радостях будущего, Клайд должен был выслушать от своего друга известие о том, что суд решил дело не в его пользу. Правда, Мак-Миллан тут же упомянул, что он и еще ряд лиц, на которых он рассчитывал повлиять, обратятся с прошением к губернатору штата, но это означало, что, если губернатор не захочет вмешаться, через полтора месяца Клайд умрет. Но наконец эти страшные слова были произнесены, и Мак-Миллан продолжал говорить о вере – о прибежище, которое человек обретает в милосердии и мудрости божией, – а Клайд стоял перед ним, выпрямившись, и взгляд его был твердым и мужественным, как никогда за всю его короткую и бурную жизнь.

«Итак, они решили против меня. Значит, все-таки я войду в ту дверь, как многие другие. И для меня опустят занавески перед камерами. И меня поведут в старый Дом смерти и потом по узкому коридору назад, и я, как другие, скажу что-нибудь на прощание, перед тем как войти. А потом и меня не станет». Он словно перебирал в памяти все подробности процедуры – подробности, которые так хорошо были ему знакомы, – только сейчас он впервые переживал их, зная, что все это произойдет с ним самим. Сейчас, уже выслушав роковое известие во всей его грозной и словно гипнотизирующей силе, он не чувствовал себя подавленным и ослабевшим, как ожидал. Напротив, к своему удивлению, он сосредоточенно и внешне спокойно размышлял о том, как теперь поступать, что говорить.

Повторить молитву, которую прочитал преподобный Данкен Мак-Миллан. Да, конечно. Даже с радостью. Но все же…

В своем мгновенном оцепенении он не заметил, что преподобный Данкен шепчет:

– Только не думайте, что это уже конец. В январе приступает к своим обязанностям новый губернатор. Говорят, это очень умный и добрый человек. У меня есть знакомые, которые хорошо знают его, и я рассчитываю отправиться к нему лично, заручившись письмами от людей, которые его знают и которые напишут на основании моих слов.

Но по глазам Клайда и по его ответу Мак-Миллан понял, что тот не слушал.

– Мать… Надо, чтобы кто-нибудь телеграфировал матери. Ей будет очень тяжело. – И потом: – Наверно, они не согласились, что было неправильно читать те письма полностью, да? А я надеялся, что согласятся.

Он думал о Николсоне.

– Не беспокойтесь, Клайд, – отвечал измученный, опечаленный Мак-Миллан; ему сейчас больше всего хотелось не говорить, а обнять Клайда, приласкать и утешить его. – Вашей матушке я уже телеграфировал. А что касается самого решения, я сейчас же повидаюсь с вашими адвокатами. И потом, я уже сказал вам, я сам поеду к губернатору. Он из новых людей, вот что важно.

И снова он повторил все то, чего Клайд в первый раз не услышал.

Глава 34

Место действия – кабинет только что избранного губернатора штата Нью-Йорк, недели через три после того, как Мак-Миллан сообщил Клайду о решении апелляционного суда. После многих предварительных и безуспешных попыток Белнепа и Джефсона добиться замены смертной казни пожизненным заключением (обычная просьба о помиловании, затем ссылка на неправильное истолкование улик, на незаконность оглашения писем Роберты, что, однако, ни к чему не привело, так как губернатор Уотхэм, бывший окружной прокурор и судья из южной части штата, счел своим долгом ответить, что не видит поводов к вмешательству) перед губернатором Уотхэмом предстала миссис Грифитс в сопровождении преподобного Мак-Миллана. Губернатор согласился наконец принять ее, отчасти ввиду широкого общественного интереса к делу Клайда, а отчасти и потому, что движимая своей несокрушимой любовью мать, узнав о решении апелляционного суда, снова поспешила в Оберн и с тех пор настойчиво требовала в письмах и через печать, чтобы он заинтересовался смягчающими обстоятельствами, связанными с падением ее сына, а потом стала добиваться личного свидания с ним, желая изложить собственную точку зрения на дело. Губернатор решил, что вреда от этого не будет. А матери, может быть, станет легче. Изменчивое в своих настроениях общество, – какого бы мнения оно ни придерживалось в том или ином случае, – если верить газетам, склонно было считать Клайда виновным. Но миссис Грифитс после долгих раздумий о Клайде и Роберте, обо всем, что вынес Клайд во время и после суда, и, наконец, о том, что, по словам преподобного Мак-Миллана, он полностью раскаялся в своем грехе и обратился к богу, – сейчас больше, чем когда-либо, была убеждена, что по законам человечности и даже справедливости ему должны хотя бы сохранить жизнь. И вот она стоит перед губернатором, высоким, сдержанным и несколько угрюмым человеком, который едва ли хоть раз в жизни ощущал на себе дыхание тех страстей, что палили Клайда, но, как примерный отец и муж, готов был понять переживания миссис Грифитс. Впрочем, сейчас он нервничал под бременем обязательств, которые налагало на него, с одной стороны, уже сложившееся представление об обстоятельствах дела, а с другой стороны – привычная и неискоренимая приверженность к закону и порядку. Он внимательно прочитал и все материалы, фигурировавшие в апелляционном суде, и последние документы, представленные Белнепом и Джефсоном. Но на каком основании он, Дэвид: Уотхэм, не имея перед собой никаких новых данных, – только попытку иного истолкования уже рассмотренных улик, – рискнет заменить Клайду смертный приговор пожизненным заключением? Ведь уже два суда постановили, что он должен умереть!

И когда миссис Грифитс дрожащим голосом стала обстоятельно рассказывать всю историю жизни Клайда с самого начала, – какой он был хороший, никогда не совершал дурных или жестоких поступков вплоть до этого случая (а здесь и сама Роберта не без греха, не говоря уже о мисс X), – губернатор только смотрел на нее с глубоким волнением. Как велика в ней сила материнской любви! Как она страдает сейчас, как твердо верит, что ее сын не повинен в злодеянии, в котором изобличают его факты, неопровержимые для него, Уотхэма, и для всякого другого.

– О, дорогой господин губернатор, если вы отнимете жизнь у моего сына теперь, когда он омыл свою душу от прегрешений и готов посвятить себя служению господу, – разве вы этим возместите государству смерть той бедной девушки, чем бы она ни была вызвана? Неужели миллионы граждан штата Нью-Йорк не способны быть милосердными? Неужели вы, их представитель, не можете явить на деле милосердие, которое, наверно, пробудилось в них?

Голос ее сорвался… она не могла продолжать. Она отвернулась и беззвучно зарыдала, а Уотхэм растерянно смотрел на нее, с трудом сдерживая охватившее его волнение. Бедная женщина! Такая искренняя и честная, – это сразу видно. Тогда, воспользовавшись минутой, заговорил преподобный Мак-Миллан. С Клайдом произошла большая перемена. Он не берется судить о его прошлой жизни, но со времени своего заключения – за последний год, во всяком случае, – этот юноша научился по-новому понимать жизнь, свой долг, свои обязанности перед богом и людьми. Если б только можно было заменить ему смертную казнь пожизненным заключением…

Губернатор, человек добросовестный и вдумчивый, самым внимательным образом слушал Мак-Миллана, который показался ему незаурядной личностью с высокими нравственными идеалами. Он ни на минуту не усомнился, что каждое слово этого человека правдиво – в том единственном понимании правды, которое было ему доступно.

– Но скажите, мистер Мак-Миллан, – сумел наконец выговорить губернатор,

– вы лично, после вашего длительного общения с ним в тюрьме, смогли бы привести какой-нибудь конкретный факт, не упоминавшийся на суде, который мог бы изменить или опровергнуть значение тех или иных свидетельских показаний? Поймите, мы имеем дело с законом. Я не могу действовать, повинуясь только голосу чувства, в особенности после того, как два разных суда пришли к единогласному решению.

Он смотрел прямо в глаза Мак-Миллану, а Мак-Миллан смотрел ему в глаза, бледный и безмолвный, ибо теперь на его плечи легла вся тяжесть решения, от его слова зависело, признают ли Клайда виновным или нет. Но как он может? Разве он не решил уже после должного раздумья над выслушанной им исповедью, что Клайд виновен перед богом и людьми? Так смеет ли он сейчас, милосердия ради, изменить своему глубокому душевному убеждению, заставившему его осудить Клайда? Будет ли это правильно, истинно и бесспорно в глазах господа? И тотчас Мак-Миллан решил, что он, как духовный наставник Клайда, обязан полностью сохранить в его глазах свое духовное превосходство. «Вы соль земли; если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?» И он ответил губернатору:

– В качестве духовного наставника я интересовался только его духовной жизнью, а не юридической ее стороной.

Но что-то в выражении его лица тут же подсказало Уотхэму, что Мак-Миллан, как и все, убежден в виновности Клайда. И он наконец нашел в себе мужество сказать миссис Грифитс:

– Пока у меня нет совершенно конкретных и прежде неизвестных данных, которые ставили бы под сомнение законность двух предыдущих решений, я не вправе, миссис Грифитс, что-либо изменить в приговоре. Я глубоко скорблю об этом, скорблю от всего сердца. Но если мы хотим, чтобы люди уважали закон, мы не должны менять основанные на нем решения, не имея на то законных же оснований. Я был бы счастлив, если б мог ответить вам иначе. Поверьте, это не слова. Буду молиться за вас и за вашего сына.

Он нажал кнопку. Вошел секретарь. Было ясно, что прием окончен. Миссис Грифитс все еще не могла произнести ни слова, странная уклончивость Мак-Миллана в критическую минуту, когда губернатор прямо задал ему самый важный вопрос – вопрос о виновности Клайда, совершенно сразила ее. Что же теперь? Куда броситься? У кого искать помощи? У бога – и только у бога. Господь вознаградит ее и Клайда за горести, за телесную гибель в этом мире. Поглощенная такими мыслями, она продолжала тихо плакать; преподобный Мак-Миллан бережно взял ее под руку и повел из кабинета.

Когда она ушла, губернатор повернулся к секретарю:

– Никогда мне не приходилось исполнять более печальной обязанности. Это не изгладится из моей памяти до конца дней моих.

Он отвернулся и стал смотреть в окно, на снежный февральский пейзаж.

И после этого Клайду осталось жить всего две недели. Об этом последнем и окончательном решении сообщил ему тот же Мак-Миллан, но в присутствии его матери, по лицу которой Клайд все понял еще прежде, чем Мак-Миллан начал говорить, и она снова повторила ему, что он должен искать прибежища в боге, спасителе нашем. И вот он ходит взад и вперед по тесной камере, потому что покой и неподвижность для него теперь невыносимы. Сейчас, когда окончательно и бесповоротно решено, что он умрет через несколько дней, у него появилась потребность еще раз вспомнить всю свою неудачную жизнь. Юность. Канзас-Сити. Чикаго. Ликург. Роберта и Сондра. Как быстро проносилось перед его умственным взором все, что было связано с ними обеими. Немногие, короткие, яркие мгновения. Его желание продлить их – властное желание, всецело захватившее его тогда в Ликурге, после встречи с Сондрой, – и потом это, это! А теперь и этому приходит конец – и этому тоже… Да ведь он еще почти и не жил: уже два года он томится в давящих стенах тюрьмы. Но и здесь ему осталось лишь четырнадцать, тринадцать, двенадцать, одиннадцать, десять, девять, восемь зыбких, лихорадочных дней. Они уходят… уходят… Но жизнь… жизнь… как же так: вдруг не станет жизни – красоты дней, солнца и дождя, работы, любви, энергии, желаний? Нет, нет, он не хочет умирать. Не хочет. Зачем все эти разговоры матери и Мак-Миллана о том, что нужно уповать на милосердие божие и думать только о боге, когда главное – это сегодня, сейчас?! А Мак-Миллан утверждает, что только во Христе и в загробной жизни истинный мир. Да, да… но все же, разве он не мог сказать губернатору… разве он не мог ему сказать, что Клайд не виновен или не совсем виновен, – только в ту минуту так взглянуть на это, – и тогда… тогда… быть может, губернатор заменил бы ему казнь пожизненным заключением… быть может… Он спросил у матери (умолчав о своей исповеди), заступился ли преподобный Мак-Миллан за него перед губернатором, и она ответила, что он говорил об искреннем смирении Клайда перед господом, но не сказал, что он не виновен. И Клайд думал: как странно, что Мак-Миллан не сумел заставить себя сделать для него больше! Как грустно! Как ужасно! И неужели никто никогда не поймет, не оценит его человеческих страстей – пусть дурных, пусть слишком человеческих, но ведь и многих других они терзают так же, как и его.

Но вот что хуже всего: миссис Грифитс знала, что преподобный Мак-Миллан сказал (вернее – чего он не сумел сказать) в ответ на последний вопрос губернатора Уотхэма, – то же он повторил позднее и ей в ответ на такой же вопрос, и ее потрясла мысль, что, быть может, в конце концов Клайд действительно виновен, как она вначале опасалась. И потому она как-то сказала:

– Клайд, если есть что-нибудь такое, в чем ты не признался, ты должен признаться прежде, чем наступит конец.

– Я признался богу и мистеру Мак-Миллану, мама. Разве этого не довольно?

– Нет, Клайд. Ты сказал всему миру, что не виновен. Если это не так, ты должен сказать правду.

– Но если совесть моя говорит мне, что я прав, разве этого не довольно?

– Нет, Клайд, если господь говорит иначе, – взволнованно ответила миссис Грифитс, испытывая жестокие душевные муки.

Но он на этот раз предпочел прекратить разговор. Как мог он обсуждать с матерью или со всем миром странные, смутные оттенки чувств и событий, которые остались для него неясными даже после исповеди и дальнейших бесед с Мак-Милланом? Об этом нечего было и думать.

Сын отказался ей довериться! Миссис Грифитс и как служительница религии и как мать жестоко страдала от этого удара. Родной сын на пороге смерти не пожелал сказать ей то, что он, видимо, уже сказал Мак-Миллану. Неужели господь вечно будет испытывать ее? И все же Мак-Миллан сказал, что, по его мнению, каковы бы ни были прегрешения Клайда в прошлом, ныне он покаялся и стал чист перед всевышним, и поистине этот юноша готов предстать пред лицо создателя; вспоминая эти слова Мак-Миллана, она несколько успокаивалась. Господь велик и милостив. В лоне его обретешь мир. Что значит смерть и что значит жизнь для того, чье сердце и дух пребывают в мире с господом? Ничто! Еще немного лет (очень немного!) – и она и Эйса, а затем и брат и сестры Клайда соединятся с ним, и все его земные невзгоды будут забыты. Но если нет примирения с господом, нет полного и прекрасного сознания его близости, любви, заботы и милосердия… Минутами она трепетала в религиозном экстазе, уже не вполне нормальном, как видел и чувствовал Клайд. И в то же время по ее молитвам и тревоге о его душевном благополучии он видел, как мало, в сущности, она всегда понимала его подлинные мысли и стремления. Тогда, в Канзас-Сити, он мечтал о многом, а было у него так мало. Вещи – просто вещи – так много значили для него, ему было так горько, что его водят по улицам, выставляя напоказ перед другими детьми, – и у многих из них есть все те вещи, которых он так жаждал… и тогда он был бы счастлив оказаться где угодно, лишь бы не быть там, на улице! Ох, эта жизнь миссионеров, которая казалась матери чудесной, а ему такой тоскливой! Но, может быть, нехорошо, что он так думал? Возможно ли? Пожалуй, бог теперь разгневается на него за это? Быть может, мать была права в своих мыслях о нем. Бесспорно, он больше преуспел бы, если бы следовал ее советам. Но как странно: мать полна любви и жалости к нему, она стремится помочь ему со всей силой своего сурового самопожертвования – и, однако, даже теперь, в свои последние часы, когда он больше всего на свете жаждет сочувствия и более чем сочувствия – подлинного и глубокого понимания, – даже теперь он не может ей довериться и сказать ей, родной матери, как все это случилось. Их словно разделяет глухая стена, неодолимая преграда взаимного непонимания – в этом все дело. Никогда ей не понять, как он жаждал комфорта и роскоши, красоты, любви – той любви, что неотделима от пышности, удовольствий, богатства, видного положения в обществе, – не понять его страстных, неодолимых желаний и стремлений. Она не может этого понять. Она сочла бы, что все это очень дурно – грех, себялюбие. А в его роковых поступках в отношении Роберты и Сондры увидела бы разврат, прелюбодеяние, даже убийство. И она упорно ждет от него проявлений глубокого и полного раскаяния, тогда как даже теперь, несмотря на все, что он говорил преподобному Мак-Миллану и ей, его чувства не такие… не совсем такие, как ни горячо он желает найти прибежище в боге, а еще лучше, если бы это было возможно, в любящем и всепонимающем сердце матери. Если бы это было возможно…

Господи, как все это ужасно! Он так одинок, даже в эти последние немногие, неуловимо проносящиеся дни и часы (они проходят так быстро…), одинок, ибо хотя мать и преподобный Мак-Миллан с ним, но ни та, ни другой его не понимают.

Но главное (и это хуже всего), он заперт здесь, и его не выпустят. Он давно уже понял, что это система – страшная, раз навсегда установленная. Железная. Она действует автоматически, как машина, без помощи людей или человеческих сердец. Эти тюремщики! Они тоже железные – со всей своей верностью букве закона, со своими расспросами, неискренними любезностями, готовностью оказать мелкую услугу, вывести арестованных на прогулку или отвести их в баню… это – только машины, автоматы, они толкают тебя куда-то… держат в этих стенах… они одинаково готовы и услужить и убить в случае сопротивления… но главное – они толкают, толкают, непрестанно толкают – туда, к той маленькой двери… туда, откуда нет спасения… нет спасения… вперед и вперед… пока, наконец, не втолкнут в ту дверь… и не будет возврата! Не будет возврата!

Каждый раз, подумав об этом, он вставал и начинал ходить по камере. Потом обычно возвращался все к той же головоломной задаче: к своей вине. Он пытался думать о Роберте и о зле, которое причинил ей, читал Библию и даже, лежа ничком на железной койке, снова и снова твердил: «Боже, дай мир моей душе! Боже, просвети меня! Боже, дай мне силы противиться всем дурным мыслям, которых я не должен был бы допускать! Я знаю, совесть моя не вполне чиста. О нет! Я знаю, я замышлял зло. Да, да, я знаю это. Я признаю. Но неужели я в самом деле должен умереть? Неужели неоткуда ждать помощи? Неужели ты не поможешь мне, господи? Неужели не явишь свое могущество, как говорит об этом мать? Не повелишь губернатору в последнюю минуту заменить смертную казнь пожизненным заключением? Не повелишь преподобному Мак-Миллану переменить свое мнение и пойти к губернатору? И моя мать могла бы пойти… Я отгоню все грешные мысли. Я стану другим. Да, да, я стану совсем другим, если только ты спасешь меня. Не дай мне умереть так рано. Не дай умереть теперь. Я буду молиться, буду. Дай мне силы понимать и верить… и молиться. Дай, господи!»

Так думал и молился Клайд в эти короткие, страшные дни – с тех пор, как мать и преподобный Мак-Миллан вернулись после решающего разговора с губернатором, и до своего последнего часа… Душа его была полна ужаса перед близкой и верной смертью и неведомой загробной жизнью, и этот ужас, вместе с верой и волнением матери и преподобного Мак-Миллана (он навещал Клайда каждый день, говорил ему о милосердии божьем и убеждал в необходимости всецело уповать на господа), заставили Клайда наконец решить, что он не только должен обрести веру, но уже обрел ее и с нею полный и нерушимый душевный мир. В таком состоянии по просьбе матери и преподобного Мак-Миллана, который непосредственно помогал ему, давал указания и тут же, при нем и с его согласия изменил некоторые его выражения, Клайд составил следующее письмо, обращенное ко всему миру и в особенности к молодым людям его возраста:

«Вступая в тень Долины Смерти, я хочу сделать все возможное, чтобы устранить всякое сомнение в том, что я обрел Иисуса Христа, спасителя моего и неизменного друга. Ныне я сожалею лишь о том, что, имея возможность трудиться во имя его, не отдал свою жизнь на служение ему.

Если бы только я мог силою слов своих обратить к нему молодых людей, я счел бы это величайшим из благ, мне дарованных. Но теперь я могу сказать только одно: «Я знаю, в кого уверовал, и верую, что в его власти сохранить залог мой на оный день» (цитата, хорошо ему известная благодаря Мак-Миллану).

Если бы молодые люди нашей страны могли постичь сладость и отраду жизни во Христе, я знаю, они сделали бы все, что только в их силах, чтобы стать истинными, деятельными христианами, и старались бы жить, как повелел Христос.

Я не оставил ни единой преграды, которая помешала бы мне предстать перед господом. Знаю, что грехи мои отпущены, ибо я был честен и откровенен с моим духовным наставником, и господу ведома вся правда обо мне.

Задача моя выполнена, победа одержана.

Клайд Грифитс».

Написав это письмо и вручая его Мак-Миллану, Клайд и сам удивился: так мало походили эти его утверждения на мятежное настроение, которое владело им еще совсем недавно. А Мак-Миллан, обрадованный и торжествующий, воскликнул:

– Да, Клайд, поистине победа одержана! «В оный день будешь со мною в раю». Он обещал вам это. Душою и телом вы принадлежите ему. Да будет вовеки благословенно имя его!

Он был так возбужден своим торжеством, что взял руки Клайда в свои, поцеловал их и затем заключил Клайда в объятия.

– Сын мой, сын мой, в тебе моя отрада. Истинно, в тебе господь явил правду свою и спасительную силу свою. Я это вижу. Я это чувствую. В твоем обращении к миру поистине прозвучит голос самого господа!

И он спрятал письмо: порешили, что оно будет опубликовано после смерти Клайда, не раньше. Но, даже написав такое письмо, Клайд все же минутами сомневался. Верно ли, что он спасен? За такой короткий срок? Может ли он столь твердо и безоговорочно уповать на бога, как он заявил в своем письме? Верно ли это? Жизнь так непостижима. Будущее так темно. Правда ли, что есть жизнь за гробом, что есть бог, который встретит его с любовью, как уверяют мать и преподобный Мак-Миллан? Правда ли это?

А тем временем за два дня до его смерти миссис Грифитс в порыве безмерного ужаса и отчаяния телеграфировала достопочтенному Дэвиду Уотхэму:

«Можете ли вы сказать перед богом, что у вас нет сомнений в виновности Клайда? Прошу, телеграфируйте. Иначе кровь его падет на вашу голову. Его мать».

И секретарь губернатора Роберт Феслер ответил телеграммой:

«Губернатор Уотхэм не считает для себя возможным отменить решение апелляционного суда».

И, наконец, последний день… последний час… Клайда переводят в камеру старого Дома смерти и после бритья и ванны выдают ему черные брюки, белую рубашку без воротничка (потом ее должны были открыть на шее), новые войлочные туфли и серые носки. В этом наряде ему разрешено еще раз увидеться с матерью и Мак-Милланом, – с шести часов вечера накануне казни и до четырех часов последнего утра им позволено оставаться подле Клайда, беседуя с ним о господней любви и милосердии. А в четыре часа появился начальник тюрьмы и сказал, что миссис Грифитс пора удалиться, оставив Клайда на попечение Мак-Миллана. (Печальная необходимость, требуемая законом, сказал он.) И затем – последнее прощание Клайда с матерью; в эти минуты, то и дело замолкая, чувствуя, как больно сжимается сердце, он все же с усилием выговорил:

– Мама, ты должна верить, что я умираю покорно и спокойно. Смерть мне не страшна. Бог услышал мои молитвы. Он даровал силы и мир моей душе.

Но про себя он прибавил: «Так ли?»

И миссис Грифитс воскликнула:

– Сын мой! Сын мой! Я знаю, знаю, я верю в это! Я знаю, что искупитель мой жив и не оставит тебя. Пусть мы умираем, но будем жить вечно! – Она стояла, подняв глаза к небу, пронзенная страданием. И вдруг обернулась, схватила Клайда в объятия и долго и крепко прижимала его к груди, шепча: – Сынок… мальчик мой…

Голос ее оборвался, она задыхалась… казалось, вся ее сила перешла к нему, и наконец она почувствовала, что должна оставить его, чтобы не упасть… Пошатнувшись, она быстро обернулась к начальнику тюрьмы, который ждал, чтобы отвести ее к обернским друзьям Мак-Миллана.

И потом, в темноте этого зимнего утра, – последние минуты: пришли тюремщики, сделали надрез на правой штанине, чтобы можно было приложить к ноге металлическую пластинку, потом пошли задергивать занавески перед камерами.

– Кажется, пора. Смелее, сын мой! – это сказал, увидев приближающихся надзирателей, преподобный Мак-Миллан; вместе с ним теперь при Клайде находился и преподобный Гилфорд.

И вот Клайд поднялся с койки, на которой он сидел рядом с Мак-Милланом, слушая чтение 14-й, 15-й и 16-й глав Евангелия от Иоанна: «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в бога и в меня веруйте». И потом – последний путь; преподобный Мак-Миллан по правую руку, преподобный Гилфорд по левую, а надзиратели – впереди и позади Клайда. Но взамен обычных молитв преподобный Мак-Миллан провозгласил:

– Смиритесь под всемогущей десницей господа, дабы он мог вас вознести, когда настанет час. Возложите на него все заботы свои, ибо он печется о вас. Да будет мир в душе вашей. Мудры и праведны пути того, кто через Иисуса Христа, сына своего, после кратких страданий наших призвал нас к вечной славе своей. «Аз есмь путь, и истина, и жизнь. Лишь через меня придете к отцу небесному».

Но, когда Клайд, направляясь к двери, за которой ждал его электрический стул, пересекал коридор Дома смерти, послышались голоса:

– Прощай, Клайд!

И у Клайда хватило земных мыслей и сил, чтобы отозваться:

– Прощайте все!

Но голос его прозвучал так странно и слабо, так издалека, что Клайду и самому показалось, будто это крикнул не он, а кто-то другой, идущий рядом с ним. И ноги его, казалось, переступали как-то автоматически. И он слышал знакомое шарканье мягких туфель, пока его вели все дальше и дальше к той двери. Вот она перед ним… вот она распахнулась. И вот наконец электрический стул, который он так часто видел во сне… которого так боялся… к которому его теперь заставляют идти. Его толкают к этому стулу… на него… вперед… вперед… через эту дверь, которая распахивается, чтобы впустить его, и так быстро захлопывается… а за нею остается вся земная жизнь, какую он успел изведать.

Четверть часа спустя преподобный Мак-Миллан с совершенно серым, измученным лицом, несколько нетвердой походкой человека, разбитого нравственно и физически, вышел из холодных дверей тюрьмы. А как немощен, как жалок и пасмурно-сер был этот зимний день… совсем как он сам… Мертв! Всего лишь несколько минут назад Клайд так напряженно и все же доверчиво шел с ним рядом, а теперь он мертв. Закон! Тюрьмы – вот такие, как эта. Сильные и злые люди уже глумятся там, где Клайд молился. А его исповедь? Верно ли он решил, ведомый мудростью господа, насколько господь приобщил его к своей мудрости. Верно ли? *Глаза Клайда*! Преподобный Мак-Миллан и сам едва не упал без чувств подле Клайда, когда тому надели на голову шлем… и дан был ток… он весь дрожал, его мутило… кое-как, с чьей-то помощью он выбрался из этой комнаты – он, на кого так надеялся Клайд. А он просил бога даровать ему силы, просил…

Он побрел по безмолвной улице, но ему пришлось остановиться, прислонясь к дереву, безлистному в эту зимнюю пору, такому голому и унылому… Глаза Клайда! Его взгляд в ту минуту, когда он бессильно опустился на этот страшный стул… тревожный взгляд, с мольбой и изумлением, как подумалось Мак-Миллану, устремленный на него и на всех, кто был вокруг.

Правильно ли он поступил? Было ли решение, принятое им в разговоре с губернатором Уотхэмом, действительно здравым, справедливым и милосердным? Не следовало ли тогда ответить губернатору, что может быть… может быть… Клайд был игрушкой тех, других влияний?.. Неужели душе его больше не знать покоя?

«Я знаю, искупитель мой жив и сохранит его на оный день».

И еще долгие часы Мак-Миллан бродил по городу, прежде чем собрался с силами пойти к матери Клайда. А она в доме преподобного Фрэнсиса Голта и его супруги – деятелей Армии спасения в Оберне – с половины пятого утра на коленях молилась о душе своего сына; мысленно она все еще пыталась узреть его обретшим покой в объятиях создателя.

«Я знаю, в кого уверовала», – молилась она.

ВОСПОМИНАНИЕ

Летний вечер, сумерки.

И торговый центр Сан-Франциско – высокие здания, высокие серые стены в вечерней мгле.

И на широкой улице к югу от Маркет-стрит, теперь почти затихшей после шумного дня, – группа в пять человек: мужчина лет шестидесяти, коротенький, толстый, но с застывшим лицом и поблекшими, тусклыми глазами мертвеца – весьма невзрачная и усталая личность; густая грива седых волос выбивается из-под старой круглой фетровой шляпы; на ремне, перекинутом через плечо, небольшой органчик, какими обычно пользуются уличные проповедники и певцы. С ним женщина, всего лет на пять моложе, повыше, не такая полная, но крепко сбитая, с белыми как снег волосами, вся в черном с головы до пят – черное платье, шляпа, башмаки. Ее широкое лицо выразительнее, чем лицо мужа, но глубоко изборождено следами невзгод и страданий. Рядом, держа в руках Библию и несколько книжечек псалмов, идет мальчик лет семи-восьми, не больше, бойкий, глазастый, не слишком хорошо одетый, но живой и грациозный; как видно, он очень привязан к пожилой женщине и старается держаться поближе к ней. Вслед за ними, но чуть поодаль идут увядшая, бесцветная женщина лет двадцати семи и другая – лет пятидесяти, очень похожие друг на друга – очевидно, мать и дочь.

Жарко, но в воздухе чувствуется приятная истома тихоокеанского лета. Дойдя до угла Маркет-стрит, большой и оживленной улицы, по которой в противоположных направлениях снует множество автомобилей и трамваев, эти люди задержались, ожидая знака полисмена на перекрестке.

– Стань поближе ко мне, Рассел, – сказала старшая женщина. – Дай-ка руку.

– Мне кажется, движение здесь возрастает с каждым днем, – тихо и без выражения произнес ее муж.

Дребезжали трамвайные звонки, фыркали и гудели автомобили. Но маленькая группа казалась равнодушной ко всему и только старалась поскорее перейти улицу.

– Уличные проповедники, – заметил, проходя мимо, банковский клерк своей приятельнице-кассирше.

– Да, я встречаю их здесь чуть не каждую среду.

– Ну, по-моему, совсем не дело таскать такого малыша по улицам. Он слишком мал для этого, правда, Элла?

– По-моему, тоже. Не хотела бы я, чтобы мой братишка занимался такими вещами. Что это за жизнь для ребенка? – поддержала Элла.

Перейдя улицу и дойдя до следующего перекрестка, маленькая группа остановилась и осмотрелась, словно достигнув своей цели; мужчина поставил органчик на землю, открыл его и поднял небольшой пюпитр. Тем временем его жена взяла из рук внука Библию и книжечки псалмов, передала Библию и одну из книжечек мужу, другую поставила на пюпитр, еще одну оставила себе и дала по книжечке всем остальным. Муж огляделся рассеянно, но все же с напускной уверенностью и провозгласил:

– Сегодня мы начнем с двести семьдесят шестого псалма: «Сколь крепка твердыня». Мисс Шуф, прошу вас.

И младшая из женщин, очень худая, иссохшая, угловатая и некрасивая, – судьба ничем не одарила ее, – уселась на желтом складном стуле и, пробежав пальцами по клавишам и перелистав ноты, заиграла названный псалом; все запели.

Тем временем расходившиеся по домам люди разных профессий и положений, заметив маленькую группу, так удобно расположившуюся близ главной улицы города, нерешительно замедляли шаг и искоса оглядывали ее или приостанавливались, чтобы узнать, что происходит. И пока те пели, безличная и безучастная уличная толпа с недоумением глазела на эту невзрачную горсточку чудаков, возвысивших свой голос против всеобщего скептицизма и равнодушия. Этот седой, жалкий и никчемный старик в поношенном мешковатом синем костюме, эта сильная, но грубоватая и усталая женщина с совершенно белыми волосами, этот свежий, чистый, неиспорченный и наивный мальчуган… он-то здесь зачем? И еще эта бесцветная и тощая старая дева и ее мать, такая же тощая, с растерянным взглядом… Из всей этой группы в одной только седовласой женщине прохожие могли почувствовать силу и решительность, которые, как бы ни были они слепы и ложно направлены, способствуют если не успеху в жизни, то самосохранению. В ней больше, чем в ком-либо из остальных, видна была убежденность, хотя и невежественная, но все же вызывающая уважение. Она стояла с книгой псалмов в опущенной руке, устремив взгляд в пространство, – и многие из тех, кто замешкался здесь, глядя на нее, говорили себе, каждый на свой лад: «Да, вот кто, при всех своих недостатках, наверно, стремится делать только то, во что верит». Упрямая, непреклонная вера в мудрость и милосердие той высшей, могущественной и бдительной силы, которую она прославляла, запечатлелась в каждой черте ее лица, в каждом движении.

Когда псалом был пропет, жена прочитала длинную молитву; потом муж произнес проповедь, а остальные засвидетельствовали все, что было содеяно господом для каждого из них. Затем книжки были собраны, орган закрыт, муж перекинул его на ремне через плечо, и они пустились в обратный путь.

– Прекрасный вечер. Кажется, публика была несколько внимательнее, чем обычно, – заговорил муж.

– О да, – подхватила женщина, игравшая на органе. – По меньшей мере одиннадцать человек взяли брошюрки. И один старый джентльмен спросил меня, где помещается миссия и когда у нас бывает служба.

– Хвала господу! – заключил старик.

И вот наконец сама миссия – «Звезда упования. Миссия диссидентов. Молитвенные собрания по средам и субботам от 8 до 10 часов вечера; по воскресеньям в 11, 3 и 8 часов. Двери открыты для всех». Под этой надписью на каждом окне другая: «Бог есть любовь», – а еще ниже помельче: «Сколько времени ты не писал своей матери?»

– Дай монетку, бабушка! Я сбегаю на угол за мороженым! – попросил мальчик.

– Хорошо, Рассел. Только сейчас же возвращайся, слышишь?

– Ну конечно, бабушка! Не беспокойся!

Он схватил десятицентовую монетку, которую бабушка извлекла из глубочайшего кармана юбки, и бегом пустился к мороженщику.

Ее дорогой мальчик. Свет и радость ее на склоне лет. Она должна быть добра к нему, снисходительна, не слишком строга, как, может быть, она была к… С нежностью и чуть рассеянно смотрела она вслед убегавшему мальчику. «Ради него».

И вся маленькая группа, кроме Рассела, вошла в невзрачную желтую дверь и скрылась.
